

Марко Вовчок

Записки причетника



Марко Вовчок

Записки причетника

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7457380

Аннотация

«Я родился в тихой глуши нашего пространного отечества, в неизвестном уголке -ской губернии, в селении Тернах.

Селение Терны скрыто от взоров любознательных путешественников, каждое лето поспешающих на богомолье в -ский славный монастырь, опоясывающими его с трех сторон лесистыми горами, которые, сходясь полукругом к многоводной и быстрой реке, изобилующей рыбою и воспитывающей на берегах своих стаи водяных птиц, образуют обширную впадину, нечто вроде исполинского гнезда, веселящего в весеннее время бархатной мягкостью своей муравы и свежестью густолиственных садов...»

Содержание

Отрывок первый	4
Глава первая	4
Глава вторая	14
Глава третья	30
Глава четвертая	48
Глава пятая	69
Глава шестая	104
Глава седьмая	156
Глава восьмая	207
Отрывок второй	220
Глава первая	220
Глава вторая	267
Глава третья	283
Глава четвертая	314
Глава пятая	327
Глава шестая	379
Глава седьмая	401
Глава восьмая	434
Глава девятая	449
Глава десятая	482
Глава двенадцатая	506

Марко Вовчок

Записки причетника

Отрывок первый

Глава первая

Краткий этнографический очерк селения Тернов

Я родился в тихой глуши нашего пространного отечества, в неизвестном уголке -ской губернии, в селении Тернах.

Селение Терны скрыто от взоров любознательных путешественников, каждое лето поспешающих на богомолье в -ский славный монастырь, опоясывающими его с трех сторон лесистыми горами, которые, сходясь полукругом к многоводной и быстрой реке, изобилующей рыбою и воспитывающей на берегах своих стаи водяных птиц, образуют обширную впадину, нечто вроде исполинского гнезда, веселящего в весеннее время бархатной мягкостью своей муравы и свежестью густолиственных садов.

Самый ближний город отстоит от Тернов на шестьдесят верст, но кругом немало деревушек и хуторов, и в праздники

около терновского храма Пресвятой богородицы всегда толпилось большое количество народа, что значительно оживляло селение и доставляло многие лепты священнодействующему там отцу Еремею.

Зимой, в метель и непогоду, путь в Терны или из Тернов был сопряжен с опасностями: хищные волки, доведенные до неистовства мучениями голода, даже среди белого дня нападали на отважных, решавшихся пуститься по лесу. Терновские жители старались обыкновенно отправляться в путь обществом или отрядом в три-четыре воза и, кроме того, вооружались длинными рогатинами с железными наконечниками вроде пики – изделие и, если не ошибаюсь, изобретение местного кузнеца, Ивана Бруя.

Одно из многочисленных терновских преданий повествует о некоем Василье Голубце, отличавшемся необычайной красотой лица, зазубчивостью сердца и легкомыслием; он проводил дни свои, пленяя легковверные толпы девиц, вдов и замужних и вероломствуя с ними самым жестоким образом. Обещав одной вдове, на которую имел коварный умысел, приехать в гости, он, презирая выюгу, собрался в дорогу, на предостереженья соседей отвечал веселыми шуточками и с удалой песнью о наслаждениях любви устремился в лес, где и был на первой же версте растерзан стаей голодных волков. Предание гласит, что персты его до того были унижены перстнями, залогом нежности доверчивых созданий, что даже кровожадные звери не могли пожрать их, и все де-

сять найдены были потом на месте ужасного происшествия, на небольшой прогалинке, и поныне носящей название «Голубцовой».

Бывало, отроком, лежа в зимнюю непогожую ночь без сна на ложе своем и прислушиваясь к диким завываньям, доносящимся из лесу, я живо представлял себе легкомысленного и вероломного красавца Василья Голубца, с удалым пеньем стремящегося через лесную чащу, осыпанную инеем, сверкающие со всех сторон подобно раскаленным углям глаза хищных зверей, последующую затем страшную драму и содрогался. Невзирая на страх при одном представлении давно случившегося события, я, по младенческому бессмыслию, вместе с тем пламенно желал повторения того же в несколько измененном виде и провожал всякого, отправляющегося в дорогу зимней порой, с тайным упованием, что он не избегнет страшной встречи.

Но я всегда бывал разочарован в своих ожиданиях. Многие, правда, рассказывали, что видели стаю волков, но звери эти, после жалких попыток нападения, обыкновенно обращались в бегство. За мою память самой ужаснейшей драмой, разыгравшейся в этом роде, было похищение поповой коровы, домашнего, но свирепого животного, которое норвило всякому встречному, кроме попадьи, дать рогом в бок.

Если опушенные инеем леса и окованная льдом река производили унылое впечатление на тех, кто, подобно мне, осужден был, за неимением теплых и удобных одежд, сидеть

у окна и завидовать нагло чирикающим воробьям, бодро перелетающим с крыши на крышу и с забора на забор, то весна, лето и осень сторицею вознаграждали его за претерпленные зимой неудовольствия. Кроме обычных сельских утех – разоренья птичьих гнезд, отыскиванья сладких корешков и зелий (я до сей поры сохраняю пристрастие к «козельцам», отличающимся особой свежестью и терпкой сладостью), купанья, ловли раков и рыб, игр с жеребятами и т. п. – в Тернах было невероятное благорастворение воздуха и изобилие плодов земных. Особенно славились наливчатые зеленые яблоки, по местному названью «зеленки», которых я нигде больше не видал, и крупные, черные, как жидовское око, вишни, превосходящие сладостью самый мед.

Ячмень, овес, греча давали прекрасный урожай; рожь отличалась удивительной пышностью колоса, густотой и вышиной. Я помню, терновский пономарь, которому в церкви самые рослые прихожане доставали только по уху, входя во ржи, почти весь исчезал в волнах колосьев; мелькал только его высокий картуз с длинным, задранным вверх козырьком да конец дубовой палки, которую он имел привычку закидывать на плечо, на образец того, как держал оружие воин Пилата, изображенный на священной картине, приобретенной им на городской ярмарке и украшавшей его скромное жилище в одно окошечко, с вертящимся петушком на трубе.

Жители селения Тернов все без исключения хлебопашцы и являют свойственную хлебопашцам простоту и кротость

нравов.

Я полагаю, впрочем, что помянутая кротость нравов происходит не от особого дара божия, а преимущественно от чрезмерного физического утомления. Самые лютые и строптивые быки, будучи выпряжены из ярма, не являют признаков буйства, ни ярости, а ложатся и с томностию поглядывают на хозяина, приносящего им корм.

Я встречал в книгах пленительные рассуждения по поводу благодетельного влияния земледельческой жизни и не менее пленительные описания каких-то благодушных поселян, мудрых, добродетельных и довольных своей скромной участью, но, полагаю, это пишет человек, обольщающий читателя, или же невинный, обольстивший самого себя наружной прелестью вещей.

Может быть, такие блаженные хлебопашцы жили в незапамятные века или будут жить во всеобещающем будущем, но в наши времена я, исходивший, могу оказать, вдоль и поперек наши края, нигде не встретил подобных. Всюду я находил, любезный читатель, под самыми розовыми цветами черные терния и пронзающие шипы, а в самых мирных и уединенных деревушках страдание, озлобление и всякие порождаемые этим мятежные чувства.

Тишина полей, журчанье тихоструйной реки, шелест лесов несомненно производят умиротворяющее действие; это я не раз испытывал на самом себе в минуты некоторых душевных бурь и сердечных волнений. Но буря буре рознь. Как

бы прелестно ни пылала вечерняя или утренняя заря, какой бы ласкающий зефир ни нежил своим легким дуновением, как бы ни цвели и ни благоухали поля, луга и леса – может ли вся эта умиляющая краса природы смягчить положение беззащитных пернатых, над которыми ежечасно парит хищный ястреб? А в невежественной деревушке всегда витает тот или другой ястреб (и благо еще если один!), который может схватить в когти любое бедное творенье, безнаказанно развеять его перья и спокойно сесть на свой насест отдохнуть после предпринятого им труда истребления.

Припоминая некоторые факты и соображая их, я могу заявить, что терновцы, под личиной простоты и кротости, отличались особой пылкостью нрава, изобретательной мстительностью, постоянством как злых, так и добрых чувств, неустрашимостью, хладнокровием и великим лукавством.

Наружность терновцев самая приятная: они росли, статны, замечательно красивы, одарены звучным голосом и, по большей части, бесподобные певцы и певицы; напевы у них вообще грустные; женские исполнены нежности и страсти, мужские – мрачной, пламенной энергии и горечи. Слова песен поражают поэтическими красотами, а смысл их всегда трезвый и здравый, несмотря на влияние разных предрассудков и суеверий. То же можно сказать и об их преданиях и сказках. Последние могут развеселить самого угрюмого смертного своей живостью, меткой язвительностью, игривостью, остроумием, едкой насмешливостью и тонким

знанием нашего греховного и слабого естества. В них преимущественно карается любостяжание, женское кокетство и легкомыслие в жизни, бесхарактерность и леность мужчин, потворство своим страстям, всякое цыганство, трусость и неустойчивость. Герои и героини всегда подают собой пример мужества, непреклонной решимости, бодрости в бедах и напастях, терпения, постоянства в чувствах и мыслях и ничем не сокрушимого стремления к задуманной цели. Между прочим, в одной из сказок герой кузнец порешил или победить стоглавого великана, пожирающего младенцев, или самому сложить голову и отправился на битву. С первого же удара великан его сшиб, взял двумя перстами и закинул в глубокую яму. Очнувшись, первым делом кузнеца было стараться о своем излечении, а затем попытки выбраться из ямы. Он выбирался год, наконец старания его увенчались успехом, и он, не заходя даже повидаться с близкой сердцу особой, снова отправляется на битву с стоглавым чудовищем. Они бьются. Кузнец снова погран и закинут еще в глубочайшую яму. Придя в себя, он выказывает ту же бодрость духа, что и прежде; два года кладет на то, чтобы выкарабкаться из пропасти, и, не внимая голосу сердца, немолчно зовущему его под тихую сень родного крова, стремится снова на битву. Он в третий раз бьется, повержен в прах, низринут в бездну, выползает из нее только через три года и, попрежнему ничем не искусимый, является на битву. Ярость великана умеряется изумлением и тревогою. Он берет свою се-

мисаженную секиру, но задумывается, медлит и наконец, поразмысливши довольно, обращает к кузнецу льстивую речь:

– Кузнец, а кузнец!

– Что, великан?

– Коли ты человек божий и блюдешь правду, так ты лукавить не станешь, а признаешься мне по чести!

– Признаюсь по чести!

– Что, в твоём селе за тобой ухают?

– Нет, не ухают. У нас только за дурнями ухают.

– Так, значит, те, что у тебя дома-то, с твоим же духом?

– С моим.

– И как если я тебя испепелю и прах твой развею, они тоже будут ходить ко мне биться?

– Будут. Все по очереди, друг за дружкой. Пока ты будешь взрослых истреблять, малые будут подрастать.

– И нельзя вас ничем ублажить?

– Ни-ни!

– Я бы, пожалуй, белоголовеньких ребятишек не стал кушать; тоже коли единое дитя у матери, не стал бы трогать.

– Ты никак думаешь, что я на твои посулки кинусь, как соловей на тараканов, поклюю и попадусь? Давай лучше биться, что время понапрасну терять!

– Что в битвах толку-то? И тебе скверно и мне неприятно. У тебя, надо полагать, живой кости уж нет; мне ты вот повредил глаз, вышиб зуб, переломил мизинец – все это, разумеется, дело не первой важности и силы моей не убавит ни

на маковое зерно, да прискорбно: я великан молодой, желаю нравиться своей великанше, а она вон вчера: пфа! говорит, кривой мизинец! К тому же и твоя вера и моя вера повелевают жить в мире...

– Давай биться!

– И прекрасно мы бы это с вами зажить могли: я, пожалуйста...

– Давай биться!

– Позволь мне тебе сказать...

– Давай биться!

– Одно слово: вы точно ли все такие?

– Все до единого одним миром мазаны.

– А ну, побожись женой и детьми!

Кузнец побожился.

– Тьфу! – сказал великан. – С таким народом и жить не стоит: одно беспокойство! Пойду в другую землю!

Плюнул великан и ушел в другую землю ребят есть.

А кузнец воротился домой, положил секиру в придобное место, чтоб не ржавела, поцеловал жену и детей и сел за стол есть коржи с медом.

Я, читатель, привел сказку о кузнеце и великане не вследствие любезного мне празднословия. Я полагаю, вымыслы народной фантазии могут дать самовернейшее понятие о народе; руководясь этой мыслию, я выбрал, по своему крайнему разумению, один из наихарактернейших и представил тебе, да узришь хотя некоторые черты моих земляков, не иска-

женные пристрастием, или ненавистью, или легкомыслием.

Глава вторая

Краткий очерк обычаев, характеров и отношений окружавших меня лиц

Если бы ты, любезный читатель, очутился погожим летним утром в терновских лесах, то, будь ты наивзыскательнейшим из смертных, у тебя вырвались бы многие восклицания удовольствия. Самое так именуемое каменное сердце не могло оставаться равнодушным к этим бесподобным переливам яркой зелени, к аромату цветов и трав, тишине и вместе с тем повсюду чувствуемому движенью жизни, свежести и не разнеживающей, но трезвящей мягкости благодатного воздуха. Это пленительное уединение всегда напоминало мне эдем, легкомысленно утраченный нашим праотцем Адамом.

Очувтившись здесь, читатель мог бы ходить около самого селения, не подозревая близости жилищ, скрытых внизу сенью густолиственных деревьев, полагать себя вдали от докучных в иные часы собратий и предаваться грустным или приятным мечтаньям, не опасаясь стеснительных для мечтаний встреч. Но он скоро был бы выведен из самосозерцания в праздничные и воскресные дни слабым, как бы готовящимся закашляться звоном надтреснутого колокола, призывающего верных к слушанию литургии, а в будние дни пронзи-

тельным дискантом попадьи, заставляющим повторять эхо соседних ущелий отрывки характерных местных выражений гнева.

Направив шаги свои по дребезжащему звону колокола или по пронзительному дисканту попадьи, читатель не замедлил бы попасть на гладко утоптанную тропинку, далее увидал бы в стороне небольшую прогалину и на ней пасущуюся спутанную попову сивую кобылу с жеребенком и попову черную корову, привязанную на длинной веревке за рога к дубу; потом слух его был бы поражен заботливым кудахта-нием невидимых, но близких насекомых и писком робких цыплят, и, сделав еще несколько поворотов по тропинке, он бы внезапно очутился на лесной опушке, и его взорам неожиданно бы представился амфитеатр цветущих огородов по отлогостям горы, сельский скромный, сероватого цвета храм, окруженный вишневою изгородью, как бы венком, влево от храма – попов белый четырехконный домик с крытым крыльцом, прилежащие к нему гумно, погреб, амбар и фруктовый садик; еще левее – крохотная мазанка, жилище пономаря, увенчанная деревянным петушком, показывающим направление ветра; несколько ниже – довольно ветхая хижина, осененная громадной развесистой грушей, где в бедности и печали, но в согласье и дружбе проводили дни дьякон и дьяконица, родители автора этих записок, а дальше живописно рассыпавшееся селение, муравчатая улица, разбегающиеся во все стороны узкие извилистые дорожки, сверкающая

в низких берегах река, езда дорога вдоль берега, а за рекой круто поднимающиеся лесистые утесы, прорезанные глубокими ущельями.

Детей всего успешнее развивают душевные потрясения; они развертывают детское мышление, изоцряют наблюдательность, заставляют сравнивать и обсуждать и таким образом посевают первые семена добра и зла в неиспытанной младенческой душе. Смотря по благому или злотворному свойству этих потрясений, пробуждаются в невинном творении высокие или низкие стремления, укореняется великодушные или жестокосердие и незаметно, так сказать, закладывается духовное здание будущего гражданина.

Первыми тревогами и горестями, искусившими меня в жизни, я обязан помянутой уже мною терновской попадье, Варваре Иосифовне Македонской, а этим тревогам и горестям – первыми семенами низких чувств, пустивших столь глубокие корни, что даже в совершенных летах, призывая на помощь всю силу разума, я с величайшим трудом мог выходить победителем в борьбе с ними.

Той же попадье Македонской обязан я и разнообразнейшими сведениями о промахах, ошибках и грехопадениях всех окружавших меня лиц, включая в то же число и моих родителей, ибо она имела обычай выбегать, в порывах своего гнева, на крыльцо и, взяв самую высокую ноту, варьировать биографию опального лица до надсады своей мощной груди.

Так, я узнал от нее, что дед мой по матери унизил иерей-

ский сан бракосочетанием с мужичкой, за что попал в ответ, откупался, этими откупками разорился вконец, стал пить и в пьяном виде просватал мою мать тоже за «хама», то есть за простого поселянина Семена Куща. Но дьякон Македонский во-время уведомил брата бесчинствующего старца. Брат подрос, и его усердными стараньями все было приведено в стройный порядок: дед мой отставлен по болезни «от повреждения рассудка», мать перевенчана с неизвестным ей человеком, занявшим место дьякона Македонского, Македонский возведен в сан священника за беспримерную ревность в благочестии, прежний жених заподозрен в поджоге церкви и отправлен куда следует для допроса.

– Проклятые голыши, сто чертей с чертенятами вам в живот! – вопила однажды Македонская с своего крыльца, обращаясь к нашей хижине. – Не достанется вам моим добром свою поганую свинью живить, чтоб ее вместе с вами разорвало! Чтоб ее разнесло до последней щетинки! Не видишь, что в чужой огород лезет? Тебе выслепило, что ли? Или на уме все Сенька Куш? Вор, душегубец, поджигатель! Святой храм хотел поджечь, антихрист! Ты еще не ликуй, что он раз вывернулся! погоди, матушка! попадется еще, не выкрутится! Не надейся прежними утехами забавляться! Не гулять уж с ним по лесам обнявшись! Не амурничать! У! срамница! позорница! Умовредный тебе муж попался! Другой бы тебе задал маку! Вислоухий дурень, пропасти на тебя нету! Нянчи, нянчи Сенькиного сынка за своего родного! Так в Кущей и

вылилось хамово отродье! Расти, глупая тетеря, висельника на свою голову! А ты, слюнявец, погоди, я до тебя доберусь! Только бы ты мне попался! Я из тебя ноги и руки повыдергаю! Чтоб вам все колом встало, вороги! Чтобы вас полымем выжгло да вихрем вынесло! Чтобы вас в дугу согнуло, в колесо свернуло! Чтоб вам ни дна, ни покрышки, ни смерти, ни покаяния! Чтоб вас горой раздуло! Чтоб вы треснули, как лопух на огне! В гроб сведут, окаянные! Ненила! дай квасу испить! Что белки-то показываешь? Чего тут стоишь столбом? Нет того, чтоб матери помочь! Мыкайся с вами, лежнями! Наказал господь детками! Где отец?

– Ушли, – отвечала Ненила густым басом, которому мог бы с основанием позавидовать любой молодой дьякон.

Ненила была чернобровая, белолицая, румяная поповна, благолепная, как писаная красавица, здоровая, как лось, и прожорливая, как утица. Я раз сам тайно наблюдал за нею и был изумленным свидетелем невероятной, так сказать, чародейской быстроты, с которой она проглотила три десятка груш-скороспелок, затем облизалась, отерла уста рукавом, впала в краткое раздумье и пошла в огород, где объела целую грядку гороху; снова облизалась, снова отерла уста рукавом, снова впала в краткое раздумье и пошла дергать репу и морковь, истребила целую фартучную полу этих даров природы с тем же проворством и безнаказанностью, медленными шагами возвратилась в горницу, села у окна и стала глядеть в пространство. Насколько родительница ее отлича-

лась неугомонном, зоркостью, словоохотливостью и крикливостью, настолько же Ненила была сосредоточенна, молчалива и тяжела на подъем. Впрочем, всякие зрелища ее привлекали неотразимо. Завязнет козел в заборе, вытаскивают корову из ямы, палят кабана, – Ненила Еремеевна не поленилась, придет, станет и глядит своими черносливоподобными очами. Когда же свадьба, или похороны, или где бранятся, так нечего и говорить: Ненила Еремеевна явится первая и удалится последняя. Едва родительница успевала вывести первую свою нотку, уж она выходила на крылечко, прислонялась к дверной притолоке и внимательно слушала яростные проклятия и угрозы.

– Что ты там рывкаешь? Где отец, спрашиваю?

– Ушли куда-то.

– Носит нелегкая бородатого черта! Напороться бы тебе на рожон! А Настя где?

– В горнице, шьет.

– Ты чего не отвечаешь? Не слышишь, мать спрашивает? Или тебе глотку засадило? Где ты?

– Я здесь, шью, – отвечал голос, ласкающий слух своей звучностью и мягкостью.

– Что ж сразу не откликаешься? Или ты церкву обокрала? Или душу загубила? Я тебе, постой только, язык развяжу! Лизавета! Что ж ты, собака, не уберешь кадки-то к месту? Или мне тебя поучить пойти? Ах ты, чертов калач! Камень бы тебе на шею да в воду!

– Куда ее поставить? – спрашивала полнолицая, полногрудая работница Лизавета, домашний многотерпеливый, отроду не издающий жалоб, Муций Сцевола.

– Это кто мне здесь соломой насорил? Прохор! Прохор! поди сюда, чертов сын!

В зимнюю пору батрак Прохор, курчавый приземистый молодец, свежий как выскочивший из-под земли после дождя рыжик, откликнулся на гневный зов, и вскоре два голоса сливались вместе: попадья заливалась, как соловей, проклятьями, а Прохор, как горькая вдовица, голосил-причитал: «сирота я, сирота несчастная!» с таким трогательным сокрушением, что мятежное сердце Македонской смягчалось, и она, пожелав ему чирья, или горячей смолы, или черта с рогами в глотку, нередко умолкала, не излив всего запаса своей ярости. Но в летнюю пору при первом крике Прохор исчезал и возвращался не ранее попадьиной «надсады». Призванный к ответу, где был и как смел отлучаться без спросу, он жалобным тоном и с выраженьем страданья в каждой черте лица отвечал, что у него живот схватило, или что его рвало, или что ему поясницу свело и он, хотя слышал, как звали, но сил не имел явиться.

– Ах ты, бесстыжие твои глаза! – восклицала попадья. – Поясницу ему свело! Не нынче-завтра с жиру лопнешь! Ишь образину-то раздуло, словно ковальюкий мех! Сало из разбойника каплет! Поясницу свело!

– А то не сведет! – уныло отвечал Прохор. – Клянете, кля-

нете да хотите, чтоб клятва даром проходила! Бог вам судья! Сироту обидеть легко!

Я, по свойственной мне пытливости, желая удостовериться, точно ли попадьины проклятия имеют столь ужасную силу, не раз наслеживал Прохора, и всегда оказывалось, что он все время, пока бушевала гроза на поповом дворе, сидел неподалеку от нашего огорода, в картофельной яме, и плел соломенные шляпы или котики из камыша или долбил и украшал резьбой ложки, в чем был изрядный искусник.

Пословица говорит: «И у воробья есть сердце», тем паче у женщины. Читатель догадывается, что терновское женское население не всегда владело своими чувствами, и случалось, всесокрушающей Македонской давали сдачи. Но я никогда не слышал, чтобы моя мать хотя слово ответила на сыпавшиеся на нее обиды. Не только не отвечала она самой попадье, но даже заочно, когда обидчицу, по местному выраженью, «костили» (что делалось тотчас же, как только сходилась два или три лица женского пола), она никогда не присоединяла своего голоса к негодующему хору. Даже дома, в своей семье, когда отец начинал сетовать, а иногда, несмотря на всю свою кротость и благодушие, призывать на лютую обидчицу кару небесную, она или уходила, или отвлекала его другими разговорами. Она не плакала, не жаловалась и, казалось, спокойно и безропотно покорялась злу, которого ни избежать, ни отворотить не могла. Я только замечал, что когда попадьина ярость заставляла ее врасплох, так сказать, лицом к лицу

и она брала меня за руку и вела домой, то рука ее бывала холодна как лед, слегка трепетала, а губы белели и дрожали.

Невзирая на все уязвления по поводу прежнего жениха, Семена Куца, на все ядовитые толкования касательно дружбы с его родом, она открыто вела теснейшую и неразрывную приязнь с его сестрой, Ульяной.

Я помню, как вспыхивали ее глаза радостью и как оживлялось лицо, когда появлялась эта Ульяна, строгостью и красотою черт, величием осанки напоминавшая языческую богиню Юнону, но ласковостью голоса и приветливостью улыбки пробуждавшая во мне самое тихое удовольствие при встрече.

Несколько раз в году на попадью вдруг находило отменно приятное расположение духа: она с пленительною приветливостью спрашивала о вашем здоровье, с родственным участием осведомлялась о ваших делах, любезно шутила, доверчиво поверяла свои мысли, планы и предприятия, предлагала разные мелкие, но важные в убогом хозяйстве услуги, настоятельно звала на пирог или на чай, одним словом, делалась столь благою и доброю, что, по терновской пословице, ее хоть до раны прикладывай. В подобных случаях кроткий отец мой всегда первый доверялся этому ненадежному вёдру и, возвращаясь домой после попадьина пирога или чаю, с торжеством говорил матери, что вот, наконец, всякая распря окончена и настал мир и благоденствие; причем сначала намекал издалека, а потом откровенно советовал матери за-

быть старые обиды и посетить обновившуюся духом Варвару Иосифовну. Но мать никогда не переступала порога дома Македонских, отвечала на все заискивающие речи и действия кратко и сдержанно, не принимала никаких услуг, ни даров сама и умела отклонять и избегать те, которые принимал отец. Отцовские перемирия и посещения ее, повидимому, не смущали; она по поводу их не выказывала ни гнева, ни печали; но когда раз я, оболыщенный коржами с медом и, кроме того, движимый любопытством заглянуть в гнездо дракона, провел некоторое время в поповом жилище, то, возвратясь, застал ее в неопisanном волнении. Схватив меня в объятия и крепко прижав к груди дрожащими руками, она сказала:

– Сердце мое! никогда не ходи туда!

Она ничего больше не прибавила, но эти простые слова так сильно потрясли меня, что с той поры ничто не властно было заманить меня даже к попову крылечку.

Подобное поведение, конечно, не проходило безнаказанно ни матери, ни мне.

– Где ей с добрыми людьми знаться! – кричала попадья. – Ей со свиньями в пору водиться! Мы ей не принесем весточку об миле дружке, так с нами она и речей не находит! Какое сударик слово пересказывал? Небось жаловался: «Ручки, мол, от кандалов болят!» Очень я тобой нуждаюсь, сметье ты подворотное! Наплевать мне да ногой растереть твое все знакомство! Пусть только твой сморкач зайдет в мой двор,

я ему голову сверну!

Но «сморкач» (то есть автор этих записок) не только не заходил более во двор, а даже при встречах в местах нейтральных проворно бросался в сторону, как заяц от бубна, стараясь где попало укрыться от взоров свирепого неприятеля.

Отец хотя советовал не отвергать случаев примириться с попадьею, однако не только не настаивал на этом, как глава семейства, но даже не просил. Он обращался с матерью чрезвычайно ласково, почтительно и как бы несколько робко. Она, с своей стороны, была всегда ровна и кротка, внимательна к его нуждам и удовольствиям. Отроду у нас дома не слыхал я спору, не видал ссоры; жизнь текла мирно и согласно, а вместе с тем у нас было не весело. Не было того волшебного-живящего луча любви, который столь чудесный свет бросает на самую мрачнейшую обстановку жизни. Я по детскому несмыслию, конечно, этого не разумел, но смутно чувствовал.

Отец ласкал меня безмерно и, как мог и умел, баловал, но я самыми нежными его ласками, самыми заманчивыми его баловствами и вполнину не так дорожил, как единым простым словом матери.

У детей есть инстинкт, помогающий им безошибочно угадывать, на кого они могут положиться. Я охотно бежал с отцом на рыбную ловлю, в поле ловить перепелов, с большим интересом беседовал с ним о различных ежедневных делах, но чуть являлась у меня тревога посильнее, огорченье по-

глубже, я спешил к матери. Были тысячи простых в сущности и неголоволомных вещей, о которых у меня отроду не являлось желания его спрашивать, между тем как с матерью я вел о них длинные речи.

В ту пору, с которой я начинаю свои записки как очевидец, в Тернах случилось три происшествия. Первое, и в то время по детскому несмыслию для меня самое важное и потрясающее, было приобретение отцом рыженького жеребенка с лысинкой, нареченного мною «Головастиком» за несомерно большую голову. Второе – смерть нашего дьячка, почти незнакомого мне человека; пожар, в котором заподозрен был Семен Куш, спалил дотла его жилище, и он жил на конце села, у своего приятеля и кума, пчеловода Захарченка; к тому же, как человек больной и слабый, он редко показывался даже и в церкви. Третье – появление на место умершего нового дьячка, по имени Софрония, саженого молодца с черными сросшимися бровями, сокольими очами, пышно вьющимися длинными, как вороново крыло черными волосами и бородою, благозвучным голосом и краткой, отрывистой речью.

Софроний приятно поразил меня своей осанкой, когда я через забор наблюдал, как он входил в попов двор.

Первая встретила его Ненила и принялась глядеть на него в упор, затем явилась попадья из огорода.

– Ты у меня смотри, веди себя честно, – сказала попадья. – Не пьянствуй.

Софроний безмолвствовал.

– У нас этого не позволяется. Уж теперь такие времена настали, что ни у кого ни стыда, ни совести нет и всякий ведет себя как самый последний поросенок... Что ж ты молчишь?

Вопрос этот был уже сделан с изрядным раздражением.

– На свете, точно, много поросят, – ответил Софроний.

– Ну, это не твое дело судить, ты знай за собой гляди! Только бы я заметила какие штуки за тобою...

В эту минуту я вдруг почувствовал на правой щеке горячее дыханье, с ужасом обернулся и увидел около себя попову Настю, запыхавшуюся, розовую, как заря утренняя. Слегка отодвинув меня плечом от отверстия в плетне, она припала к нему и несколько времени оставалась неподвижна. Удовлетворив достаточно любопытство, она обратила на меня свои лучистые, веселые карие глаза и с живостью шепнула:

– Видел, какой богатырь?

– Видел, – отвечал я с некоторым колебанием, зная, что ко мне обращается лицо из неприятельского лагеря, но в то же время пленяясь против воли этим лицом и чувствуя к нему непреодолимое влечение.

– Ты знаешь, он с собой ружье привез, я сама видела! Я была в лесу, а он как раз мимо меня проехал, и ружье лежало около него, – длинное-длинное ружье! Возьмет, прицелится – паф, и Тимошу карачун!

При слове паф! она легонько кольнула меня перстами под бока и подмышки; я содрогнулся и хотя невольно взвизгнул,

но почувствовал не досаду, а удовольствие и отвратил лицо, чтобы скрыть несдержанную улыбку.

– Тимош! – спросила она – ты чего меня боишься?

Я смутился.

– Ты меня не бойся, Тимош! – сказала она убедительно. –

Поцелуй меня, – ну?

Она подставила уста свои, свежие, как лесная земляника.

Я сомневаясь, но напечатлел на них робкий поцелуй.

– А вдруг я тебя укушу, а?

И она звонко щелкнула своими белыми сверкающими зубами.

Я желал сохранить хладнокровие, но не возмог и засмеялся.

– Ну, поцелуй еще!

Я проворно исполнил.

– Ну, давай вместе глядеть!

Мы вместе припали к плетню и стали глядеть на Софрония, стоявшего все в той же позе, с шапкой в руках и с тем же, несколько угрюмым, видом.

– У! вот бука-то! – шепнула Настя.

– Бука! – ответил я.

– Что это ты за *незнайка* и за *неслыхайка* такой! – говорила попадья с большим уже раздражением. – Ведь ты ж сколько лет жил с ним бок о бок!

– Я не любопытен, так не глядел и не слушал, – отвечал Софроний.

Тут отец Еремей показался на крыльце, благословил новоприбывшего, принял от него письмо, прочел и спросил:

– Что ж, отец Иван теперь совсем поправился в здоровье?

– Поправился, – отвечал Софроний.

До сей поры образ отца Еремея, хотя и знакомый мне хорошо, как-то исчезал у меня за другими лицами. Если он иногда и рисовался моему воображению, то не иначе, как на заднем плане, и самыми отличительными чертами его особы представлялись мне пояс, шитый яркими гарусами, и широкорукавная ряса или же парчовая риза. Я впервые пристально взглянул на него сквозь плетень и долго не мог оторвать глаз. Ничего строгого, сурового не было в благообразном его лице; на нем даже выражалась приличествующая духовному пастырю кротость; он, как и прочие церковнослужители, имел привычку поглаживать свою широкую, густую, темную, как бы спрыснутую серебром, бороду и откидывать длинные космы назад, потирать руки и набожно поднимать глаза к небу; в обращенье он был мягок, в словах приветлив, улыбками изобилен; все это я видал и знал и прежде, но как бы в тумане, а тут словно сдернули пелену, и меня вдруг поразила не подозреваемая до того яркость красок. Тот же отец Еремей был предо мною, а вместе с тем другой, которого я начал с этой поры бояться больше, чем самой его свирепой супруги.

– Ну, ты теперь отдохни, – сказал отец Еремей.

– Где мне жить определите? – спросил Софроний.

– Вот в том-то и беда! Ты знаешь, тут у нас пожар случился...

– Где это Настя запропастилась? Куда ее носит? – раздался голос попадьи.

Мы оба отскочили от плетня.

– Ну, прощай! – оказала мне Настя. – Не бойся ж меня, слышишь? Не будешь?

– Не буду! – отвечал я ей.

Но она, вероятно, уже не слышала моего ответа, скользнула в коноплю и пропала в ее густой зелени.

Глава третья

Софроний выдвигается

Новоприбывший дьячок Софроний сильно занял все умы и сделался, так сказать, героем селения. Как перед новокупленным конем махают красными лоскутьями, наблюдая, как он – отпрянет назад, взовьется ли на дыбы или шарахнет в сторону, так и его испытывали речами и действиями.

Испытания эти он выдержал удовлетворительно и только тем не пришелся по нраву, кто предпочитает, вследствие личного вкуса или особых обстоятельств, толстокопытую смиренную клячу гордому, быстрому, кипучему сыну степей. Хотя он еще и не закусывал удила, но прыть и ретивость сказывались достаточно в живости блистающих взоров, скорой походке, звуках мощного голоса, выразительности и силе слова, а иногда в нетерпеливом подергивании крепких плечей.

На другой день своего приезда Софроний пришел к нам, и поучительно было видеть, с какою легкостью, в одно мгновение ока, он взял моего отца в руки и стал, как говорится, вить из него веревку.

Случилось это, полагаю, без всякого преднамеренного коварства и умысла со стороны Софрония. По крайнему моему разумению, подобное подчинение слабейшего сильнейшему так же неизбежно должно совершиться, как погибель мухи,

попавшей в миску со сметаной: без борьбы, по самовольному вкусу и непреодолимому влечению.

После первых приветствий отец спросил:

– Ты давно ли овдовел?

– Два года.

– Молодая жена была?

– Молодая.

– Э-э! такова-то жизнь наша человеческая! Злак полей – больше ничего!

Софроний кивнул головой в знак согласия.

– Больше ничего! – повторил отец со вздохом. – А вы с нею хорошо жили?

– Хорошо.

– Ну, что ж делать! Воля господня. Он дал, он и взял! Ты не унывай. Господь испытывает, кого любит, – внушительно сказал отец, облокотись своими тонкими, малосильными руками на стол и глядя слабыми, тусклыми глазами на пышущего здоровьем и мощию гостя. – Вот ты, бог даст, устроишься, заведешь себе огород... Вот ты пока примись да его оплети, а то забор-то совсем повалился. Покойник Данило слаб был, ни на какие работы не способен, ну и все пришло в запустенье, а ты теперь...

– Я прежде всего хочу себе хижку поставить, – сказал Софроний.

– Что? – спросил отец с изумлением.

– Хижку поставить. Жить негде.

– Отец Еремей приказал тебе с пономарем жить.

– На что ж мне с пономарем жить. Пономарь сам по себе, а я сам по себе.

– Что ж тебе пономарь, не по нраву, что ли?

– Отчего не по нраву: пономарь как пономарь.

– Так чего ж ты жить с ним сомневаешься?

– А слышали вы, отец дьякон, присказку, как еж в раю в гостях был? Выжил год, да и ушел под лопух: нет, говорит, лучше, как под своим лопухом, – хочу в клубок свернусь, хочу лапки протяну!

Отец засмеялся. Я даже заметил, что мать, сидевшая поодаль от них за работою, слегка улыбнулась и после этого несколько раз глянула на гостя с удовольствием.

– Что правда, то правда, – сказал отец. – Да что ж поде-лаешь? По одежке протягивай ножки: коли есть где, во всю длину, а негде – подожди.

– Я своих не вытягиваю, куда не надо. Есть дьячковское положение,¹ – я только того и хочу. Отдай он мне мой сбор – и конец! С этим делом надо поспешить; пора теперь самая для построек: сухо, тепло.

– Ну, уж этого я не знаю! – сказал отец, опуская глаза в землю, потирая руки и притворно впадая в рассеянную задумчивость, что всегда бывало у него признаком смущения

¹ При пожаре, или вообще крайнем разорении, или внезапно постигшем несчастьи в наших краях существует обычай, имеющий всю силу закона, собирать сбор для духовных лиц и для церковного причта как монетою, так и натурою. (Прим. автора.)

и тревоги. – Не знаю, не знаю...

– Сбор собрали сейчас же после пожара, стало быть...

– Не знаю! Не знаю! – несколько поспешно, но с той же рассеянной задумчивостью повторял отец.

– Вы напрасно, отец дьякон, опасаетесь со мной об этом говорить, – оказал Софроний.

Отец встрепенулся, как подстреленный; рассеянная задумчивость слетела с него, как спугнутая птица.

– Не мое дело! – проговорил он в тревоге. – Не мое дело! Я тут ни при чем!

– Это-то и худо, что все мы так: «не мое дело», да «я тут ни при чем». Ну, да я запою-таки песню, хоть и подголосков не будет!

– Что ж ты затеваешь? Смотри, ты не супротивничай: за-ест! Где нам, червям, на вороньев ходить! Лучше ты сиди смирно, вот тебе мой совет. Так смирно сиди, чтоб ни-ни, водой не замутить!

– Я своего не уступлю.

– Эй, не связывайся! Истинно тебе говорю, не связывайся! Вот я живу, угождаю им, как лихой болести, да и то беда. А молчу – еле дышу...

– Какая ж вам корысть, что вы еле дышите? Уж коли все одно волк козу обдерет, так лучше козе вволю по лесу наскататься.

– Эх, человек ты буйный! Послушайся ты меня! Ну, хоть пообожди маленько, отложи до поры до времени.

– Откладывать не годится.

– Ну, жаль мне тебя! Ты знаешь ли, какой он человек? Из воды сух выдет! Я вижу, ты парень добрый, – меня не выдашь?

– Никого не выдаю.

– Ну, так я скажу тебе, что весь этот сбор ухнул – понимаешь? Тогда после пожара собрали, я знаю, тридцать рублей, и лесу привезли на сруб и соломы на крышу, все как следует, и все ухнуло – понимаешь? Поставил себе новый амбар, пристроил горницу... Теперь только сунься к нему, спроси – ух!

– Я уж спрашивал.

Отец подпрыгнул, как подкинутый искусной рукою мяч. – Что ж он?

– А, да! говорит. Обожди, теперь времени у меня нет. А я ему: только прошу вас покорно, батюшка, не задерживайте долго, потому время теперь сухое – хорошо строиться.

– Что ж он?

– Хорошо, хорошо! говорит.

– И виду не показал?

– Как выюн ни хитер, а посоли его, так завертится. И этот покрутился, а впрочем, благодушен и милостив распрощался.

– А она?

– Да она пустяки! Сычется, как оса в глаза, и все тут,

– Он тебя теперь водить станет, увидишь! Уж я его знаю. Пообещает все, а потом нынче да завтра, нынче да завтра...

Вот покойный Данила так и в гроб сошел, ничего не дождался. Увертлив, как блоха!

– И блоху, случается, ловят.

– Ну, а я тебе во всем помогать буду! – сказал отец, вдруг приободрясь. – Так на меня и положишься!

Будучи невинным, неопытным и несмысленным отроком, я не мог наблюдать с должной тонкостью развитие событий, по от меня не укрылось всеобщее смятение и чаяние чего-то необыкновенного. Отец, дотоле постоянно погруженный в хозяйственные занятия, а часы отдыха посвящавший уженью рыбы, ловле птиц или сну, вдруг сделался непоседлив, как молодой котенок, запустил хозяйство, при малейшем шуме выскакивал из дому и вообще волновался, как хлябь морская.

– Ты как полагаешь? Что думаешь? – часто спрашивал он мать, с томленьем обращая на нее взоры.

– Не знаю, – отвечала мать с своим обычным спокойствием и как бы отрешением от всех мирских дел.

Но мне казалось, что и она не совсем была равнодушна к готовящейся драме. Она теперь прислушивалась внимательно к речам отца, при его появлении домой бросала на него испытующие взгляды и заметно стала оживленнее.

Пономарь, в мирное время посещавший нас только в торжественные праздники или являвшийся попросить какого хозяйственного орудия, начал теперь часто прокрадываться к нам, как тать, бурьянами, ползком и, остановясь под око-

шепчком, выходящим на конопляник, тревожно осматриваясь по сторонам, вздрагивая и подпрыгивая, как пуганый заяц, подолгу шептался с отцом.

Даже всех поселян и поселянок поглощала разыгрывавшаяся борьба. Где бы и кого бы ни встречал я вдвоем или втроем, я непременно слышал то или другое характеристичное замечание по поводу отца Еремея или Софрония.

– Ты погоди, – говорил один, – дай срок: он его в бараний рог согнет, даром что он на солнце не моргает – глядит! Ты вспомни Семена Куща!

– Ну, этот, пожалуй, что и Семена Куща за пояс заткнет, – возражал другой.

– Да что он! – говорила женская партия. – Она всему злу причина! Коли б вот ее проучить!

– Проучит и ее! – уповали многие.

Между тем герой Софроний вел себя отменно политично, но неуклонно. Каждодневно появлялся он у крылечка отца Еремея и, не уязвимый, не возмутимый проклятиями попадья (впрочем, она в отношении Софрония являла некоторую сдержанность и по большей части проклинала его безличными глаголами или в третьем лице и скрывшись в покои), терпеливо ждал возможности увидаться. Так как ему приходилось иногда ждать долгое время, то он стал приносить с собою нити и челнок и, уместившись в сторонке, у ворот, плел невод, вознаграждая таким образом и, насколько позволяли обстоятельства, потерю времени. Разговоры его с

отцом Еремеем бывали умеренные, тихие, но, глядя на отца Еремея, мне невольно приходило на память сделанное Софронием замечание о посолённом вьюне. Невзирая на видимую ясность духа, можно было уловить кипение мятежных чувств, волновавших его грудь.

Однажды, заметив, что отец, в крайне возбужденном состоянии, присел в коноплянике, примыкавшем к половому двору, что к отцу присоединился вскоре прокравшийся воровским образом, пономарь и что даже мать моя с интересом многократно всходила на всегда ею избегаемый холмик около нашего курятника, откуда видно было попово крыльцо, я сообразил приближение какой-то катастрофы и, уже тогда любитель сильных ощущений, поспешил обеспечить себе наслаждение присутствовать при разражении грозы. Проскользнув мимо не заметивших меня отца и пономаря, я пробрался к тому пункту, откуда вместе с Настей наблюдал первое свидание Софрония и попадьи. Так как во всех случаях, касающихся неприятельского лагеря, я всегда притекал к этому пункту наблюдения, то здесь постепенно заведены были мною некоторые улучшения: истреблена жигучая крапива, сложен из кирпичей столбик, на котором можно было присесть, и прочее тому подобное. Приютившись под гостеприимной сенью широких лопухов, я припал к отверстию в плетне.

Отец Еремей сидел на своем крыльце, на скамье в углу, одной рукой облокотясь на перила, другою поглаживая бо-

роду; у крыльца стоял Софроний с шапкой в руках; у дверей прислонилась Ненила, внимательно слушая и глядя в упор на Софрония; из окна появлялась то и дело медузоподобная глава попады.

– Какой ты докучный человек! – говорил отец Еремей с выразительным, но благодушным укором. – Ведь другой бы на моем месте давно бы тебя отучил от этого!

– Не охота моя докучать, да приходится, – отвечал почти-тельным, хотя неровным голосом Софроний. – Пожалуйте мне сбор, и докуки не будет.

– Что это ты все мне про сбор толкуешь! Я уж сказал раз: обожди, не сомневайся, я тебя не оставлю. На меня еще никто не жаловался, а все, кого знаю, бывали благодарны. Я, Софроний, много на веку нужды и горя принял, а терпел все со смирением и, кладя земные поклоны, повторял: господи! да будет воля твоя! За то творец милосердный и исцелил язвы мои: живу хотя скудно, но душу свою пропитать могу и тем доволен. Не ропщу ни на кого. За зло воздаю добром. Я, как духовный отец и наставник, говорю тебе: истребляй в сердце своем строптивость, злобу, гордость. Человек гордый что пузырь водный: вскочил, и нет его! живи со всеми, не только со старшими, но и с равными, но и с низшими в любви и согласии. И низший может ужалить тебя. Равный вступит в борьбу, и хорошо, если ты одолеешь его, а если он тебя сокрушит? Высшему же от самого господа дана власть над тобой, и ты в его руках...

– Батюшка, скажите, вы, значит, мне не дадите сбора? – перебил Софроний.

Я видел его лицо в профиль, но и по профилю угадывал, что оно должно было выражать сдерживаемый гнев. Голос же его уподоблялся глухому шуму ярого потока, загнанного искусством в подземную пещеру.

– Да ты опять за сбор! Я, ты полагаешь, сколько на покойного Данила пролечил? Вот, погоди, я посчитаю на днях...

– Нет, уж я не буду этого счету дожидаться. Я завтра пойду.

– Куда пойдешь?

– Откуда пришел. Прощайте.

С этими словами Софроний поклонился отцу Еремею и быстрыми шагами вышел из его двора.

Несколько минут отец Еремей оставался как бы пораженный громами небесными, потом встал, прошелся по крылечку, поглядел, посмотрел, как бы желая проверить, все ли по-прежнему в окружающей его природе, и снова сел на лавку.

– Ушел? – вполголоса спросила попадья, высовываясь из дверей.

– Ушел, – отвечала Ненила.

– Сам виноват! – начала попадья, возвышая голос и обращаясь к отцу Еремею. – Его б, душегубца, с первого раза хорошенько прочухранить, а ты ему из священного писанья! Нет у тебя толку на грош, а борода с лопату! Хоть бы уж мне не мешал, безмозглый ты человек! Хоть бы уж...

Отец Еремей вдруг быстро встал, двинулся к дверям и

сказал:

– Замолчи и не мешайся! Иди!

Я не мог наблюдать, какой вид представила попадья, но эта вдруг наступившая тишина наполнила мое сердце страхом; замирая, я ожидал услышать пронзительнейший вопль и затем насладиться зрелищем беспримерного буйства и ярости.

Но тишина была мертвая.

Отец Еремей снова прошелся по крылечку и, обратясь к прислоненной у притолоки Нениле, сказал:

– Чего ты тут стоишь? Иди, делай свое дело!

Ненила скрылась.

Отец Еремей снова начал ходить по крылечку. Я старался уловить выражение его лица, но с определительностью не мог этого сделать. Мне казалось, что он как бы изумлен и недоумеваает. Он по временам останавливался, глядел по сторонам и снова принимался ходить.

Между тем вечерние тени сгущались; скоро темнота обвила фигуру отца Еремея. Я только по скрипу его сапогов угадывал, что он все еще ходит, приостанавливается и снова начинает ходить. Попадья не показывалась; в доме царило гробовое спокойствие.

Волнуемый предчувствием какого-то выходящего из ряда события и теряясь в догадках, я возвратился домой, где застал пономаря.

При моем появлении отец ахнул, пономарь вскочил с ме-

ста, мать вздрогнула, но, узнав меня, успокоились.

Пономарь плюнул и сказал:

– Тьфу! мне представилось, что это *сам* пожаловал!

Я старался из их разговоров заключить что-нибудь определенное, но не мог: отец и пономарь оба сидели погруженные в уныние, облегчали себя частыми вздохами и перекидывались краткими возгласами о горечи жизни и о несправедливости судьбы. Мать, по своему обычаю, сидела поодаль, за работою, в молчании.

Утомленный бесполезным напряжением ума и слуха, я незаметно поддался дремоте, очнулся при словах матери: «Иди, ложись», поспешно сбросил с себя одежды, уловил, но уже одолеваемый сном, любимое восклицание пономаря: «Эх, житье-житье! встанешь да за вытье!» и, допав головой до подушки, мгновенно забыл все смуты и тревоги житейские.

Наутро меня пробудил торопливый шепот отца и пономаря, и, не успев еще отряхнуть с себя ночных грез, я уже угадал по преображенным их лицам, что произошло нечто утешительное. Глаза матери тоже оживлены были удовольствием.

Я не замедлил удостовериться, что Софроний получил от отца Еремея желаемый сбор.

То было первое виденное мною торжество над угнетавшею нас властью, и вкушение его было невыразимо сладко. Не только Софроний безмерно возвысился в моих глазах, но

я и самого себя почувствовал бодрее, воинственнее и самоувереннее. Не ясно, смутно, но я уже понял, что не все может прихоть сильного властью и что многое зависит от нашего собственного мужества, постоянства и твердости.

Несколько раз пономарь повторял свой драматический рассказ, и я всякий раз слушал его с живейшим наслаждением.

– Только солнышко показывается, только я глаза продрал, – говорил пономарь: – а он и шасьт ко мне! «Где, говорит, Софроний?» А сам желтый-желтый, как пупавка.² «Не знаю, говорю, батюшка; не ушел ли, – он вчера собирался: чем свет уйду». Софроний пошел на село хлеба купить, только я в этом не признался, понимаете...

(Пономарь всегда отличался отменным коварством поведения. Так, например, при появлении грибов и опенок, до которых попадья была страстная охотница, он сам вызывался послужить ей, отправлялся с котиком в лес с утра и возвращался только ввечеру. По моим точным исследованиям оказывалось, что он часть дня употреблял на посещение кума своего, кузнеца Бруя; что, собрав грибы, садился в укромное местечко между кустов, откладывал лучшие, прятал их в ямку, а остальные оборыши нес и представлял с умильной улыбкой попадье, давая понять, что целый день ходил по лесу, искал и, пренебрегая слабое зрение, собрал для матушки «новинку», смиренно выпивал подносимую ему чар-

² Пупавка – цветок прекрасного желтого цвета. (Прим. автора.)

ку водки, с низким поклоном удалялся; осторожно осмотревшись, снова возвращался в лес, вынимал спрятанные грибы, осмотрительно приносил их в свое жилище, где варил и ел всласть.)

– Как только я ему сказал, что Софроний ушел, он так и почернел, как земля! «Сейчас, говорит, чтобы он здесь был! Мне его надо, я ему деньги принес!» Сам как скрежетнет на меня! У меня аж в пятки закололо! А тут Софроний на порог, совсем готовый в путь – и котомочка на плече. «Вот, говорю, тебя батюшка спрашивает». А он тогда этак усмехается и говорит Софронию: «Что это ты, Софроний, то покою не даешь, а то бегаешь? На вот тебе деньги. Перестань горевать и стройся. Коли чего еще не будет ставать, так добрые люди опять помогут». И подал Софронию кошель. А Софроний это взял, сейчас пересчитал, поклонился ему и поблагодарил... Ну! видал я виды, а такого еще не приводилось!

Душа моя рвалась насладиться лицезрением несравненно-го победителя. Я повиновался душевному влечению и скоро нашел Софрония у лесной опушки, где он варил в малом котелке кулеш.

Надо полагать, что, несмотря на робость и дикость, восторг мой и сочувствие пробивались довольно ясно, ибо Софроний, глянув на меня раза два, три, кивнул мне головою и сказал:

– Подходи, мальчуган! Садись кулеш хлебать.

От столь неожиданной чести свет несколько помрачился

у меня в очах. Однако я приблизился.

– Вот тебе ложка, – сказал Софроний, – а я уж буду черпачком.

В волнении я хватил полную ложку горячего кулешу и обварил так рот, что лес, Софроний, небо и земля завертелись у меня в глазах и запрыгали. Я мужественно перенес, но не успел скрыть страдания.

– Эх, угораздило молодца! – сказал Софроний. – Набери поскорей воды в рот!

Он подал мне в ковш воды, в который я со смущением опустил глаза.

Холодная вода произвела благотворное действие, и хотя я не мог уже есть кулеша, но боль утихла.

– Ты ведь дьяконский? – спросил меня Софроний.

– Дьяконский, – ответил я.

Затем разговор у нас перешел на ужение рыбы, ловлю перепелов и т. п. Он спросил, точно ли много волков в лесу и случалось ли встречать их, на что я ему ответил, что волков много, но что мне еще не случалось их встречать.

– А вот коли желаешь, так пойдем когда-нибудь за ними на охоту, – сказал Софроний.

Я на несколько секунд замер от удовольствия.

Затем он начал мне рассказывать о разных способах охоты за волками.

Забыв весь мир, я наслаждался благосклонною беседою моего героя, и, вероятно, даже самый час обеденный проле-

тел бы для меня незаметен, если бы не начали то и дело появляться люди, преимущественно лица женского пола.

Они наиприятнейшим образом приветствовали Софрония и начинали речь невинным восхвалением благодатной погоды или вопросом, не скучает ли он по своей стороне, как нравится ему новое его местопребывание, щебетали, как малиновки, ворковали, как нежные горлицы, и, обольстив достаточно, переходили к главному. Между тем как мужчины со всем простодушием косматого медведя, подходя, прямо спрашивали:

– А что, правда? Отдал сбор?

Софроний рассуждал о погоде и о чувствах при перемене места жительства хотя сжато, но остроумно; насчет же получения сбора не вдавался в подробности и отвечал одним словом: получил.

– А я тебе топор и весь инструмент добыл, – сказал подкравшийся по своему обычаю, как тать, пономарь, внезапно появляясь из-за кустов. – Нечего тебе и в город теперь ездить.

– Спасибо. Где ж они?

– А я их тут, поблизу, припрятал. Знаешь, чтоб не пало на меня подозрение, что вот я все тебе помогаю, – понимаешь?

Он исчез в кустах на несколько минут, затем снова появился с топором и мешком, заключавшим плотничьи инструменты.

– Гляди, хороши ли?

Софроний все оглядел и остался, повидимому, доволен.

– Спасибо, – сказал он. – А цена какая?

– Как я тебе говорил.

– Хорошо. Когда ж он придет?

– Завтра утречком. Нынче некогда.

– Значит, я сейчас в Великие Верхи колье тесать. Как туда дорога?

Сердце у меня забилося.

– Коли хотите, я вас туда проведу, – проговорил я.

– Спасибо, проведи, – благосклонно ответил Софроний. –

Постой, только вот инструменты приберу да веревку возьму.

– Ты только смотри, мальчугашка! – сказал мне пономарь, – что видишь, того не болтай. Знаешь, что клеветникам на том свете бывает? Ну, то-то!

Мы с Софронием направились к Великим Верхам. Я, гордый и счастливый, хотя голодный, указывал путь.

Не доходя до Великих Верхов, мы встретили Ненилу с полной чашкой малины в руках; посоловелье глаза и алый ободок около уст свидетельствовали о том, что она досыта наплатала свою душу сладкою ягодою. Она, не заметив нас, прошла мимо. Затем слух наш поразил шум быстро раздвигаемых ветвей, звонкое пенье, и показалась из-за зеленых кущ сладкогласая Настя, пленительностию образа и живостью движения превосходящая прославленных лесных сирен – русалок. Она очутилась, с нами лицом к лицу, вздрогнула, ярко вспыхнула; пенье, еще повторяемое отголосками

леса, замерло на ее устах, и несколько ягод малины высыпалось из чашки.

Софроний ей поклонился и в ответ получил такой же поклон. Она опередила отяжелевшую сестру и скрылась.

После памятных для меня разговора и поцелуев под поповым плетнем Настя всегда при встрече дарила меня улыбкой, веселым приветливым взглядом, а иногда ласковым словом. Теперь ни слова, ни улыбки, ни взгляда.

Это была тучка, и изрядно темная, омрачившая мое ясное небо.

«Она, верно, рассердилась, зачем я хожу с Софронием!» – подумал я с грустию.

Глава четвертая

Праздник пасхи и неистовство Софрония

Софроний выказал неописанную ревность и неутомимость в работе. С зари утренней и до зари вечерней он не знал отдыха. Кроме помянутых ревности и неутомимости, он выказал во всех работах выходящее из ряду уменье и искусство. Он сам плотничал, оплетал плетнем огород, копал гряды, сеял, и все, за что он ни брался, творилось как бы по волшебству: быстро и удачно. Видимо гнушаясь обременять поселян просьбами о помощи, как обыкновенно делает церковный причт, он, если случалось ему одолжаться от кого-нибудь возом, например, для перевозки дерева, немедленно платил за это одолжение не обещаьем вознести молитву ко всевышнему, а трудами рук своих: помогал одолжившему его лицу возить хлеб с поля, или косить, или молотить.

«Хижка» его, невзирая на разные помехи и докуки, быстро отстроивалась и служила предметом удивления и удовольствия для терновского народонаселения. Каждому было приятно взглянуть на такое мастерство; каждый, идя мимо, останавливался и приветствовал усердного и мощного работника.

Сам отец Еремей часто посещал Софронию постройку. Отец Еремей, против всякого ожидания, повидимому не питал ни малейшего неудовольствия на Софрония; напротив, как бы искал его общества и беседы: он одобрял Софрониево прилежание, хвалил искусство, подавал советы касательно прочности дубового леса, вообще относился с редкой благосклонностью и даже уделил ему блюдце турецких бобов на посев.

На все это Софроний отвечал с пристойностью, но без умиления.

Только попадья свирепствовала против Софрония и с высоты своего крыльца произнесла клятву «рассыпаться как трухлый пень» и «распасться по суставчикам», если хотя когда-нибудь приблизится к «антихристовой» постройке, а также запретила дочерям, под страхом «измолотить, как сырую рожь», в случае неповиновения. Это запрещение глубоко огорчило любознательную Ненилу; она даже пролила несколько молчаливых слез, упершись лбом в притолоку крыльцовой двери, и угрюмое облако покрыло ее дотоле безмятежное лицо.

Попадья, находившаяся два дня в оцепенении после памятного вечера, снова получила употребление своих способностей. Теперь главный поток ее ярости был обращен на Софрония; она почти бросила остальные распри, устремилась на свежую жертву и, принимая его спокойствие за кротость, свирепела с каждым днем.

Между тем женская партия, почитавшая попадью Македонскую корнем всех зол и возлагавшая на Софрония сладостное упование, что он этот корень подрежет, заподозрила его в слабости духа и начала волноваться. После многих сетований и ропота она выбрала из среды своей посланниц, которым поручила доказать Софронию весь позор его безответности и возбудить в нем более благородные чувства. Во главе посланниц явилась некая Устина, или, как ее у нас звали, Устя, жена ума хитрого и тонкого, искусная в обольщениях словами, виновница распада многих семей, разрыва долголетних дружеских отношений, отважная, неустрашимая и пламенная. За последнее качество она даже получила название «вышкварка».³

Однажды ввечеру, когда Софроний, окончив дневную работу, сидел у нас и разговаривал с матерью (мать охотно слушала его речи и даже улыбалась на его шутки; вообще отличала его от всех прочих), вошла Устя. После томных, но лестных приветствий она упавшим голосом попросила у матери одолжить ей богородицыной травки, жалуясь на сокрушающее ее нездоровье.

– Поди, Тимош, – сказала мне мать. – Достань в каморе, направо, на третьем колышке висит.

Я отправился, отвязал пучок травы и поднес его Усте. Но Усте уже было не до богородицыной травки.

³ Вышкварок – кусочек кожи от сала, подскакивающий с шипеньем на сковороде и разбрызгивающий кипящую жидкость. (Прим. автора.)

– Нету, значит, ни правды на белом свете, ни добрых людей! – говорила она, оправдывая всем своим существом данное ей наименование. – Пусть уж мы терпим – наша уж доля таковская! А вам, Софроний Васильевич, с какой стати ей покоряться? Как она может вами помыкать? Вчуже сердце надрывается! Вдруг намеди хвалится: «Я, хвалится, его так вышколю, что он будет у меня по ниточке ходить и не падать! Я, хвалится, что хочу, то и могу над ним, поделать, – он слова передо мной пикнуть не посмеет! Он что такое? говорит. Тьфу! больше ничего!» Ох, боже! у меня за вас душа закипела! Бабы говорят мне: «Неужли он вправду такой пень?» – «Вы уж и поверили, – говорю им, – безмозглые чечетки! Погодите, говорю. Он, может, не знает еще ничего». – «Какое, – говорят они, – не знает! Ведь она, кажется, голосу не жалует: глухой услышит». – «Все-таки, говорю, погодите. Может, он нездоров или что такое. Я, говорю, доподлинно знаю, что он себя бесчестить и позорить не попустит». – «Ну, говорят, увидим, чья правда, ваша или наша!» А мужики тоже научают: «Что, говорят, это за человек? Даже с бабой не умеет справиться! Что ж такое, что она попадья? И попадье можно правду сказать! Попадья, говорят, не затем поставлена, чтоб ей честных людей порочить!» Вы сами согласитесь, Софроний Васильевич! Вы скажите мне: чья душа может терпеть такой позор? Вы скажите мне!

– Да вы напрасно столько этим сокрушаетесь, – отвечал Софроний: – не стоит.

– Как не стоит?

– Да так не стоит. Пусть себе надсаживается, коли ей охота.

– Так неужто вы это ей спустите? – вскрикнула Устя, словно под нее жару сыпнули. – Неужто будете молчать?

– Зачем же мне за ней тянуться?

– Господи! мать божия! – медленно, как бы в смертельном ужасе, проговорила Устя: – бабе над собой такую волю дать? от бабьего слова бежать?

– А разве вы не слышали, как от одного тухлого яйца семеро мужиков бежало? – сказал Софроний, вставая. – Доброго вечера и веселой беседы!

С этими словами он удалился.

Обманутое ожидание, уязвленное самолюбие, неудача в посольстве несказанно взволновали Устю; она несколько минут сидела неподвижно, подобно каменному изваянию; затем быстро вскочила, пробормотала матери несвязное прощальное приветствие и скорыми шагами вышла из-под нашего крова, очевидно унося такой ад в душе, что я не решился напомнить ей о забытом пучке богородицыной травки.

С этого вечера образовалась под предводительством Усти партия недовольных.

Увы! кто же может испечь пирог на весь мир, читатель?

Впрочем, недовольство это было затаено, насколько позволял затаить пламенный нрав предводительницы, и наружная любезность не пострадала. Так, например, когда Софро-

ний перешел в свою избу, Устя пришла поздравить его с новосельем, причем ограничилась одним только ядовитым намеком, сказанным с милою шутливостью: при обычном пожеланье различных благ на новоселье она вместе с ними пожелала ему от щедрот господних храбрости хоть с ногтей.

– Спасибо, – ответил Софроний, – да, надо полагать, творец небесный всю ее вам отдал: и с ногтей не осталось для прочих.

В тоне его ответа была тоже шутливость и ни малейшей злобы.

Много приятнейших часов провел я сначала на постройке, а потом в отстроенном жилище Софрония. С какую ревностью я месил глину, волок кирпичи, таскал воду, носил, изнемогая под их тяжестью, охапки соломы! С какую заботою наблюдал, прямо ли укреплена полка, прочно ли стоят ножки у стола! Никогда впоследствии не дало мне столь живого удовольствия даже чувство собственника, воздвигающего свой «собственный» кров! Никогда я не бывал так доволен и горд, расхаживая по «своему» жилищу! Быть может, потому, что уж знал тщету, непрочность и тлен всего земного. Могу сказать, я любил «хижку» Софрония, как нечто живое и одушевленное.

Софроний обращался со мной благосклонно, и, что было для меня всего драгоценнее, в его обращении не выражалось ни столь несносного для детей подтруниванья, ни высокомерного, хотя мягкого и ласкового, одобрения, ни чрез-

мерного снисхождения и в то же самое время небрежности. Когда какой-нибудь зритель, глядя на мое усердие, говорил: «Славный малец! славный! Смотри, какво работает! Вот так работник! Ай да молодец!» – Софроний обыкновенно отвечал на эти чрезвычайные похвалы просто и серьезно:

– Ничего, понемногу приучится. Сразу мастером никто не бывал.

Если я брался что-либо для него делать, то он принимал это не как детскую пустую забаву, а как настоящую, хотя и плохую работу, ценил труд и усердие, не допускал небрежения, критиковал без досады, а вместо расточения похвалы кратко говорил: «идет!» или: «годится!»

Я все более и более прилеплялся сердцем к Софронию. Единственно поглощенный его неоцененным обществом и честью помогать ему, насколько хватало моих сил, я пренебрегал всеми осенними сельскими утехами.

Наступила зима, пора, как я уже выше упоминал, самая для меня унылая. Так как число барашковых овчинок, собираемых отцом мне на тулупчик, увеличивалось с чрезвычайною медленностию, а я рос с быстротою луговой травы, то вышло, что и на эту зиму я был осужден судьбою на домашнее заключение. Прежде я в подобном положении услаждал себя краткими вылазками, доставлявшими мне более волнения, чем удовольствия, но теперь имел великую отраду посещать Софрония и проводить иногда у него долгие часы, занимаясь чинкою невода, или плетением сети, или делани-

ем зарядов.

Я еще и доныне живо помню, как я, завернувшись в родительские одежды, дрожа от пронимающего насквозь холода, а еще более от радостного нетерпения, торопливо перебегал, спотыкаясь в больших сапогах, небольшое пространство, отделяющее нашу ветхую хижину от Софрониева жилища!

В одно из моих посещений мы с Софронием заняты были плетеньем сетей на куропаток. День был солнечный, теплый. Подняв нечаянно глаза вверх, за стаей чирикавших воробьев, я вдруг увидел, к величайшему моему изумлению, полноликий образ Ненилы, выглядывающий из отверстия в поповой кровле. Оправившись от изумления, первую мою мыслью было: «Ах, если бы вместо этого лица показалось другое! Но нет! То никогда не покажется!»

И точно: то никогда не показалось.

Тут впервые я углубился в думу о том, как неприятны распри человеческие, какое огорчение они могут причинять и как бы хорошо могли жить люди в братской любви и мире.

– Посмотрите, откуда попова Ненила на нас глядит! – сказал я Софронию, указывая ему движеньем головы на попову кровлю.

На что Софроний, бросив беглый взгляд по указанному мною направлению, спокойно отвечал:

– Пускай себе поглядит: не сглазит. Мы захотим, так и мы на нее поглядим.

– А Настя не глядит, – сказал я и с тайным упованием

услыхать что-нибудь успокоительное и поддаваясь желанию облегчить свою думу разговором о милой мне девице.

Но Софроний или нашел мое замечание праздным, не стоящим ответа, или пропустил его мимо ушей. Он был в этот день вообще озабочен.

– Настя совсем не похожа на Ненилу, – сказал я, не отступивший при первой неудачной попытке.

– Да, не похожа, – отвечал Софроний.

Я искоса глядел на него, стараясь по лицу его угадать, насколько враждебно отнесется он к пленившему меня неприятелю, и заметил, что на его устах мелькнула, как молния, улыбка, – улыбка, какая бывает при внезапно явившемся среди заботных дум и тяжелых мыслей приятном воспоминании: она вдруг озарила его лицо, подобно тому как яркий луч солнца, пробившись из-за туч, озаряет покрытую тенью равнину.

– Настя веселая, добрая, – сказал я, ободренный вышепомянутой улыбкою.

Для выражения пленительности ее и добродетелей в моем детском словаре не нашлось иных слов, кроме «добрая» и «веселая», и только это заставило меня быть кратким в изъяснении похвал.

– Ты разве ходишь к ним? – спросил Софроний. – Кажется, ты туда не заглядываешь?

– Нет, я не хожу, только Настя со мной как встретится, всегда разговаривает...

Тут я запнулся, вдруг вспомнив, что с последней встречи в лесу я видал ее только издали и что в реченную встречу она не подарила меня ни словом, ни даже взглядом. Я вдруг исполнился уныния и замолк.

Поведи Софроний этот разговор дальше, я, может статья, высказался бы, по свойственной всем смертным, как великим, так и малым, слабости духа и жажде сочувствия, но Софроний не спрашивал более, и речь перешла на ловлю куропаток.

С этого времени я всегда в ясные, погожие дни усматривал дегтеобразную голову Ненилы, созерцающую с высоты кровли наше окно.

Таково действие тиранства! Ненила, невинно лишенная материнскою прихотью своего любимого удовольствия, сильнее почувствовала, как то всегда бывало со времен прародительницы нашей Евы, влечение к запретному плоду, что пробудило в ней дремавшую и, быть может, навсегда бы уснувшую хитрость и развило дух противоречия, который побудил ее, не страшась опасности, провертеть дыру в отчей кровле и тайно наслаждаться несправедливо отнятою у ней забавою.

Так обманут бывает рано или поздно всякий тиран, самый зоркий и лютый. Тщетно налагает он оковы и заставляет впереди зреть кару, следующую за преступлением его воли: дух свободы, прирожденный смертному, во всяком, каков бы он ни был, сказывается и побуждает раба теми или иными пу-

тями противоборствовать!

Изредка, вечерами, Софроний приходил к нам и беседовал с отцом и матерью: Сколь много значит присутствие умного и живого человека! Софроний и в нашу всегда печальную обитель вносил с собою некое оживление и веселие. Истинно можно сказать, что умница и дверь иначе отворит, чем обойденный этим высшим даром Божиим. Речи, которые Софроний вел с моими родителями, не бывали особенно замысловатого содержания, а между тем имели чрезвычайную занимательность и открывали пытливному детскому разуму, как бы случайно, многие, дотоле ускользавшие, стороны жизни. Я, при речах прочих гостей и даже любезного мне родителя моего начинавший после получасового испытания чувствовать томление души и тела и прерывать беседу их челюстераздирающими зевками, готов был, слушая Софрония, сидеть целую ночь напролет, не сморгнув оком и только улыбаясь от полноты душевной утехи.

Но доставляющий мне столь несравненные наслаждения Софроний заметно становился с каждым днем все мрачнее и мрачнее. В движениях его начало проявляться какое-то нетерпенье, беспокойство, и он часто начал впадать в угрюмую, раздражительную задумчивость.

Пономарь, хотя реже прежнего, но все по временам забегавший к нам, однажды, влетев, как пуля, в горницу, шепнул отцу:

– Я говорил: помяните мое слово! Я говорил: несдобро-

вать!

Затем он начал шептать еще тише, и я не мог уж ничего разобрать.

– Что ты! – сказал отец. – Тебе померещилось! Я сам видел, как он нынче поутру остановил Софрония и так с ним разговаривал...

– Целует ястреб курочку до последнего перышка! – отвечал пономарь, моргая то тем, то другим оком и с самым зловещим выражением.

Встревоженный отец в тот же вечер спрашивал Софрония:

– Софроний, чего ты закручинился? Что там у вас с ним? Говорят, он у тебя попортил...

– Не поймал, так и вором назвать не могу! – ответил с некоторым раздражением Софроний.

– Ну и слава богу! ну и слава богу! Это ты справедливо говоришь... и хорошо рассуждаешь... Так чего ж ты кручинный ходишь?

– Да на свете больше печали, чем радости, а я как та Маремьяна старица, что за весь мир печалится! – ответил Софроний с улыбкою.

Но улыбка эта была исполнена горечи и не разъяснила, а еще пуще омрачила его угрюмое лицо.

– Конечно! конечно! – проговорил отец. – Больше печали, чем радости! Гораздо больше!

Он несколько раз глубоко вздохнул и вскоре затем ушел,

вспомнив, что не задал скоту корму на ночь.

– Вы очень похудели, – сказала мать Софронию.

Софроний сидел на скамье, облокотился на колени и подперши руками голову. При этих словах он поднял лицо и поглядел пристально, с великою грустью, на мать.

– И вы не цветете, – сказал он.

– А вы плохих примеров не берите! – сказала мать улыбаясь.

Она как бы шутила, но из-за шутки слышалось столько живого участия, что даже я, бессмысленный отрок, был этим взволнован.

– Что такое случилось? – прибавила она.

– Что случилось? – почти вскрикнул Софроний, быстро поднимаясь со скамьи. – То, что случается вот уже целую зиму! Он мне покою не дает ни днем, ни ночью! Мне не волчьих капканов жаль, не плетня, а жжет меня обида! Что я ему сделаю? Он за тремя оградами сидит!

При этом Софроний с такою страстию ударил кулаком по столу, что стекла в окошках задребезжали.

– Он нарочно вас дразнит, – сказала мать.

– Знаю! Знаю! Ведь каждое его подлое слово меня словно каленое железо жжет, а я все молчу! Уж мне горло сдавило!

Он подошел и сел около матери, на лавке.

– Я думал: брошу, уйду – да нет! Будет заедать другого, третьего – останусь! Сам пропаду, а его...

В эту минуту послышался в сенях кашель возвращавше-

гося отпа. Софроний встал, сказал «прощайте» и направился к двери.

Мать тоже встала.

– Софроний! – сказала она.

Он приостановился, а она сделала несколько шагов к нему и с глубоким волнением проговорила:

– Вы себя поберегите! Уж сколько хороших людей... Голос ее прервался, и слезы хлынули из глаз, но она тотчас отерла их, овладела собою и договорила:

– Уж сколько хороших людей даром пропало! Вы не отступайте от своего, только будьте осторожны! Будьте осторожны!

– Спасибо, – ответил Софроний. – Я буду осторожен. Я...

Отец отворил дверь и не дал ему договорить.

– Куда ж так рано? – спросил отец. – Положи шапку да еще посиди.

– Нет, – ответил Софроний. – До другого разу!

И ушел.

– Беда, да и только! – сказал отец. – Пономарь что рассказывал, слышала?

Мать снова сидела прилежно за шитьем, но лицо ее горело, и руки слегка дрожали.

– До трех раз, говорит, Софроний ставил плетень, – глядь! за ночь опять повален! Ах, царь небесный! заступи и помилуй нас грешных!

Отец повздыхал, побряхтел и вслед за тем задремал. Но

мать долго работала. Я видел, что она несколько раз поспешно отирала вдруг неудержимо прорывавшиеся слезы.

Не довольствуясь догадками, я решился уяснить себе все дело. Вооружившись всем хитроумием, которым меня наделило провидение, я через несколько дней узнал, что неизвестным зложелателем испорчено у Софрония ружье, затем обвален троекратно плетень, затем опрокинуты поставленные на волков капканы и причинено сотни мелких, но несносных неприятностей в этом же роде.

После вышеописанного несколько недель прошло благополучно: тайный зложелатель или удовлетворился уже причиненным, или же удерживаем был опасением, ибо Софроний, починив ружье, держал его постоянно при себе заряженным, да и вообще происшествия эти сильно всех заняли, каждому хотелось дознаться правды, и каждый был более или менее настороже.

Но этим благополучным течением дел Софроний отнюдь не был успокоен. Ему, как человеку крайне раздраженному, уже не требовалось новых поводов для гнева и волнений; прежние маленькие, но ядовитые уколы теперь разболевались все сильнее и сильнее и, сначала более изумившие, чем уязвившие, теперь начали мучить самым несносным образом. Раздражение Софрония видимо росло с каждым днем.

Хотя он попрежнему относился ко мне с благосклонностию, но некий внутренний голос поучал меня, что надо оставить его в покое. Покорясь помянутому внутреннему го-

лосу, я с болью сердца прекратил свои посещения. Софроний тоже почти перестал ходить к нам. Кроме того, я заметил, что отец мой в те редкие часы, когда Софроний бывал у нас, смущался, заикался и вообще представлял вид человека, попавшего между двух огней, что он теперь только по робости и кротости не бежал от лица Софрония и что вздыхал свободно при его удалении. Это открытие исполнило меня великого огорчения.

Пономарь стал вести себя относительно Софрония с таковым же малодушием, но, как человек увертливый, привыкший к коварству с давних пор, вел себя искуснее. Тогда я со страхом обратил испытующее око на мать, но тут был посрамлен за свои подозрения: мать на маковое зерно не изменилась к Софронию. Напротив, она даже сделалась как бы дружелюбнее; при редких их встречах всегда с ним, с несвойственной ей словоохотливостию, разговаривала и своими разговорами не раз успевала несколько разъяснить его мрачное лицо и вызвать хотя томную улыбку на сжатые гневом уста.

Так эта зима, вначале подарившая меня отменно приятными часами, впоследствии превзошла унылостью и томлением все ей предшествовавшие, ввергла меня в сугубую тоску и даже многократно заставила проливать горькие слезы.

Никогда, казалось мне, весна так не замедляла своего пришествия, как в этот год. Дрожь нетерпения пробегала по всем моим членам, когда я взирал на медленно оседавшие

сугробы снега.

Наконец я мог приветствовать журчанье поллой воды, пробившиеся под заборами мягкие яркозеленые иглы молодой травки и первый теплый весенний дождь.

Наступление весны воскресило упавший дух мой. К тому же Головастик (о котором я уж упоминал в конце второй главы этих записок) за зиму значительно подрос, окреп и мог теперь выносить тяжесть восьмилетнего всадника.

Скоро Головастик сделался единственным моим утешением. Утомленный постоянно царствовавшими, хотя не явными, но чувствуемыми смутами, я искал от них отдохновения в наездничестве и, с ясного рассвета до багряного заката, скакал по лесным тропинкам, по побережью и даже проникал за черту терновских земель.

Наступил торжественный и любимейший мною праздник пасхи. Я, как теперь, вливаю напитанный первыми весенними ароматами воздух тихой темной ночи, внимаю говору со всех сторон стекавшегося в храм, невидимого в ночной мгле народа, слышу полуночный благовест, смыкаю вежды от блеска вдруг засиявшего множеством свеч храма и вздрагиваю от потрясшего ветхие своды звучного и мощного голоса Софрония, который покрыл собою медовое пение отца Еремея и дребезжащие возгласы моего отца.

При всеобщих праздничных одеждах и братских целованиях Софроний поразил меня своею бледностью и мрачно горящими взорами.

Очи отца Еремея, напротив того, сияли благостью, ласковое лицо кротко улыбалось, и даже его борода, казалось, ложилась на исполненную христианской любви грудь какими-то особенно мягкими волнами.

Попадья, украшенная смесью желтых и малиновых одежд, пробивавшая правым плечом, как ломом, путь в тесной толпе, с оглушительным чмоканьем троекратно христосовалась с прихожанами и обирала подносимые ей пасхальные яйца. За нею следовала лепообразная Ненила, сияющая серьгами, ожерельями, запястьями, перстнями и обозначавшая шествие свое не менее громким чмоканьем и не менее для народа отяготительным сбором пасхальных яиц. Настя, как меньшая, долженствовавшая, по обычаю, не затмевать, а выставлять красоты старшей сестры-невесты, не поражала блеском золотых украшений. Я с трудом следил за нею, пробиваясь сквозь толпу. Живая, стройная, она, как легкая серна, проскользнула к боковым дверям, приостановилась, поднялась на цыпочки, с минуту кого-то искала блистающими очами, судя ио изменению лица, нашла, несколько мгновений пристально созерцала, затем скользнула в двери и скрылась.

Меня, следившего за нею с тайным упованием прежних ласк, она не заметила.

Так как к терновскому приходу принадлежат некоторые ближние хутора и деревушки, то дележ яиц, собранных церковным причтом, совершается только на второй день празд-

ника, ввечеру. Обыкновенно собранная добыча привозится на попов двор, куда являются и дольщики. У нас, в наших краях, положение следующее: если священнику «десяток», то дьякону «осьмик», дьячку «пяток», а пономарю «тройка», но отец Еремей давно изменил это общее положение, чему весь причт безропотно покорился, ограничась тихими вздохами и домашними жалобами.

Я всегда любил следить за этим дележом и в описываемый мною момент не замедлил занять свой наблюдательный пост.

У попова крыльца стояла телега с добычею, а на земле четыре, различной вместимости, шайки; на крылечных ступеньках сидела попадья, а рядом с нею Ненила (попадья была в столь мирном и ясном настроении, что даже приветливо поклонилась появившемуся в воротах Софронию); пономарь вел с нею льстивые речи; мой отец робко стоял в стороне, а приблизившийся Софроний мрачным оком оглядывал расставленную посудину для принятия доли каждого.

Ждали появления отца Еремея, и он вскоре появился в лиловом подряснике и шитом гарусами поясе, поглаживая бороду и чадолюбиво окидывая взором присутствующих.

Благословив каждого, он приказал с осторожностью вынуть из телеги лукошки с хрупкою добычею и начал, во имя отца и сына и святого духа, ее делить таким порядком: священнику, дьякону, дьячку и пономарю. В первом случае персты волшебным образом удлинялись, длани чудотворно расширялись, и он захватывал по пяти яиц в каждую руку, во вто-

ром же случав персты его мгновенно сводило, длани сжимало, и он только с великим, повидимому, затруднением мог удержать по три яйца в руке. В третьем случае правая рука удерживала только два яйца, а левая, как бы пораженная бессилием, захватывала одно. В четвертом случае действовала только одна правая, опускавшая в пономарскую шайку одинокий белый шарик.

Дележ, совершавшийся в глубоком безмолвии, окончился; отец Еремей выпрямился, откинул назад роскошные пряди волос, погладил бороду и готовился обратиться к присутствующим с какой-то приветливою речью, как вдруг Софроний быстро к нему приступил и спросил громовым голосом: – Так у вас такой дележ?

Я глянул на него и замер; вид его напомнил мне грозного архангела, подъявшего огненный меч и готового покарать с пламенной ревностию богопротивных смертных.

Отец Еремей побледнел и затрепетал. Попадья вскочила со ступенек с громким криком; даже Ненилу подняло. Прочие пятились в ужасе.

– Софроний! – начал, несколько оправившись, отец Еремей торжественным, хотя сильно изменившимся голосом.

Но он не кончил.

– Вот она, пастырская часть! – вскричал яростно Софроний, и, прыгнув, как свирепый тигр, в попову шайку, доверху наполненную яйцами, он принялся неистово топтать их ногами, превратил в безобразную яичницу и удалился, залеп-

ленный по колени желтками, оставив всех в оцепнении.

Глава пятая

Встреча

Любезный читатель! Всегда меня приводили в немалое изумление те несообразительности, какие выказывают самые дальновидные, и ошибки и промахи, какими испытуются самые мудрые. «Бог попутал», – говорят при таких случаях у нас в Тернах. Вполне принимая это положение, я тем не менее старался объяснить себе любопытное явление и, после многих размышлений, пришел к заключению, что смертные, по нашему же терновскому несколько жестокому выражению, «зарываются», или, говоря языком более изысканным, зазнаются в среде, низшей им по уму, хитрости или могуществу. Муж или жена, постоянно живущие между собратиями сравнительно скудоумными или уже уступающими им в значении, мало-помалу начинают много мечтать о себе и возноситься превыше всех общепринятых обычаев и даже законов. Самоуверенность их и гордость растут, и, наконец, они так заносятся, что начинают жить спустя рукава, не заботясь о том, что чувствуют и думают их окружающие, уповая, что все им будет сходить с рук благополучно. Ум, обыкновенно изощряющийся в борьбе или соревновании с равными, начинает глохнуть в бездействии, как запущенная нива, и рано или поздно повторяется простонародная легенда о самовластительном некоем богатыре, который говорил о своих вра-

гах: очень мне нужно головку свою богатырскую трудить да придумывать, как с ними справиться, – пойду и просто кулаком пришибу! Пошел, замахнулся, но восходящее солнце ударило ему прямо в глаза ярким лучом, и он промахнулся, а промахнувшись, покачнулся, не удержал равновесия и слетел в бездну, над которой происходила встреча с врагом.

Такова история отца Еремея. Невзирая на всю свою изворотливость и прирожденное, можно сказать, сверхъестественное искусство в коварстве, он был, однако, поруган первым на него восставшим.

Пример отца Еремея еще не так разителен, ибо явился соперник его достойный: сколь первый обилен был коварствами, робостию и темными пятнами совести, столь же последний удивлял отвагою, честностью и непорочностью души; шансы боя были сомнительны. Но есть несчетно случаев, несравненно поразительнейших, где, так сказать, величественные юпитеры посрамлены бывают и повергаются в прах простодушными и бесхитростными свинопасами.

Неистовство Софрония, описанное мною в предыдущей, четвертой главе, поразило всех столь сильно, что всюду воцарились тишина и безмолвие. Как бы считая всякие слова и речи недостаточными для выражения этого события, все сомкнули уста. Пономарь уже не прибегал более через конопляники к нам под окно высказывать свои чувства и сообщать сделанные им наблюдения; попадья пребывала в молчании и распоряжалась по хозяйству более знаками, как бы лишен-

ная употребления не только голоса, но и языка; отец мой даже не вздыхал, а только осенял себя крестным знамением. Все находились как бы в чайнии грозы.

Прошло, однакоже, более двух месяцев, а гроза не разражалась. Я за последнее время, к великому моему прискорбию, совершенно отстал от общества Софрония; он даже перестал ходить к нам, и я только издали видал его иногда отправляющегося с ружьем в лес, угрюмого, как мне казалось, и мрачного; шел он обыкновенно понуриив голову, как бы в печальной задумчивости, и тихо насвистывал одну из любимейших местных древних воинственных песен: «Не иди, не иди, вражий дуко, де голота пье!» Я страстным взором следил за ним из-за какого-нибудь куста, но не осмеливался приблизиться. Удерживал меня не страх, а почтение; хотя невинный отрок, я инстинктивно чувствовал, что ему не до меня.

За все это время я из-за какой-нибудь засады несколько раз наблюдал проходившего в поле или сидящего на крыльчке отца Еремея. Наблюдения показывали, что он наружно тих и благ и занят или хозяйственными полевыми распоряжениями, или же благочестивыми, повидимому, размышлениями, однако несколько утратил телесной полноты и румянца.

Более двух месяцев, как я упомянул, длилось всеобщее, так сказать, оцепенение, но мало-помалу оно начинало проходить, и, наконец, наступил день, когда снова окрестность

огласилась яростными восклицаниями попадьи, и эхо ущелий повторило отрывки ее проклятий.

В первый раз в жизни я приветствовал этот пронзительный голос веселым рукоплесканием: мне почему-то казалось, что он выведет всех из очарованной неподвижности и возвратит прежнее оживление, разговоры, разнообразные, хотя и мелкие волнения, утечи и прелести жизни.

Но я ошибся. Не только для всех прочих, но даже для меня попадья вдруг утратила прежнее свое значение. При ее криках я уже теперь не содрогался, сердце мое не начинало трепетать, как пойманная пташка: они докучали мне – вот и все, и самым сильным выражением моих ощущений в этом случае было то, что я, плюнув, говорил или думал: ведьма! и хотя попрежнему бежал от лица ее, но уже не задыхаясь от волнения, а только гонимый досадой и неудовольствием.

Так, в одно погожее воскресенье, я, тщася обмануть ее зоркие очи, крался ползком под тыном, желая проникнуть в лес, где; обольстительница-надежда сулила мне спелую землянику, птичьи гнезда и тому подобные любезные мне предметы. Презирая ужалы крапивы и уколы терний, росших в изобилии на всем пространстве выгона, изредка осторожно высовывая голову и наблюдая, где расположен неприятель, я благополучно достиг опаснейшего пункта, именно купы дубков против попова крылечка; тут я приостановился, обозрел кругом местность и прислушался.

– Чтоб тебя колесом свело да по болотам разнесло! – доно-

силось по тихому, теплему воздуху с попова огорода. – Безрукая кукла!

По свойственному смертным себялюбию я свободно вздохнул, забывая злополучие работницы Лизаветы, находившейся в данную минуту под громами Македонской, и порадовался своей удаче. Я поднялся, начал насвистывать, подражая пенью малиновки, и несколько минут глядел на попово крылечко и на окна с не покидающим меня упованием хотя на единый миг увидеть Настю.

Но я ее не увидал и, желая стряхнуть с себя тоскливое чувство, пустился легкой рысью, добежал до опушки и вдруг остановился, поражен и трепетен.

На замшелом пне сидела Настя и пристально, в задумчивости глядела на дорогу, черной змеей извивавшуюся по зеленому бору. Она, изумлявшая всегда огнем веселых очей, сверканьем снегоподобных зубов, юркостью движений, сидела неподвижно, подобно мраморному изваянию. Никакого блеску в карих очах; уста сжаты; щеки побледнели; подперла голову рукой...

После многих колебаний я решился к ней подойти ближе, делая вид, будто ее не замечаю. Я даже попытался насвистывать, но, удушаемый волнением, должен был ограничиться только робким кашлем.

Она вздрогнула, быстро привстала, но, узнав меня, как бы успокоилась и опять села.

– Это ты, Тимош! – сказала она; легкая, не прежняя, а

новая какая-то улыбка скользнула по ее устам. – Куда ты?

– Я в лес, – проговорил я, восхищенный и вместе растроганный ее приветом.

– Пойдем вместе! Она схватила меня за руку своей гибкой, цепкой рукой и вдруг снова обернулась в прежнюю Настю: глаза заискрились, белые зубы сверкнули, румянец вспыхнул.

– Бежим!

И помчалась по дороге, увлекая меня за собой, как увлекает живой, неукротимый поток легкий древесный листик.

Когда, наконец, она остановилась и я, переведя дыхание, опомнился и взглянул на нее, то предо мною стояла совсем прежняя, ослепительная весельем, живостью и прелестью Настя.

– Что ж ты на меня смотришь, как козел на новые ворота? – спросила она. – А?

Я потупил глаза и ничего не дал ей в ответ кроме улыбки – улыбки, которая, мню, не могла внушить похвального мнения о живости и остроте моего ума.

– Опять сызнову надо с тобой знакомиться? Опять ты меня боишься? Ну, знакомься! Ну, целуй!

С быстротою кобчика, кидающегося на добычу, я исполнил это, для меня приятнейшее, приказание,

– Ну, теперь давай ягод искать! Кто скорей найдет!

Она замелькала между деревьями, в один миг исчезла за их зелеными кущами, а еще через миг раздался ее сладост-

ный голос.

Я как теперь слышу эту голосистую песню, звонко разно-
сящуюся по свежо шумящему лесу:

Как задумал старый дед
В другой раз жениться, –
Сел-сел, думал-думал:
Задумал жениться!
Как старую, взять мне,
Не будет служить, –
Сел-сел, думал-думал:
Не будет служить!
Молодую взять мне,
Не будет любить, –
Сел-сел, думал-думал:
Не будет любить!
А хоть и полюбит,
Так не поцелует, –
Сел-сел, думал-думал:
Так не поцелует!
А хоть поцелует,
Отвернется, плюнет, –
Сел-сел, думал-думал:
Отвернется, плюнет!
Что у тебя, старый дед,
Козлиная борода!
Сел-сел, думал-думал:
Козлиная борода!
И совины очи,

Поганы до ночи!

Сел-сел, думал-думал:

Поганы до ночи!

Настя слыла у нас сладкогласнейшею певицею, и я, с отроческих лет пристрастный к пению, часто с отрадою слушал, как она в своем саду усладительно призывала: «Ой, вернись, мое сердце, из походу», или вопрошала: «Скажи ты мне правду, пташечка малая, кому лучше, кому легче в свете проживать?», но никогда, казалось мне, еще не пела она с таким совершенством. Злополучный старый дед, с своими тяжкими недоуменьями и беспомощностью, встал передо мною как живой, и я, то предаваясь по поводу его веселию, то трогаясь жалостию, даже забыл о приманчивой землянике.

Вдруг песня оборвалась, и я услышал:

– Ау, Тимош! Ау!

– Ау! – ответил я.

– Сюда! сюда!

Я кинулся на зов, как легконогий заяц, но пробежав значительное пространство и в поспешности исцарапав лицо древесными сучьями, приостановился: ничего, куда ни глянь, кроме яркой зелени куш.

– Ку-ку! Ку-ку! – раздалось как раз около меня, почти над самым моим ухом.

По терновскому преданию, кукушка – злополучная царев-

на, проклятьем родительницы обращенная в пернатую жительницу лесов, не может утешиться и, кукуя, проливает человеческие слезы об утраченном счастье и достоинстве. С простодушием, свойственным терновцу, я веровал в эту легенду и потому, затаив дыхание, жадно устремил взоры в высоту, стараясь проникнуть в сень дуба, увидеть падающую слезу, подставить во-время под нее ладонь и приобрести таким образом прекрасное серенькое зернышко, в которое превращается горькая слеза проклятой царевны.

Вдруг раздалось звонкое «ку-ку» с противоположной стороны, раздвинулись кусты, и между их ветвями появилось бесподобно смеющееся Настино лицо.

– Ку-ку! Ку-ку! – прокуковала она еще раз и, утешаясь моим изумлением, тут же с необычайным и завидным мне искусством прокаркала зловещим вороном, прочирикала задорным воробьем, прокичикала чайкой, пропела иволгой, прощebetала соловьем, процокотала сорокою. Затем она вдруг чудодейственно преобразила свой пленительный лик, и я, как в водах прозрачного потока, узрел самого себя, с высоко поднятыми бровями, с полуотверстыми устами, с выраженьем блаженнейшего изумления в каждой черте.

Последнее представление, впрочем, меня несколько смутило и заставило проворно сжать уста и принять на себя глубокомысленный вид.

– Ну-ну! Ты не сердись, Тимош! – сказала Настя. – Лучше ты глянь-ка сюда!

Она схватила меня за плечо и ловкой рукой перекинула, как тяжелый мешок с отрубями или чем подобным, на круглую прогалинку, где взорам моим представилось целое море спелой, алой земляники.

– А что? – спросила Настя: – а что?

Глухое рычанье выразило мои чувства: от силы их голос у меня пресекался.

– Ну, что ж ты? – вскрикнула Настя. – Обомлел? Ну, с тобой журавля не поймаешь! Принимайся, а то я все проглочу! Ты собирай в брыль,⁴ а я в лист, – кто больше наберет! Что в рот, то не считается!

В мгновение ока она отыскала широкий лопух, сорвала, сложила продолговатой мисочкой и присела к ягодам.

Я, с своей стороны, ревностно принялся за приятную эту работу.

В короткое время мы словно сдернули алую скатерть с травы. У Насти был полон лопух, у меня полбрыля свежего, ароматного лакомства.

– Ну, теперь угощаться! – сказала Настя.

И она столь проворно уничтожила свои ягоды, что я усомнился, не сыпнула ли она их одним махом за плечо, в кусты.

– Ах, еще бы! – проговорила она, с упоением облизываясь, прислоняясь к корню дуба и закрывая глаза. – Ах, еще бы!

Полагаю, евреям в пустыне не так сладка была манна

⁴ Брыль – соломенная, с широкими полями шляпа, какие с изрядным искусством плетут терновские жители. (Прим. автора.)

небесная, как мне, в то время отрочества, земляника, одна-коже без малейшего колебания, с радостной готовностью я протянул Насте свое сокровище, говоря:

– Вот!

Она открыла глаза, разинула рот и сделала вид, будто все хочет поглотить.

Но я только засмеялся и ближе поднес к ней брыль.

– Что тебя обижать! – сказала Настя. – Ешь сам!

– Я сам не хочу! – ответил я. – Я не стану есть.

– Не станешь?

– Не стану!

– И я не стану, – кто ж съест?

Земляника вдруг потеряла для меня всю свою цену и значение, и я замахнулся, чтобы пустить ею, как дробью, по ближайшим кустам.

– Ай-ай! – крикнула Настя, схватывая меня за руку. – Ах ты, завзятый какой!

Я робко, искоса, на нее глянул, но не заметил гнева, – напротив, ласковый, смеющийся взгляд и улыбку – и ободрился.

– Давай вместе есть – согласен?

Я был согласен.

Воспоминания эти не утратили нисколько своей живости: я как бы еще чувствую прохладу лесной кущи, чувствую свежий вкус душистой ягоды и вижу цветущую девушку перед собою; я даже помню золотой луч, проникавший тонкой иг-

лою между дубовыми ветвями и игравший на пышных, слегка припавших лесной паутиной, слегка спутанных бегом, косах, и кудрявившуюся шелковистую прядь, свившуюся в колечко за тонким прозрачным ушком.

– Спасибо! – вдруг сказала Настя и поцеловала меня.

Я, уже без приглашения, покорный сердечному влечению, с горячностью прижался к ее устам.

– Ишь, как клещ впился! – сказала Настя. – А признайся мне, кого ты больше всех любишь?

– Маму, – ответил я без запинки.

– А потом?

– Вас.

– Ах ты, замазура!

При этом она вдруг взъерошила мне волосы горой и быстро, так сказать, сыпнула на меня несколько поцелуев.

– Ну, а потом?

Я не смел произнести имени Софрония и смутился.

– Говори! Говори, кого?

Морда утешителя-Головастика предстала предо мною, но я понимал неудобство и этого признания.

– Отца, – ответил я.

Настя пристально и, как мне показалось, с недоверчивостью на меня поглядела.

– Смотри! Смотри! – сказала она. – Чтоб тебе на том свете горячей сковороды не лизать!⁵

⁵ (По терновским верованиям, лжец, в возмездие за свою ложь на земле, будет

Я вообще ко лжи не склонен; ложь мне несносна даже тогда, когда она употреблена наиневиннейшим образом, например когда говорится докучному смертному, что голова или зубы болят, дабы обрести желанное уединение, или когда ею устраняются наглые выпытыванья о чужих делах, но лукавствовать с особой, к которой стремится мое сердце, мне так же отвратительно, как положить себе трех скорпий в рот.

Но каково признаваться, когда знаешь: признание лишит тебя драгоценнейшей утехи, что день превратится в тьму, ликование – в стон!

Борьба моих чувствований, надо полагать, довольно выразилась на моей физиономии, ибо Настя, улыбаясь, сказала, – глаза мои были опущены в землю, но я по ее голосу слышал, что она улыбается;

– Сковорода еще за горами, и покаяться время есть. Ну, кайся!

Она взяла меня за подбородок и повернула к себе так, что когда я, в томительной нерешимости, поднял взоры, то я попал, так сказать, под прямые лучи ее темных прекраснейших глаз.

– Ну, кайся! – повторяла она: – ну, кайся! Ну, кого ж после мамы?

Я исполнился вдруг мужества и хотя тихо, но явственно

осужден лизать горячую сковороду в загробной жизни; для клеветника же там уготована не простая сковорода, но усаженная острыми шипами.)

ей ответил:

– Софрония.

И, ответив, замер, ожидая мгновенного затмения радующего меня солнца.

Но солнце продолжало сиять во всем своем блеске.

Я не смел этому верить; я думал: зрение твое помутилось от волнения чувств, и тебе представляется уже отлетевшая навсегда лучезарная приветливость и ласковость.

«Так ли я слышу? – думал я. – Точно ли ее голос по-прежнему мягок и точно ли слова ее такие».

– А! сковорода-то, видно, не свой брат! Отчего ж это ты не признавался сразу? Словно какую королевну любишь – в лесу и то боишься имя вымолвить! Отчего сразу не признался?

– Я думал, вы на меня рассердитесь, – ответил я, еще волнуясь, но уже чувствуя, что страшная пропасть перешагнута и что я становлюсь снова на твердую почву.

– Я рассержусь? Это за что же?

– Да ведь он...

– Ну, что ж он?

Она глядела мне в лицо, она улыбалась; с изумленьем и восхищеньем я видел, что враждебных чувств к Софронии у нее нет.

В приливе восторга я, вместо ответа на ее допытыванье, с жаром принялся за хвалебную песню Софронии. Певец юный, неискусный и пламенный, я надсаживался изо всей мочи; но, как теперь соображаю, выводил только нотки крик-

ливые и дикие. Я, помню, приводил ей как доказательства достоинств Софрония его прекрасное чтение псалтыря, его искусство в охоте, занимательность его разговоров, силу его мышц и т. п.

Настя слушала меня благосклонно, задавала некоторые вопросы, делала замечания, но чаще всего выражала свои сомнения.

– Неужто так уж хорошо рассказывает? – говорила она. – Да ведь и прежний дьячок-покойник хорошо читал – будто еще лучше читает? Вправду силач такой? Да тебе это, может, так только кажется!

Но выражаемые сомнения были такого свойства, что они ничуть не обдавали холодной водой моего пылу, ничуть не подрывали моего веселья, напротив, я только азартнее доказывал и чувствовал себя все бодрее и самоувереннее.

Но вдруг, к неопisanному моему огорчению и величайшей тревоге, Настя перестала улыбаться, умолкла, задумалась, и какое-то облако омрачило ее лицо.

Я, побеждая огорченье и тревогу, хотел продолжать, но облако становилось все темнее, темнее, и голос мой пресекся.

Тогда она как бы вдруг очнулась и сказала мне:

– Что ж так замолчал? Нахвалился досыта?

И она опять улыбнулась.

Но улыбка эта совсем не была похожа на прежнюю – не обрадовала меня, а повергла в пущее недоумение и беспо-

койство.

– Что ж ты онемел? – продолжала Настя. – Чего смотришь на меня как на оборотня?

Она сделала головой то движение, какое обыкновенно делают люди, желая отогнать неотвязного комара или докучную мысль.

– Ну, расскажи еще! Расскажи!

Но я уже утратил все свое красноречие и снова обрести его не мог.

– Вы, может, думаете, он очень сердитый... – проговорил я.

– Думаю, очень сердитый? – возразила Настя. – Почему ж мне это думать?

– Да вот он на святой, как делили яйца... только он это не потому...

Я запнулся окончательно. Я чувствовал, что объяснить смиренномудрием превращение поповой доли в яичницу невозможно.

Настя залилась пленительнейшим, звончайшим своим хохотом.

– Как это он начал месить ногами! – проговорила она. – Как это он...

И снова раскатился свежий, неудержимый хохот, к которому присоединился и мой немедленно.

Вдруг справа раздвинулись кусты. Мы оба встрепенулись, и смех наш мгновенно замер.

Перед нами стоял предмет нашего разговора, Софроний, с ружьем на плече, с трубкой в руках; из уст его еще вылетала струйка знакомого мне крепкого табачного дыма.

Едва я его увидал, у меня блеснула мысль: как посмотрит он на этот дружный хохот с Настею? как примет мое приятельское общение с членом неприятельского стана?

На лице его не выразалось ни малейшего неудовольствия, ни малейшей суровости: напротив, мне даже показалось, что угрюмость, в последнее время постоянно его омрачавшая, как бы несколько сгладилась.

Он поклонился Насте, как порядочные люди кланяются хорошей девушке – просто и скромно, а мне сказал:

– Здорово, Тимош.

– Мы тут ягоды рвали, – ответил я. – Сколько тут ягод!

– Что тут! – отвечал он. – Вот я вчера набрел на одно место, так там просто гибель их – негде ступить.

– Верно, в Волчьем Верху? – спросил я.

– Нет, туда, к Лысому Яру.

– Покажите!

– Хорошо. Я теперь в березняк иду, так мне все равно туда дорога лежит.

Я взглянул на Настю. Я несколько раз взглядывал на нее во время моего краткого разговора с Софронием и видел, что она все больше и больше, все ярче и ярче разгорается румянцем и что она слегка отвратила лицо свое в сторону. На поклон Софрония она ответила таким же поклоном.

– Пойдемте, – сказал я, или, точнее, пролепетал, обращаясь к ней.

Сердце у меня билось жестоко. Я готовился услышать горестное для меня: нет.

Настя обернулась на мои слова, посмотрела на меня, потом взглянула на Софрония.

Софроний, уже протянувший руку, чтобы раздвинуть кусты, услышав мое приглашение Насте, приостановился и глядел на нее.

Я как нельзя яснее прочитал в его взоре, что ему Настина компания а тягость не будет.

Настя была озадачена и ничего на мое приглашение не отвечала.

Тогда Софроний сказал:

– Это недалеко – всего, как говорится, рукой подать.

Настя вспыхнула еще ярче и кивнула мне головой.

– Пойдем? – спросил я, еще не доверяя столь несравненному благополучию.

– Пойдем, – ответила она.

– Вот этой дорожкой будет ближе, – сказал Софроний – сюда, налево! Не отставайте!

И он с удивительной ловкостью и проворством начал прочищать путь сквозь чашу высоких кустов, перепутанных и переплетенных разнородной ползучкой.⁶

⁶ Ползучка – растение, стелющееся по земле или вьющееся по деревьям. (Прим. автора.)

Я испытывал неописанную, какую-то особую, исполненную тревоги, радость. Я могу сравнить тогдашнее мое состояние с тем, когда человек, погрузившийся в свежие струи, увлечен бывает ими далее предела, дозволяемого благоразумием, но, преданный наслаждению настоящей минуты, не заботится о коварстве водной стихии, и, хотя у него мелькает время от времени мысль о поглощающих омутах, скрытых под зеркальной поверхностью, он презирает грозящую опасность и только повторяет:

– Фу! как хорошо!

И жадно плескается живящей его влагою.

Софроний, шествуя вперед, уничтожал на нашем пути все преграды, представляемые свившимися ветвями и ползучкою, с тою же легкостью, с какой борей сдувает легкие паутинки; Настя шла за Софронием. Но я за ними не следовал. В упоенье и смятенье чувств я бросался в сторону и, продираясь собственными силами между терний, сучьев и стволов, оставляя на них клочки одежд и даже собственной кожи, забегал вперед, а забежав, поджидал драгоценных спутников и с трепетом сердечным улавливал выраженья их лиц.

Вследствие неосторожного обращения с лесной растительностью, лицо мое уподобилось географической карте населеннейшего уголка земного шара, и когда мы все выбрались на прогалину, Настя, взглянув на меня, ахнула и засмеялась, а Софроний с улыбкой заметил:

– Из-за сласти не чуешь и напасти!

И затем, обращаясь ко мне, прибавил:

– Скажи мне спасибо: тут будет чем душу натешить.

Но великое, поистине необычайное обилие ягод на этот раз мало меня тронуло: я поглощен был иным.

Все мы начали собирать ягоды особняком, поодаль друг от друга.

«Заговорят ли они между собою? – думал я. – И если заговорят, то о чем будет этот разговор? Каким голосом закричала бы попадья, если бы застала нас? Глянул бы на нее Софроний попрежнему, или... или иначе как-нибудь? А если бы отец Еремей нас тут застал? По-всегдашнему бы он погладил бороду и усмехнулся? Как теперь будет встречаться Софроний с Настей? Поклонится он ей в церкви? Пойдем мы опять когда-нибудь все втроем за ягодами или это в первый и в последний раз?»

Поставляя себе эти вопросы, я, сначала жадно следивший за каждым движением Софрония и Насти, мало-помалу так углубился в размышление их, что очнулся только при звуке Настиного смеха.

Они разговаривают! Да, в этом нет сомнения. Я вижу это не только по движенью их уст, по тому, как они слушают друг друга и как друг на друга глядят, но я слышу звуки их голосов.

О чем разговор?

Я жадно напрягаю слух, но не могу уловить ни единого слова и остаюсь поражен тем, как незаметно между ними и

мною увеличилось расстояние. Вначале Софроний находился у меня по правую руку, а Настя по левую, и меня даже беспокоило, что каждый из них, как мне казалось, подвигается дальше в этих направлениях, а теперь оба они были прямо передо мною и рядом, как кумовья при крещении; я же оставался все на одном и том же месте, у широкого березового пня, где приковали меня мои размышления.

В другое время я, быть может, начал бы по этому поводу упражняться в глубокомыслии, но тогда я был слишком преисполнен удовольствия, а я не только в отрочестве, но даже теперь, в зрелых уже годах, если преисполняюсь удовольствием, то вместе с тем преисполняюсь и некоторым легкомыслием, не много рассуждаю и предаюсь ликованию с беззаботностью и необдуманностью молодой малиновки.

В данную минуту я пламенно желал слышать разговор Софрония и Насти, и потому первым моим движением было тотчас же кинуться к ним.

Оба они встретили мое приближение, как мне показалось, наиблагосклоннейшим образом, оба тотчас же предложили мне собранные ими ягоды.

С той поры я достаточно убедился, что если двое разговаривающих угощают подошедшего незваного третьего каким бы то ни было отборнейшим лакомством, но не разговором, то этому третьему самое лучшее сделать незаметное отступление и исчезнуть; но в те дни неиспытанного отрочества я этого еще не мог сообразить и потому, с совершеннейшим

спокойствием совести и ясностью духа, расположился между Софронием и Настею, и радостно волновавшие меня чувства выразились восклицанием:

– Теперь я всегда буду сюда за ягодами ходить!

– Ты думаешь, эти ягоды век будут? – сказала мне Настя. –

Они через неделю пройдут.

– Эта пройдут, другие поспеют, – заметил Софроний.

– И другие скоро пройдут, – ответила ему Настя. – Наступит зима, так все прощай!

– И зимой люди живут, – ответил Софроний.

Настя ничего на это не возразила, умолкла и призадумалась.

А меня охватила печаль, и я с тоской говорил себе: «Да, брат Тимош, недолго мы поликуем! Придет зима, и прощай все! Это Настя правду сказала! Опять сиди, томись у окна да гляди, как скачут воробьи! Если даже справят тебе одежину и можно тебе будет показать нос на мороз, то все-таки это не такая утеха, как теперь. Уж тогда не ходить тебе с Настею, не встречать тебе Софрония на прогулках!»

– Пора домой, – сказала Настя.

Все мы поднялись и несколько секунд постояли безмолвно и неподвижно.

– Пора домой, – повторила Настя.

Софроний поднял с травы ружье, закинул его на плечо и поправил шапку на голове.

– Прощайте, – сказал он Насте.

– Прощайте, – ответила Настя.

Снова секунды две безмолвие и неподвижность.

– Прощай, Тимош! – обратился ко мне Софроний с такою мягкостью в лице и голосе, какой я еще до той минуты в нем не видал и даже не подозревал, что в такой степени она быть у него может.

– Мы опять когда-нибудь пойдем, – пролепетал я. – Пойдете вы?

– Пойду, – ответил он.

Но, отвечая мне все с той же умиляющей меня мягкостью, он глядел не на меня, а на Настю.

Настя, которая тоже на него взглядывала, взяла меня за руку, что послужило знаком окончательного прощания.

Софроний скрылся за чашей деревьев, а мы повернули в другую сторону, по тропинке.

Но едва мы сделали несколько шагов, Настя остановилась, обернулась, назад, приподнялась на цыпочки и стала смотреть по тому, направлению, где скрылся Софроний.

«Что, он тоже обернулся и тоже смотрит нам вслед?» – подумал я.

– Не видать? – спросил я у Насти.

Настя вздрогнула, вспыхнула, стала на ноги и поглядела на меня пристальным, испытующим взором.

Вглядевшись в меня и убедясь, что я в невинности не уступаю луговой незабудке, она рассмеялась, как-то особенно пленительно сморщила свое свежее лицо и показала мне

кончик алого язычка; затем снова схватила меня за руку и быстро повлекла за собою вперед, по тропинке.

Я горел нетерпением услышать ее суждение о Софроний, но с какой стороны я, как говорится, ни заезжал, я не мог ее на это вызвать. Она мне даже не отвечала, а только вместо ответа взглядывала на меня тем взором, каким созерцают отдаленный неинтересный ландшафт, иногда улыбалась мне или схватывала меня за щеку перстами, как в прежние недавние веселые минуты, но в этих ласках не было уже во-все обычной шаловливости и беспечности.

Я уже тогда достаточно понимал женскую манеру беседовать, в трудные для них минуты, с людьми себе низшими или с теми, которых они за низших себе почитают. Я знал эту рассеянную ласковость, эти обманчивые проблески участия во взгляде и слове, этот взор, обращающийся на тебя, но тебя не видящий, а устремленный от тебя за тридевять земель в тридесятое царство. Все это я знал, ибо не раз бывал дома свидетелем беседы отца с матерью.

Сообразив все обстоятельства, я решил, что Настя боится, как бы ее домашние не проведали о встрече и разговоре е Софронием.

Тут предо мной замелькали представления будущего, одно другого безотраднее, и я с горестью почувствовал, сколь ненадежны и преходящи земные утехи и радости.

Сначала мы шли очень быстро, но конец пути овершили медленными шагами: я – в унынии, Настя – в задумчивости.

У выгона я приостановился.

– Что? – спросила Настя.

– Пришли, – ответил я: – к выгону пришли.

– Так что ж?

Я поглядел на нее с изумлением; на лице ее выразилось некоторое нетерпенье, и она повторила:

– Что ж такое?

– Да чтоб не увидали нас вместе, – проговорил я, запинаясь.

– А! это-то! – ответила она.

– Так я пойду через огороды, – начал было я.

Но она не выпустила моей руки и прервала меня словами:

– Вместе пойдем.

– Как вместе?

– Так, как вместе ходят – вот как теперь идем, рука с рукой. Чего ж ты упираешься, Тимош? Ведь ты у меня не краденый, и я у тебя не краденая – чего нам бояться?

Она говорила это спокойно, ровно и, видно было ясно, точно не боялась, но я, признаюсь, затрепетал. Меня вдруг, неожиданно, без всяких приготовлений, толкали в зияющую бездну!

Видя мой трепет, Настя наклонилась к моему лицу, поцеловала меня и повторила:

– Пойдем, Тимош.

Я, замирая, повиновался.

Все, благодарение всевышнему, ограничилось одними мо-

ими страхами; попово крылечко было пусто, и ни единое грозное око не видало нашего возвращения в паре, ни прощального поцелуя на границе попова огорода. Я благополучно достиг родительского крова.

Я застал дома одного отца. Увидав меня, он в тревоге привскочил с своего ветхого стула и воскликнул:

– Где ты так исцарапался? Где ты был? Ах, владыко-господи! местечка живого не осталось! Ах, царь небесный!

– Это я за ягодами ходил, – отвечал я успокоивающим тоном. – Сколько ягод в лесу! Хоть пригоршней собирай!

– Слава богу, слава богу, да вот уж очень ты исцарапался. Примочить бы тебе чем-нибудь – хоть холодной водой, что ли, а?

– Да это ничего, это не болит, – уверял я.

Но он все повторял:

– Примочить бы хоть холодной водой! Примочить бы... а?

– Где мама?

– Не знаю. Пошла, кажется, на деревню. Примочить бы, а?

Отцу моему свойственно было особого, смиреннейшего, но ужасного рода упорство. Он никогда не представлял вам своих доводов или желаний положительно, уверенно, он предлагал их в виде скромного предположения, в вопросительной форме, но вы целые дни, недели, иногда месяцы видели перед гобою эти кроткие круглые моргающие глаза, озабоченное, печальное сморщенное лицо, и дребезжащий, прерываемый робким покашливанием и тихими вздохами, го-

лос все твердил вам какое-нибудь «примочить бы, а?» Сделайте вы, не говорю уже резкое, а только заметно нетерпеливое движение, он испугается, замолчит, отойдет, но не предавайтесь иллюзии, не полагайте, что вы отвратили от себя эту тихую пытку: только что вы успокоились, только что расцвело улыбкой ваше искаженное сдерживаемым бешенством лицо, как он снова пред вами и снова вы слышите: «Примочить бы, а?»

Я, как любимый сын и беспомощный отрок, бывал главной его жертвою и горьким опытом убедился, что самое спасительное в таких испытаниях было, если только представлялась возможность, удовлетворить его наискорейшим образом.

Поэтому я сам подал ему орудие пытки, то есть ковш воды, и покорно предоставил его дрожащим, слабым, неловким рукам совершать примочки на моем образе и подобии божем.

К счастью моему, мать скоро воротилась.

– Вот горе-то! – воскликнул отец, едва она успела появиться на пороге.

Матери довольно известна была его привычка восклицать, отчаянно вздыхать, всплескивать руками, но я сидел на лавке обвитый, как Лазарь, мокрыми убррусами, а она страстно меня любила и в любви своей была крайне боязлива и мнительна – как бывают те, кои в ранних, цветущих годах неожиданно понесли тяжелые утраты.

– Что такое? – спросила она.

Голос ее был спокоен, только тише обыкновенного, что всегда у нее служило признаком сильного волнения.

Я мгновенно сорвал с себя все убрusy и крикнул:

– Ничего, я поцарапался, только не больно. Гляди!

Я подошел к окну и стал против свету.

Мать взглянула на меня и тотчас же успокоилась. Она только усмехнулась, покачала головой и сказала мне: – Хорош сынок! словно на терке был!

И, обращаясь к отцу, прибавила:

– Это ничего.

– Ну, слава богу, слава богу, – отвечал он: – а все бы лучше еще примочить, а? Он ведь напрасно примочки скинул, а?

Милостивая судьба избрала на этот раз нам в избавители запыхавшегося пономаря, который, вбежав, объявил отцу, что приехал из Малого Хуторца колесник Щука по жене упокойную отслужить, что выехал Щука из дому рано, желая поспеть к обедне, но еще раньше Щука напился, вследствие винных паров перемешал многочисленные проселочные свертки, объездил все окружные селенья и только теперь попал в Терны, что в настоящую минуту Щука сидит у отца Еремея, плачет о своем греховном пристрастии к хмельным напиткам, просит справить заупокойную, сулит всему причту двойную плату и, кроме того, по поросенку – у него опоросилась известная в околотке породистая свинья, – а отцу Еремею он даже предлагает одного из пары волов, которые

доставили его в Терны.

Пономарь быстро увел отца.

Как только мы остались вдвоем, я взобрался к матери на колени – после всех моих экскурсий и отлучек из дому мне было несказанной отрадой уместиться у нее на коленях, обнять ее и с ней разговаривать или даже просто безмолвствовать, соображая только что свершившееся, виденное, слышанное и испытанное. Итак, я взобрался к матери на колени и, приклоняя головой к ее груди, сказал:

– Я за ягодами ходил с Настею и с Софронием.

Я ожидал, что она при этом известии встрепетается, и я не ошибся.

– С кем? – спросила она, будто еще не доверяя своему слуху.

Я повторил, с кем, а затем подробно рассказал ей о встрече в лесу.

Я полагал, что сообщенные мною факты донельзя ее изумят, но она, казалось, была более встревожена, чем изумлена.

– Может, не узнают, – сказал я с тоскою. – Ты как думаешь, можно это, чтоб мы еще пошли и чтоб не узнали?

И я излил перед ней всю свою душу. Я поверил ей все свои опасения, упования, непреодолимое влечение мое к Софронии и Насте, их трогательную ко мне доброту, внимание, ласковость, попросил у нее совета, как избежать будущих грозящих бедствий, и предоставил ей разрешить заботив-

ший меня вопрос: не запрещает ли мне долг мой, как невинно угнетаемого и попираемого, водиться с Настею, единокровной дочерью угнетателей и попираателей?

Я никогда не мог забыть любящего, задумчивого, печального взора и усмешки, с которыми она меня слушала, и как затем в неискусных словах объясняла мне, что у повинных в жестокости родителей могут вырастать невинные, не причастные их жестокостям дети, с которых взыскивать за родительские деяния было бы несправедливо, и как успокоивала, что Настя славная девушка и расположения моего достойная.

Успокоенный относительно главного вопроса моей совести, я ободрился совершенно и выразил надежду на благополучный исход наших дружеских отношений с Софронием и Настею.

– Не узнают! – твердил я. – Не узнают! Правда, не узнают?
– Нет, нет, не узнают, – ответила мать.

Но, несмотря на успокоивающее отрицание грозящего бедствия, я понял, что ласкаю себя тщетными надеждами. Тон голоса матери был именно такой, каким она в трескучие морозы успокоивала меня насчет приближения весны. Когда я после тоскливо проведенного у тусклого окошечка дня обвивал ее шею руками и в нетерпеливом унынии спрашивал: «Скоро весна?», она так же отвечала мне: «Скоро, скоро. Ложись пока спать». – «Завтра весна?» – спрашивал я, сам будучи убежден, что вопрос мой праздный и приближе-

ния весны не ускоряющий. «Завтра, завтра», – отвечала она. «Может, завтра вдруг полая вода, и ласточки станут гнезда вить, солнце будет?» – продолжал я, без малейшего упования на разлитие полой воды, прилет ласточек и весенний блеск солнца. «Да, да, – отвечала она: – и полая вода побегит, и солнце засветит, и ласточки гнезда будут вить – только усни». И я со вздохом опускал голову на подушку и старался уснуть, говоря себе: «А ведь может случиться, что каким-нибудь чудом господним завтра все желанное сбудется. Каких чудес не бывало! Вот Иисус Навин останавливал же солнце; Моисей, как бежал от фараона, разделял море, чтоб ему дорогу дало – ах, если б я тоже мог творить какие хочу чудеса! А вдруг я могу? А вдруг я сотворю?»

Увлечшись лучом надежды, хотя и слабым, чуть-чуть мерцающим, что счастье Моисеево может послужить и мне, я заметил матери:

– А если и узнают, так, может, ничего не будет. Настя не боится. Она меня прямо через выгон за руку вела. «Ты меня не украл, я тебя не украла, чего ж нам бояться», – вот как Настя сказала!

Но, не успев еще договорить этих дышащих отвагою слов, я вспомнил себя, а вслед за тем виденного мной на ярмарке зайца, стрелявшего из пистолета: как я, в минуты величайшего, томительнейшего страха, являл, случалось, признаки завидной храбрости и как заяц, видя пред собою особу хозяина, прижимал уши и выстреливал из ужасного для него

орудия.

Мною мгновенно овладело уныние.

Так или иначе понимала моя мать Настину храбрость, она, вероятно считая излишним заранее огорчать простодушного отрока и бесполезным входить с ним в недоступные его разуму рассуждения, ничего не сказала, а только с нежностью меня поцеловала и посоветовала мне заняться какою-нибудь игрою.

Тут возвратился отец вместе с пономарем, оба крайне взволнованные недостойным поведением колесника Щуки.

Колесник Щука, отрезвившись в продолжение зауспокойной от хмелю, хотя и отдал беспрекословно условленную двойную плату, но от посулки своей не только отдал вола отцу Еремею, но и наградить причт поросятами нагло отрекся, восклицая с дерзкою ирониею: «Скажите еще, что я вам своих сыновей и дочерей посулил в дар!»

– И отец Еремей все это ему спустил! – вскрикнул отец, всплескивая руками. – Нас, горемычных, за всякую малость к ответу, а вот таких...

– Не спустил бы он, кабы не Софроний! – прервал, примаргивая левым глазом, пономарь.

– Что ж Софроний? – возразил отец. – Софрония ведь при этом и не было!

– Не было! Да Софроний за всем следит, как легавый нес, – значит, всякую лыку ставит в строку.

– Что ж, взаправду, Софроний за птица такая, что его и

перей опасаться обязаны? – обидчиво возразил отец.

– Птичка невелика, да ноготок востер, – перебил пономарь.

– Одначе, – воскликнул отец, – всеми законами поставлено уважение к духовному сану! Коли так будут поступать, так ведь это хуже жития содомского!

Подобные отцовские речи хотя терзали, но не изумляли меня, ибо я уже уразумел тогда, что он подобен трости, ветром колеблемой, и всегда находится во власти того или другого дуновения.

Мать моя тоже давно это знала.

– Нет, что ж это такое, коли уж Софроний станет нами повелевать! – жалобно восклицал отец. – Нет, что ж это такое... Чему ж ты посмеиваешься? Что тут веселого нашел?

– Тому я посмеиваюсь, – отвечал пономарь, – что вы больно шибко Софрония в повелители наши произвели! Или вы не слышали, что передовой воин редко голову на плечах снимает?

– Ты что-то знаешь? – спросил испуганно отец.

– Ничего я такого особенного не знаю, – отвечал пономарь тоном человека, которому именно известно «все особенное».

(Пономарем постоянно, как мячиком, играли два чувства: желание хвастнуть своими сведениями, прозорливостью и сообразительностью и страх попасться из-за неосторожного слова в беду. Почти всегда первое одерживало верх над по-

следним, но не вполне, а частью; пономарский язык не забалтывался до полной откровенности, до подробного объяснения, а только срывались с него многие намеки, по которым вы могли сообразить или не сообразить все дело, но которые всенепременно вас озабочивали.)

– Да скажи! – начал приставать отец. – Да скажи! Разве я тебя выдам, что ли? Да скажи!

– Какие вы, отец дьякон, право, чудные! Скажи да скажи! Знаете вы одну приметку?

– Какую приметку?

– А такую, что затейники-ребята недолго живут?

– Ну?

– Ну, примета эта справедливая.

– Да ты скажи мне толком! Что ж все только морочишь!

– Где ж я морочу!

– Да ты к чему это сказал: «затейники-ребята недолго живут»?

– А к тому, что такая примета есть. Вы спросите у любой бабки, – правда! скажет бабка.

– Да полно тебе! Прошу честью: скажи прямо!

– Что ж мне прямо говорить?

– Что знаешь!

– Что ж я хорошего знаю? Вот разве, что Нениле Еремевне жених находится.

– Откуда? Кто?

– Жених знатный. Такой, что лучше всякой саженой

лестницы, – на всякую высоту через него достанешь, – понимаете?

– А! – воскликнул отец.

– А коли, примерно сказать, вы взберетесь на высоту, а я останусь у вас под сапогами, так вам нечего даже и каблуком притопывать: вы только ноги передвигайте, и то голову мне притопчете. Так, что ли?

– Так, так, – отвечал отец. – Так, так!

– В то воскресенье женишка поглядим: пожалует на смотрины. Осанист, говорят, как князь.

Я много не разумел из этого разговора и старался вычитать на лице матери его добрый или худой смысл. Она прислушивалась внимательно ко всякому слову пономаря, и слова его заметно ее встревожили.

Глава шестая

Мои треволнения и Ненилин жених

Всю следующую неделю я провел в тяжелых волнениях, которые тем были несноснее, что я не мог их разделить ни с кем из близких сердцу: мать моя была очевидно поглощена своими какими-то, как казалось, печальнейшими и тревожнейшими мыслями и на все мои вздохи, вопросы и попытки завести разговоры отвечала единственно поцелуями, советом покататься на Головастике или побегать по двору и предложеньем вкусить от плодов земных или от домашнего печенья и варева.

А Настя и Софроний, казалось, совершенно забыли, существует ли на свете тот, кого они еще так недавно почтили своим вниманием и осчастливили ласками.

Это забвение со стороны Насти и Софрония было мне особенно чувствительно и исполнило меня горестным изумлением.

Я на все был готов, кроме этого их забвения. Я решил с неуклонным мужеством и твердостью переносить самые жесточайшие страдания и даже, упоенный моими восхищенными чувствами, не без некоторой отрады думал о мученичестве, услажденном тайными сношеньями с драгоценными мне союзниками, близким общением духовным, опасными с ними свиданьями и прочим тому подобным.

Но, увлекаемый воспоминаньями, я забегаю вперед... Постараюсь повествовать, не нарушая последовательного порядка ни в проявлении собственных чувствований, ни в ходе событий.

На следующее же утро после нашей прогулки в лесу я, исполненный некоего, так сказать, божественного вдохновения, нисходящего на смертных пред свершеньем великих дел, готовый на все подвиги мужества и самоотвержения, выбрал на выгоне у опушки леса удобный пункт, с которого мог наблюдать появление Насти и Софрония, и тут, замирая, притаился.

Я думал об одном: выразить им свои чувства и упиться выраженьем их чувств; что дальше наступит, я того себе не представлял и о том не заботился; я, подобно распаленному воину, стремился вперед с обнаженным мечом, не рассчитывая на победу, не страшась поражения, единственно увлекаемый безумием возбужденного духа.

Я полагаю, будет излишним описывать читателю муки моего ожидания.

Прошли многие, показавшиеся мне веками, до тошноты меня истомившие часы, а все не появлялись те, кого я жаждал узреть.

Пронзительнейшим образом вывизгивала попадья обвиненья в лежебочестве, страшное пожеланье «разродиться девятью ежами», намеренье свое загнать виновную туда, где «козам роги правят», а громкий, но кроткий голос работ-

ницы Лизаветы протяжно приводил доказательства усердия и ревности в работе; батрак Прохор запрягал, с свойственной ему меланхолическою медленностию и вздохами, лысую сивую кобылу в тележку с резным задком; юркий пономарь несколько раз прошмыгнул из стороны в сторону с какими-то контрабандными предметами под полой; отец мой обтесывал колышек во дворе, покашливал, приостанавливал тесанье и взывал: «о господи!», а затем снова слабой и неискусной рукой принимался тесать; раз пять благолепная Ненила, сойдя с своего крылечка, приближалась к запрягаемой тележке и, упершись белыми руками в пышные бока, наблюдала за медленными движеньями Прохора и задумчиво что-то пережевывала; солнце ярко сияло; немолчный гам и пенье поднимали птицы в лесу; трещали кузнечики, вились белые бабочки.

А я сидел на корточках и ждал!

Наконец показался Софроний.

Мне, как всякому не сильному мира сего, много раз в жизни доводилось упражняться в пассивных и потому несноснейших ожиданиях, а следственно, приходилось много раз испытывать то замиранье и трепет, какие охватывают унылого, истерзанного жгучим нетерпеньем ожидателя; невзирая на это, до сих пор последующие, иногда достаточно бурные и мятежные чувствования не могли изгладить у меня из памяти помянутых в невинном отрочестве испытанных волнений.

Софроний держал в руках плетушку. Я тотчас сообразил, что он направляется в ельник за грибами на обед. Я пустился во весь дух по бурьянам, не разбирая дороги, и, спотыкаясь, падая, цепляясь, вскрикивая от боли, но презирая ее, домчался до поворота в Волчий Верх и здесь остановился. Я принужден был ухватиться руками за дубовый ствол: сердце у меня билось до разрыва, и дыхание мне захватывало.

Я пересек дорогу Софронию, и мы неминуемо должны были теперь встретиться лицом к лицу.

Софроний не замедлил показаться. Он шел прямо на меня.

Я с жадностью начал в него вглядываться, стараясь по лицу угадать расположение его духа и волнующие его мысли.

Он обыкновенно ходил, слегка понурив голову и почти всегда напевая какую-нибудь думу или былинку мрачного содержания, но теперь он шел безмолвно, несколько закинув голову, задумчиво глядя вперед; в лице его не было ни угрюмости, ни печали, но нельзя тоже было сказать, что он весел или безмятежен.

Наблюдал ли когда благосклонный читатель первые проявления разыгрывающейся бури? Все смолкает; воцаряется глубокая тишь; нет солнца, но нет еще и тьмы; грома небесные изредка, издали, чуть слышно доносятся и не пугают, а скорее ласкают слух; проносящееся время от времени дуновенье ветерка как-то особенно освежительно и отраднo; но во всем оказывается чаянье надвигающейся грозы...

Теперь, сам уже достаточно знакомый с грозами и бурями душевными, я могу уподобить заигрывающую страсть наступающей ярости стихий, но в то неиспытанное страстями время я только вывел следующее бесхитростное заключение:

«Он, видно, задумался, как нам быть. И, верно, он тоже решил, что лучше уж все терпеть, да только не разлучаться нам».

Мысль эта исполнила меня какой-то особой отчаянной отвагой относительно грозящих бедствий, а вместе с тем несказанного нежностию к доблестному и драгоценному союзнику. Я ринулся к нему навстречу и радостно проговорил:

– Здравствуйте!

– Здорово, Тимош, – ответил он.

Голос его приветлив, но в нем слегка прорывается та недвольная нотка, какая звучит в голосе смертных, внезапно исторгнутых из объятий Морфея или пробужденных от поглотивших их мечтаний; лицо не омрачилось, но не сияет и восторгами; обращение приятельское, дружеское, но без порывов. Приветствуя меня, он наклоняется и срывает гриб.

Я чуть не зарыдал.

Я, жаждавший пред ним излить душу, уповавший на блаженство сочувствия, я мог только пролепетать:

– Вы за грибами?

– Как видишь.

– Это весело, за грибами ходить.

– Ну, оно, пожалуй, можно бы кое-что и повеселее на бе-

лом свету сыскать!

Молчанье. Он наклоняется снова и срывает еще гриб.

– Вы в ельник? – спрашиваю я, холодея.

– Да, в ельник; там скорей наберу, а тут и останавливаться не стоит. Ну, счастливо оставаться, Тимош!

И он быстро удаляется.

Я каменею на месте, уничтоженный.

«Что ж это? Вчерашняя блаженная прогулка сон или явь? Или он все забыл? Или что случилось? Не побежать ли мне за ним? Может, он бы иначе теперь заговорил со мной!»

Я сделал было шаг вперед, но вдруг меня поразила мысль, что эта погоня может ему показаться несносной, а так как мне даже в те бессмысленные годы всякое душевное близкое во имя нашей любви к нему было противно, то я отбросил это намерение с такой же поспешностью, с какой нежная рука отбрасывает от себя раскаленное железо.

Успокоясь несколько, я решил во что бы то ни стало увидеть Настю. С этой целью я обратно отправился к дому, вполчася как раненый и в мучительном сомнении повторяя себе:

«Какая-то она теперь будет?»

Жестокая судьба, вероятно, в то утро уже утомилась меня преследовать и, утонченная в жестокостях, позволила мне, что называется, передохнуть, потешила удачею.

Я приближался к выходу из лесу и, подавив, насколько возможно, свои горестные чувства, мысленно изыскивал

средства увидеть Настю и поговорить с ней. Вдруг я слышу стук колес по лесной дороге и узнаю легкое тарыхтенье поповой тележки с резным задком; меланхолическое посвистыванье Прохора и два-три укорительных возгласа, обращенных к сивой кобыле, явственно до меня долетающие, уничтожают последние мои на этот счет сомнения. Я подбегаю на безопасное расстояние к дороге и приседаю за куст.

Едва я успел присесть, как вышеозначенная тележка показывается, и я весь вздрагиваю от неожиданного удовольствия: в ней сидят оба, то есть отец Еремей и матушка Варвара!

Пути к Насте мне очищены!

Но надолго ли они поехали? И куда поехали?

Прохор был в новой белой свитке, и стан его перехватывался новым красным, как жар, поясом; на раменах отца Еремея приятно переливалась праздничная широкорукавная ряса из темной двуличневой материи; одежды же иерейши представляли больное для глаз и непостижимое для ума смешенье красок.

Очевидно, они отправились в гости или в город. Самое ближнее местопребывание иерейское отстояло от Тернов на двадцать верст, город – на сорок, следственно, они никак не могли возвратиться до вечера. До вечера я успею испытать Настю.

Я устремляюсь по выгону, быстро достигаю границы, отделяющей попов огород от нашего, и жадным взором обо-

зреваю все видимое пространство.

Ландшафт оживляла одна Ненила, сидевшая на первой ступеньке своего крылечка и луцившая тыквенные семечки.

Нетерпенье увидеть Настю столь меня обуяло, что я утрачиваю все свое обычное благоразумие и осмотрительность и действую отчаянно.

Я прямо подступаю к Нениле и, насколько волнение позволяет, умильно ее приветствую; затем, не дав ей времени опомниться, коварно восклицаю:

– Ах, сколько ягод в лесу! Просто чудеса!

– Где? – спрашивает Ненила, выплевывая шелуху, которую изумление удержало в ее алых устах.

Известие о ягодах заставило ее забыть дерзновенность моего к ней обращения.

– Везде, – отвечаю я с восторгом – притворным восторгом, ибо в ту минуту пропади все ягоды на земном шаре, я бы даже не ахнул. – Везде, по всему лесу! Так, куда ни глянешь, словно жар горит! И этикие крупные! Я таких крупных сроду еще и не видывал!

– А я вчера ходила-ходила и всего горсточек пять набрала. И она вздохнула.

– Да вы где ходили? Ходили вы к... к... к Трощинскому шляху?

Читатель! слова мои были исполнены коварства. О растительности близ Трощинского шляху я имел лишь смутное представление. Точно, я слышал от отца, что там, во времена

его молодости, удивительно родилась земляника, но сам там я отродясь не бывал.

Так сбивают нас страсти с прямого пути! Мгновение – и вы, сами того не заметив, уж в стороне, уж на какой-нибудь скользкой тропе, сбегаящей в пропасть!

– Нет, – отвечает Ненила, – к Трощинскому шляху не ходила. Куда ж это, даль такую! Там, говорят, волков целая страсть. Нет, к Трощинскому шляху не пойду.

И она снова легонько вздыхает и снова принимается лущить тыквенные семечки.

– Нет, – бормочу я, – нет, там волков не бывает. Как можно! Какие там волки! Нет... нет...

Я запинаюсь, заикаюсь; мне совестно глянуть в лицо доверчивой волоокой собеседницы.

– Как нет! Вон в Грайворонах так мужика съели. Он поехал за дровами, а они его и съели. Ох! как подумать, какие на белом свете страсти!

И вздыхает.

– Д-да, – отвечаю я.

– Такие страсти, что избави нас господи!

И снова вздох, еще глубже, а затем истребленье тыквенных семечек.

Я стою как на горячих угольях. Где Настя? Слышит ли наш разговор? Если слышит, неужели не выйдет?

– А то вот еще недавно один пан застрелился из ружья: хотел в зайца, да вместо зайца в свою грудь, в самое сердце!

Снова вздох и выплюнутое семечко.

– Где ж это?

– В Соколовке. И такое, сказывают, у этого пана тело белое – белое-пребелое! И жена его, сказывают, так по нем плачет! И мать тоже плачет; и дети плачут... Ох! беда!

И снова вздох, выплюнутое семечко и восклицание:

– Какие этого году семечки червивые! Что ни возьмешь в рот, то одна червоточина! Ох!

В это время к крылечку приближается работница Лизавета с охапкой хворосту.

– Лизавета, а Лизавета! что ж это с семечки-то все червивые?

– А что ж мне с ними делать? – отвечает Лизавета.

– Вот так-то всегда! Ох!

– Что ж всегда!

– Ох!

– Чего это вы охаете? Нечего вам совсем охать. Вам радоваться надо!

Ненила снова охает.

Лизавета скрывается за дверями, и я слышу, как в глубине иерейского жилища она говорит Насте:

– Сестрица ваша закручинилась: все охает сидит; пошли бы вы ее разговорили.

Несравненная Лизавета! я мысленно послал ей тысячу благословений за эти слова.

Немного погодя Настя вышла на крылечко и села возле

сестры.

Я ожидал, что она, увидав меня с Ненилою, изумится, но она, повидимому, нисколько не изумилась, с пленительнейшею приветливостию сказала мне:

– Здравствуй, Тимош!

И ласково погладила меня по головке.

«Она, видно, уж слышала, что я тут, – подумал я. – Ах, если б теперь Ненила куда-нибудь делась! Что бы Настя мне сказала? Какая она белая нынче! И изморенная какая!»

– Что ж не сядешь, Тимош? – сказала Настя. – Садись.

Я сел около них, ступенькой ниже. Ненила лущила семечки и охала. Настя некоторое время молчала. Я украдкой взглянул на нее; лицо ее было очень задумчиво.

Наконец она сказала:

– Ненила, чего ты все вздыхаешь?

– Да страшно! – ответила Ненила с таким вздохом, который мог бы с успехом свалить годовалого быка.

– Чего ж ты боишься?

– А как бить будет?

– Может, он бить не будет.

– А как будет?

Настя с минуту помолчала, потом сказала:

– Неизвестно, что будет, – чего ж загодя печалиться?

Но вслед за тем она сама тихонько вздохнула и слегка, чуть-чуть усмехнулась, как бы признавая, что такая философия хотя прекрасна и похвальна, но к делу неприменима.

– Кабы я знала, что он бить не будет, так я бы не печалилась, – сказала Ненила. – Ох!

Несколько минут длилось молчание.

– Хоть бы уж папенька с маменькой лисий салоп мне справили, все б мне легче было! – проговорила Ненила. – Справят они, Настя?

– Верно, справят.

– И чтоб атласом покрыть или гранитуром. И покрышку малиновую. К лисице малиновое очень идет. Правда?

– Правда.

– Ну, и чтоб тоже они мне шаль новую дали. Что ж, как я буду замужем без шали? Теперь всем в приданое шали дают. А маменька кричит: «Обойдется!» Уж это лучше совсем замуж не ходить, если шали не дадут! Мне только стыд один будет! Ох, господи, вот беда-то!

Она встала.

– Куда ты? – спросила Настя.

– Напиться. Уж какие эти семечки нынче червивые! Во рту даже горько стало! Ох!

Наконец она скрылась!

Сердце запрыгало у меня в груди, и туман застлал глаза.

Как она теперь взглянет? Что она теперь скажет?

Но она и не глядела и не говорила. Глаза ее были устремлены вдаль, и мыслями она витала где-то далеко-далеко. Слабый румянец проступал у нее в лице, понемногу разливался-разливался и вдруг вспыхивал яркой зарей, глаза на-

чинали лучиться, и вся она словно разгоралась; вслед за тем она бледнела и вся утихала.

«Что с нею? – думал я с тоскою. – И она все забыла?»

– Ты мне лучше грушовничку⁷ подай, – доносился изнутри жилища голос Ненилы.

Ненила могла каждую минуту появиться! Я не помнил себя.

– Помните, – прошептал я, задыхаясь от волнения, – помните, как вчера весело было? Там, в лесу...

Она поглядела на меня, как бы вопрошая, кто я такой и откуда взялся, но тотчас же все сообразила и ответила, улыбаясь:

– Ах ты, лакомка!

– Я не лакомка, – ответил я с отчаянием. – Я не про ягоды... а так было весело... Я бы все так гулял!

– Ишь, гулена! А кабы тебя за работу посадить? а?

Она, улыбаясь, слегка притронулась к моей щеке, как бы угрожая ущипнуть, но все это вдруг словно оборвалось – и улыбка, и слова, и ласка. Она побледнела, сложила руки на коленях, умолкла и снова принялась глядеть вдаль.

Между тем я уже слышал развалистую походку Ненилы.

– Пойдете опять... в воскресенье... туда... в лес... как вчера?.. – прошептал я, трепещущий.

Настя встрепенулась, как бы испуганно взглянула на меня и с живостию ответила:

⁷ Напиток, приготовляемый из груш, род кваса. (Прим. автора.)

– Не знаю.

– Пойдемте! – начал я молить ее, чуть не плача. – Пойдемте!

– Ну, хорошо, я пойду.

– Пойдете? Правда?

– Пойду, пойду, – проговорила она и вдруг встала, облилась вся алым румянцем и снова поместилась на ступеньке крылечка и задумалась.

– И грушовник у нас какой нынче, – сказала Немила, появляясь в дверях. – Совсем в нем смаку нет: пьешь, а все одно что мякинный настой! Ох!

Она тяжело опустилась на ступеньку крылечка, на прежнее место.

– Ох!

И громко, каким-то особенным образом икнула. Со стороны можно было подумать, что звук этот произведен звонкоголосой иволгой. И оказала:

– Это, видно, он меня поминает: так с засердцов и взяло! Ах, беда, беда! Будет он меня бить! Кабы он хоть не рябой был, все бы легче! А то как он еще рябой! Тогда просто хоть умирай ложись.

– С чего ты взяла, что он рябой? – сказала Настя. – Говорили: красавец!

– Что говорили! Завсегда невест обманывают. Вон Крестовоздвиженской Кадочке сказали, что красавец, а он рябой-прерябой, точно исклеванный, макушка лысая, как ко-

лено, и сам красный. И драчун. И на первый день ее откатал.
Ох!

– И что это вы все такое прибираете! – сказала Лизавета, появляясь с решетом в руках. – Это вы, Ненила Еремеевна, все с жиру!

– Погоди: пропадет у меня весь жир-то! – отвечала Ненила меланхолически. ~ Весь пропадет, как есть до последней капли!

– А может, вас разнесет, как грайворонскую попадью.

– Нет, уж прощай мое веселье! Пришла беда! Пропаду!
Ох!

Столь трагические слова странно звучали в устах Ненилы; в этот день она особенно поражала взоры яркостью ланит, крепостью тела и живостью аппетита: после тыквенных семечек и грушовника она вынесла себе ватрушку необычайных размеров, которая в ее руках быстро исчезала.

– Пойдемте-ка лучше стручки рвать к обеду, – сказала Лизавета.

– Кабы меня к Крестовоздвиженским маменька отпустила, так я бы там хоть на картах погадала.

– Что ж, вы попроситесь, – может, и отпустит. А теперь пойдемте покуда за стручками.

– Нешто вправду пойти?

– Пойдемте!

– Ну, пойдем.

Она встала со вздохом и развалистым шагом последовала

за проворною моею благодетельницею Лизаветою на огород. Сделав несколько шагов, она обернулась и крикнула:

– Настя, что ж ты не идешь?

– Я тут посижу, – отвечала Настя.

– Иди, вместе все веселее, – настаивала Ненила.

Настя было приподнялась, но тотчас же снова села на ступеньке и, казалось, забыла обо всем ее окружающем.

Тщетно я старался привлечь ее внимание робким покашливанием, вздохами, постукиваньем ногтями по ступеньке; я даже несколько раз умышленно ронял свою шапку так, что она падала прямо перед ее глазами, – все без успеха!

«Верно, что-нибудь случилось, только я этого не знаю, – думал я. – Но что же случилось?»

И, тоскуя, я терялся в недоумениях.

Незаметно подбюркнувший к нам пономарь спугнул Настину задумчивость и спутал нити моих унылых соображений.

– Здравствуйте, Настасья Еремеевна, – начал он тараторить. – Как вы в своем драгоценном здравии? Поздравляю вас, Настасья Еремеевна, с радостью. Желаю и вам того же, что сестрице вашей господь посылает. Вот, говорят, нету правды на земле, – правда есть! Господь всегда взыщет благочестивых своею милостию. Вот и взыскал он ваших родителей, Настасья Еремеевна, и взыскал... Вы, Настасья Еремеевна, и сестрица ваша, все одно как цветы прекрасные: всякое око вами пленяется. Куда ни пойду, ни поеду, все

слышу: красавицы дочери у отца Еремея, красавицы! Да, думаю, уж насчет красоты будьте спокойны: Соломонова царица перед их красотой спрячется! Исходи весь свет, так не сыщешь таких, как наша Настасья Еремеевна да Ненила Еремеевна! Уж это и враг их, и то должен им приписать! Как глянешь на Настасью Еремеевну да на Ненилу Еремеевну, так потом на других и глядеть нельзя: просто глаза сами закрываются! Вот недавно посмотрел я на Крестовоздвиженских, на дочек отца Петра, так ведь даже я ахнул: совсем в них никаких прелестей нету! Ну, известно, и женихов таких нету! Наш женишок в воскресенье пожалует, Настасья Еремеевна?

– Да, в воскресенье, – ответила Настя.

– Сокол, говорят, настоящий как есть сокол! И денег у него, говорят, целая казна! Просто куры не клюют!

– Да, говорят, богатый, – отвечала Настя.

– Дай господи вашим родителям за их благочестие и милосердие! – сказал лицемерный пономарь, набожно поднял свои лукавые глаза к небу и осенил себя крестным знаменем.

– Не засиделась у нас Ненила Еремеевна, – продолжал он, – не засиделась! Не успели мы и наглядеться на нее! Так-то и вы, Настасья Еремеевна, того и гляди, что покинете нас сиротами.

Вероятно, до слуха Ненилы долетели звуки пономарева голоса, ибо она появилась у огородной калитки и вытянула

свою белоснежную выю, как бы прислушиваясь.

– Ах! – вскрикнул пономарь, увидав ее. – Ах! Ненила Еремеевна! Улетите вы от нас, наша пташечка!

И без того меланхолически настроенная приближением роковых смотрин, Ненила при сердечном восклицании пономаря совсем растрогалась. Удушаемая волнением, а также свежим горохом, наполнявшим ей рот, она пробормотала:

– Улечу! улечу!

И заплакала, прикрывши благолепный лик свой рукавом.

– Что ж это вы, Ненила Еремеевна! – воскликнул пономарь. – Это нам слезы проливать, а вам только радоваться! У кого такие женихи-то? Все от зависти почахнут! Это уж вам господь за вашу добродетель посылает такого вельможу! Красавец, богач, умница! А родня-то какова! Доступ к первым представителям господа нашего Иисуса Христа! Нет уж, Ненила Еремеевна! не гневите всевышнего слезами! Вы возликуйте! Сподобил вас творец небесный великого благополучия. Все теперь ахают на ваше благополучие. Отца Петра дочки так просто места себе не находят; так все руки к небу и: «Счастливая Ненила Еремеевна, счастливая! Какому это святому она молилась, которому мученику поклонялась?»

Ненила мало-помалу опускала рукав, которым, в порыве чувствительности, она было прикрыла свой образ; слова красноречивого пономаря, видимо, действовали на нее приятно. Привлекаемая этими словами, как неким лакомым блюдом, она все ближе и ближе подступала, пока, наконец, с

умильной усмешкой заняла место на ступеньке крылечка.

– Поздравляю, Ненила Еремеевна, поздравляю! – говорил пономарь. – И дай вам господь многие лета!

Настя встала и, прежде чем я успел опомниться, скрылась во внутренность жилища.

Ни единого прощального слова! ни единого взгляда!

Пономарь продолжал рассыпаться мелким бесом перед простодушною Немилою. Я оставил их и с сокрушенным сердцем отправился домой.

Мать тотчас же заметила мое расстройство.

– Что ты, Тимош? – спросила она.

Я выразил ей грусть мою по поводу внезапного и для меня непонятого Настина и Софрониева ко мне охлаждения.

– Вчера как любили, – говорил я с сокрушением, – а нынче совсем нет! А нынче совсем нет!

Мать рассмеялась, по лицо ее все-таки сохраняло столь печальное выражение, что я не оскорбился этим, по-моему, совсем неуместным смехом, а только еще более встревожился.

– Так вчера очень любили? – сказала она, привлекая меня к себе. – Ах ты, мой мальчишечка милый!

Она крепко меня поцеловала и прибавила:

– Ты не горюй, они тебя любят.

– Ничего со мной не говорят, – возразил я жалобно.

– Будут говорить, а куда ты поиграй поди, побегай. Хочешь, может, есть?

Но не до игры мне было, и не до беганья, и не до еды.

Я, по наружности спокойный и тихий, от природы нрава упорного и страстного (могу даже сказать, необузданного, дикого), а вместе с тем предприимчивого, постоянного и терпеливого: раз поставив себе какую-либо цель, я уже не ведаю поворота, я стремлюсь, пока или достигну, или паду с расшибенным лбом, то есть перед непреодолимым препятствием. Прибавлю, что я вовсе не человеконенавистник, отнюдь не чуждаюсь обмена мыслей и раздела чувств, а к душевным разговорам с людьми мне близкими даже имею великое пристрастие. Эти мои свойства, взятые совокупно, могли бы служить источником несноснейших неприятностей для окружающих, если бы провидение не наделило меня, в своей бесконечной благодати, некоторою совестливостию и гордостью. Помянутые два качества (последнее, по уверению одного моего приятеля, даже переходило в смертный грех) помешали мне быть навязчивым и обременительным для кого бы то ни было. Правда, увлекаемый пылкими чувствованиями, я, случалось, изливал их пред близкими мне особами, не замечая их томления и не подозревая их душевного ропота, — то был грех невольный, который, уповаю, все они мне отпустят, — но раз поняв, что обращения мои тягостны, я, каковы бы ни были мои обстоятельства, избегал этого, как бездонных пропастей или сожигающих громов небесных. Я, даже в порывах отчаяния, предпочитал удалиться в глубину лесов или в ущелья гор, а за невозможностию исполнить это,

в свой душный уголок, и там, никем не зримый, проливал слезы, сетовал на судьбу, размышлял о жизни и смерти, искал выхода из горестного состояния. Таким образом, я мало-помалу привык обходиться собственными моими силами и в выставлении своих душевных язв для получения с дружбы или любви носильной копейки укорить себя не могу.

Но смертному свойственны иллюзии, колебания, отступления, хотя бы легкие, от принятых правил и некоего рода коварство с самим собою, и поэтому самые благонамереннейшие нередко впадают в противоречия и грешат.

Я не ограничился первыми попытками: я еще несколько раз подкарауливал Настю и Софрония. Я уже решил не подходить к ним, не заговаривать с ними, но только попадаться им издали: а вдруг они попрежнему приветливо на меня глянут, и покличут, и опять вознесут меня и осчастливят?

Но ничего подобного не случилось. Софрония я несколько раз подкарауливал, но кроме «здорово, Тимош!» ничего от него не слышал; иногда он совсем меня не замечал. Что же касается Насти, то не только ее пленительного лица, даже края ее одежд я не видал. Она как бы замуровалась в отчем жилище.

«Все кончено! – думал я, – все кончено!»

И вдруг, среди мрачных туч уныния, мелькал золотой луч надежды:

«Однако она обещалась снова идти в лес! однако она прямо оказала: „пойду!“» Или это было сказано, дабы пощадить

мои чувства?

Так, недоумевая и тоскуя, проводил я дни.

Между тем роковое для Ненилы событие приближалось.

В жилище отца Еремея с четверга, с «легкого дня», действительно занялись приуготовлениями к принятию жениха. встряхивали покрывала, занавесы постельные, обметали потолки, стены, терли полы, мели двор, усыпали песком у крылечка. С рассвета до заката надсаживалась иерейша, извергая проклятия, приказы, понукания, угрозы; с рассвета до заката чело многотерпеливой работницы Лизаветы было увлажнено каплями пота, а ланиты пылали, подобно зареву пожара. Батрак Прохор, даже в виду грядущего торжественного события, не изменил своей системе действия, то есть при первых громах Македонской он исчезал и снова появлялся не прежде прекращения яростных криков, оправдывая свое исчезновение и отсутствие внезапною тошнотою или схватками в животе и с великими вздохами приписывая недуги карательной силе иерейшиних проклятий.

Пономарь поминутно забегал к нам для сообщения волнующих известий.

– Навезли из города заморских вин, – говорил он раз, примаргивая, – этикие всё бутылки с печатями! навезли всяких дорогих миндалей! Теленка велели заколоть! Накупили атласов, серег! И преотличную покрывку на пуховики и шаль! Целую тысячу, надо полагать, ухнули! Он знает, где надо рублем брякнуть! Ну, отец дякон! Теперь мы только дер-

жись! Одно слово: архиерейский племянничек! А мы что такое? Прах земли! Плюнет на нас и разотрет нас, и ничего от нас не останется!

– Воля божия, воля божия! – отвечал жалобно отец.

Провидение столь щедро одарило меня духом любознательности, что я, даже во времена самых сильных испытаний, никогда не утрачивал этого дара. Хотя поглощенный тревогами и недоумениями, пожираемый тоскою, я, едва коснулось моего слуха шепотливое восклицание пономаря: архиерейский племянничек! наострил уши. Начав внимательно прислушиваться к разговору, я скоро возымел достаточное представление о значении и могуществе вышеупомянутой особы.

Не довольствуясь этим, я пожелал собрать более определенные биографические сведения. Обратясь к отцу, я начал самыми простыми, общепринятыми вопросами: откуда родом, живы ли родители, кто они такие и где жительствоуют.

Но когда я произнес:

– А мать у архиерейского племянника жива? Где она?

Пономарь подпрыгнул, как бы уколотый острою иглою, и в смятении на меня прикрикнул:

– Шт!

Мой отец, тоже в величайшем смятении, повторил:

– Шт! Шт!

Я поглядел на них, крайне изумленный.

– Никогда ты про это и не поминай! – сказал пономарь

внушительно.

– Не поминай, Тимош, не поминай! – твердил отец.

– А про отца можно поминать? Где его...

– Шт! Шт! – завопили они в вящем смятении.

И пономарь затопал на меня ногами, а отец замахал руками:

– Не поминать и про...

– Ни-ни-ни-ни! – затопал пономарь.

– Ни-ни-ни-ни! – замахал отец.

– Коли ты хочешь жив быть, – прошептал пономарь, – так ты сейчас навеки забудь про все про это! Ах, какой пострел, прости господи! Где ты это такого духу набрался, чтобы обо всем расспрашивать, а? Дети не должны никогда ни о чем расспрашивать, это грех! За это тебя в ад, в горячую смолу! Что глядишь-то? Ты лучше заруби это себе на носу! Коли ты еще осмелишься спрашивать, так тебя так прохворостят, что небу станет жарко!

– Он уже не будет! – лепетал отец, – он уж никогда не будет!

Непочтительное обращение пономаря сильно меня оскорбило. Пока шло о посулках небесных кар, я еще терпел, пока когда он употребил глагол «прохворостить», что явно относилось к земной исправительной системе, я не выдержал и возразил ему с некоторою горячностью:

– Я не знал, что нельзя об этом спрашивать, я не виноват, а коли меня... меня...

От негодования я запнулся.

– Ах ты, грубиян! – воскликнул пономарь. – Ну, отец дьякон! наживете вы с ним беды! Чего вы его не учите? Ну, подведет он вас!

– Еще младенец, еще невинный, – лепетал отец.

– Так что ж что невинный? Тут-то и сечь, а потом уж поздно будет, как с версту вырастет!

– Да он уж не будет, он уж не будет никогда, – лепетал отец.

Его слабая, нерешительная защита только в вящее меня приводила раздражение.

– Коли меня тронет кто, – сказал я, – так я повешусь, как бобриковская Одарка!

(Недели за две до освобождения крестьян крестьянка из села Бобрикова, Одарка, уже упоенная надеждами на свободу, была наказана розгами; впав в отчаяние, она сказала мужу: «Ничего, видно, не будет! Вы все, коли охота, живите, а я больше не хочу!» и в ту же ночь повесилась в саду, перед господским балконом, на перекладине, устроенной для гимнастических упражнений юного господского поколения.)

В эту минуту я, точно, не задумался бы последовать примеру злополучной женщины.

– Творец милосердный! Тимош! – прошептал пораженный отец.

– Ну! Сахар Медович, признаюсь! – проговорил пономарь. – Эх, отец дьякон! Я бы его поучил на вашем месте...

Я...

Вошла моя мать и тихо сказала:

– Учите своих, коли у вас будут, а чужими не печальтесь!

Я не узнавал ее: из кроткой, безответной, запуганной жены она мгновенно превратилась в волчицу.

– Да ведь вас же под беду подведет! – начал было несколько озадаченный пономарь.

– Мы и будем терпеть! – ответила она тем же тихим, слегка дрожащим голосом.

И, взяв меня за руку, увела за собою под сень груши, где, прижав меня к груди и осыпав тихими поцелуями, оказала:

– Не бойся, не бойся! никто тебя не тронет!

Я же, прильнув к ней, залился слезами.

– Не бойся, не бойся! – повторяла она.

Но не страхом были исторгнуты мои рыдания, а пламенною признательностию. Прижимаясь к родной груди, слыша быстрое биенье ее сердца, чувствуя ее поцелуи, я думал:

«Не всеми я покинут! не всеми я пренебрежен! Есть еще у меня верный, надежный друг! И всегда он будет верен и надежен! И если все нас покинут, все забудут, мы станем жить одни и будем друг дружку всегда любить, всегда защищать! Уж мы никогда, никогда друг дружку не разлюбим!»

Так, мысленно причитая, я провел около получаса в слезах, чем значительно облегчил бременившее меня горе.

Острота моих душевных мук поутихла, чувства мои успокоились; пригретый ласково блистающим солнцем, впи-

вая тонкий аромат трав, слегка убаюканный тихим шелестом грушевой сени и мягким прикосновением материнской руки, нежно поглаживающей мою ланиту, я лежал на бархатной мураве в полузабытьи. Я как бы плавал в некоем океане тихой грусти, и состояние это было даже не без приятности. Мало-помалу к представлениям действительности начали примешиваться сказочные призраки. Рядом с нашим тесным садиком предо мной носились виденья лесов тридесятого царства; милые мне образы сливались с образами любимых моих сказочных деятелей и деятельниц, а образы, душе моей претящие, воплощали собою крупных и мелких чародеев, чудовищ, предателей и тому подобные богопротивные лица.

Но скоро архиерейский племянник начал меня душить кошмаром. То являлся он мне в чародейском сиянии, то в виде семиглавого дракона, то представляя собою нечто бесформенное, неопределенное, но ужасное.

Наконец это стало для меня столь несносно, что я решил-ся стряхнуть с себя призрачные мечтания и стать снова на почву действительности.

– Мама! – сказал я, слегка приподнимая голову с ее колен.

– Что, Тимош?

– Где его мать и отец? какие они?

– Чьи, Тимош?

– Архиерейского племянника.

Я поднялся, сел и устремил на нее внимательные взоры.

– Не знаю, – отвечала она. – Ну, теперь ты бы поиграл, а? Мне надо на реку сходить. Или хочешь, со мной пойдем?

– Пойдем.

– Ты понеси мне валец. Да там теперь надо еще вершу поглядеть: может, рыба наловилась. Ты и поглядишь.

– Погляжу.

Но это предложение, в другое бы время меня возвеселившее, теперь было мной принято без восторгов. Валец я донес смиренно и безмолвно, как постриженный в монашество; двух щук нашел в верше – и это меня не потрясло. Пока мать занималась полосканьем белья в речных струях, я сидел поодаль на берегу и, уставя очи в зеркальную поверхность, снова предавался мятежным чувствам и размышлениям.

Отчего даже она, нежно любящая, горячо защищающая меня мать, не поведала мне о таинственных родителях архиерейского племянника? Что ей о них было небезызвестно, в этом я нимало не сомневался: отец и пономарь, пришедшие в столь великий ужас при моем невинном биографическом вопросе, очевидно имели причины утрашаться, следовательно, нечто знали, а раз, как отец знал, знала и мать, ибо он ей поверял все свои огорчения, страхи, недоумения, рассуждения, все, что слышал, видел, чувствовал и замышлял.

К чему и почто эта таинственность? Какие ужасы соединены с его рождением? Если бы даже он родился от огненного змия или, подобно языческой богине,⁸ вышел из пены мор-

⁸ Первым понятием о помянутой богине я обязан пономарю; пристрастный к

ской, зачем таить чудо, когда прочие чудеса предоставлены на удивление, изучение и утешение рода человеческого?

Но тщетно ломал я себе голову: удовлетворительного ответа обрести я не смог.

Утомленный этой бесплодной умственной работой, я, наконец, покорился судьбе своей.

«Дождусь воскресенья, придет – тогда увижу и, может, что отгадаю! – утешал я себя. – Тогда и Настя, сказала, пойдет в лес, и, может... Мало ли что может быть? Все!»

Много уже лет прошло с той поры, любезный читатель! Приподнята мною, вместе с прочими таинственными завесами, и завеса, облекавшая мраком архиерейских племянников... но возвращаюсь к моему повествованию.

В субботу жилище отца Еремея пробудилось ранее полуночного петеля, тотчас же исполнилось суеты и шума и в продолжение целого дня вплоть до солнечного заката уподоблялось пылающему горну. В этот день эхо терновских ущелий повторяло отрывки столь жестоких проклятий, что перо мое отказывается выразить их здесь на бумаге.

Прохор, попытавшийся было, по своему обыкновению, ускользнуть, был настигнут и возвращен, причем получил несколько изрядных толчков в крепкую свою выю. Тщетно он вопиял, плачась на схватки в желудке и на тошноту и моля

живописи, он приобрел за поминование усопших родственников одного управляющего господским именем ее изображение в момент ее появления из лона вод, и нам его показывал. (Прим. автора.)

дозволить ему хотя минутное уединение, угрожая тем, что не отвечает за последствия своих недугов, которые будто бы могли его умертвить на месте, проливая слезы и катаясь по земле с воплями: «ой, пропаду! ой, лопну!»

– Лопнешь? Лопайся тут! – отвечала Македонская. – Лиззета! Веди его в погреб! Где от погреба ключ?

– Мне на солнышке скорей полегчает! – стонет Прохор. – Уж немножечко отпускает...

– Сиди в погребу, пока отпустит!

– Да как же, матушка? Да я ведь там, может, умру без покаяния! Не погубите моей грешной души! Ох-ох-ох!

– Реви себе! реви, хоть окочурься!

– Так лучше уж я тут помру, на ваших глазах! Ох-ох-ох!

Он колеблющимся шагом со стонами добирается до середины двора и начинает готовить костер для паленья поросят.

– А что, отпустило? – кричит ему время от времени папья.

– Что ж, сироту легко обидеть! – отвечает уклончиво Прохор. – Сироту защитить некому!

Кроме того, призваны были на помощь две юные жены из селения. Безмолвно, проворно и сосредоточенно они выплескивали горячие помои из окон, носили из колодца свежую воду, щипали пернатых, потрошили четвероногих, перемывали масло, сбивали яичные желтки. Пономарь, подбострастно предложивший свои услуги, юлил как бес, прон-

зая ножом трепещущих рыб, закалывая кротких ягнят и визгливых поросят, разливая настойки по графинчикам и все это приправляя умильными улыбками, сладкими взглядами и льстивыми речами.

Около полудня был позван иерейшею мой отец, и скоро я увидел его, робко начиняющего колбасу у попова крыльца, под присмотром взыскательной хозяйки.

Несколько времени спустя попадья прокричала моей матери, занимавшейся у себя во дворе по хозяйству:

– Катерина Ивановна! поди-ка нам помоги. И мальчишку возьми с собою – он тут тоже пригодится.

Отказ был немислим. Мать и я тотчас же покорились велению могущественной соседки.

Каюсь, любезный читатель: тут я в первый раз в жизни (и в последний, спешу добавить) не потяготился моим рабским положением и зависимостью от сильнейших мира сего.

У меня тотчас же зароились планы и надежды, меня тотчас же охватило нетерпенье и тревога, что, конечно, я постарался скрыть под чинным и смиренным видом, и вступил в попов двор, скромно потупив глаза в землю и держась за полу материнского передника.

Тайные мои желания увенчались успехом. Призванный на роль вестовщика и рассыльного, я с восхищением принял ее, ибо она позволяла проникать во внутренность иерейского жилища, где я мог увидеть Настю и где я ее, точно, не замедлил увидеть.

Создатель мой! до чего она переменялась! Особенно поразили меня ее глаза: они стали такие большие, большие, такие темные и глядели теперь совсем иначе, чем прежде.

Она сидела у окна, шила какие-то приданные уборы ярких цветов и безмолвно внимала речам Ненилы, перекладывавшей медовые соты из деревянного блюда в фаянсовое, украшенное изображением синих рыб.

– Здравствуйте! – сказал я, приостанавливаясь на пути своем в кухню.

– Чего тебе? – спросила Ненила, облизывая мед с ложки. Настя подняла голову.

– Здравствуй, Тимош! – сказала. – Ну, подойди же поближе!

Я подошел, и она поцеловала меня.

– Ты ко мне пришел? – спросила Настя.

– Нас кликнули, – ответил я, – мы помогаем...

– А!

– Вы, – начал я, заикаясь, – вы...

– Что я?

– Все шьете?

– Да, шью. Видишь, сколько еще шитья!

Она указала на ткани, лежавшие на высоком иерейском ложе.

– И погулять некогда вам! – заметил я со вздохом.

– Некогда. Ты-то гулена какой! все бы тебе гулять!

– Нет, я теперь не гуляю!

– Отчего?

– Скучно... скучно...

Я хотел яснее выразить свою мысль, но сдержался.

– Скучно?

– Ой, Настя! – сказала вдруг Ненила, – я и забыла тебе сказать, что я вчера ввечеру видела!

– Что? Где? – с живостию спросила Настя и вся вспыхнула, как алая заря.

– А вот как вчера маменька послала меня за тобой. Я тебя кликала-кликала, потом утомилась и иду, молчу, и дохожу до самого садового заборчика, знаешь, где калиновые кусты. И слышу где-то близко, точно кто шепчется. «Кто тут?» спрашиваю. Ничего! только лист шелестит. Мне смерть как жутко стало. Ну, думаю, видно, мне в этом году помереть! Стала я и стою; хочу прочитать «Да воскреснет бог», и никак не вспомню. И вдруг вижу, с правой стороны, из кустов, выходит наш дьячок и пошел к низу, туда, на село. Чего это он под нашим забором стоял да шептал?

Настя прилежно шила; склоненное к работе лицо ее все ярче и ярче горело. Непала повторила:

– Чего это он под нашим забором стоял да шептал, а?

– Не знаю, – проговорила Настя.

Я тоже задавал себе вопрос, зачем Софронию было стоять там и что он мог шептать? Я хорошо знал место, о котором говорила Ненила, ибо сам не раз там сиживал в минуты грусти или опасности. Калиновые кусты эти были очень высоки,

густы, перевиты хмелем и образовывали нечто вроде келейки, коей кровлею служила зеленая движущаяся сеть листьев. Что же мог там делать или шептать Софроний?

– Я было хотела маменьке сказать, – продолжала Ненила, – да она была сердита, а папенька что-то писал и махнул рукой: не мешай! А потом я заснула. Надо это им сказать. Этот дьячок такой разбойник! Может, он какие слова колдовские знает да старается наш сад испортить, чтобы никакой плод не произрастал. Уж я не знаю, чего папенька смотрит на этого дьячка! Такой разбойник, такой...

– Он не разбойник! – перебил я с негодованием. – Он совсем не разбойник!

Настя молчала! Тщетно я взывал к ней взорами – она не поднимала лица от шитья и молчала!

Пылкое мое вмешательство и дерзновенность этого вмешательства несколько удивили Ненилу. Она помолчала и поглядела на меня.

– Ах ты, дурак этакий! – начала она. – Ты как же это смеешь...

Тут раздался грозно призывающий меня голос иерейши.

– Иди, кличут, – сказала мне Настя.

Эти слова пронзили меня как острое копьё:

«Не заступилась! Меня гонит! Ну, значит, все теперь пропало!»

Я быстро двинулся к двери, но вдруг почувствовал, что ее руки удерживают меня, обвиваются около моей шеи, а горя-

чие, как огонь, слегка трепещущие уста прижимаются к моей щеке и напечатлевают на ней пламенный поцелуй!

От столь неожиданного благополучия я на несколько секунд утратил дар соображения и не знал, что делать.

Она шепнула мне:

– Теперь иди.

Я полетел под иерейские грома и выдержал их с невозможной для меня в другое время ясностью духа.

После вышеописанного несравненного поцелуя я уже не имел случая приблизиться к Насте, ни заговорить с нею. Она все шила, или кроила, или примеривала на Ненилу уборы. Только время от времени, как бы задыхаясь от спертого воздуха, отравленного запахом кипящего масла, вареных и жареных яств, она облакачивалась на подоконнику и, подперши голову руками, несколько мгновений глядела в темнеющий садик и жадно вдыхала свежую вечернюю прохладу.

Между тем иерейские покои все более и более запруживались жареными, вареными и печеными яствами. Не только гнулись под ними столы, скамьи, полки и подоконницы, но и по полу тянулись гирлянды блюд, горшков и мисок, так что проходить сделалось небезопасно. А в кухонной печи все еще пылало, все еще шипели масла на сковородках, поднимались облака мучной пыли, рубились какие-то мяса, толклись какие-то пахучие снадобья.

Ожидаемый жених начал рисоваться в моем воображении каким-то всепожирающим Молохом.

Как живо все это запечатлелось в моей памяти! Я как бы снова стою у притолоки кухонной двери, ожидая приказов Македонской, и вижу, как месит тесто Лизавета и высоко взмахивает обнаженными руками; как Прохор, воспользовавшись кратким отсутствием хозяйки, воровским образом урывает кусок ватрушки или жареного мяса и быстро, как пилюлю, его проглатывает; как отец беспрестанно то просыпает что-нибудь, то проливает, пугается, шепчет: «Ах, творец милосердный!» и лихорадочно все подметает и подтирает пол своей рясы, дабы скрыть от ока Македонской произведенные неловкости; я вижу призванных поселянок, все безмолвных, сосредоточенных подобно жрицам; вижу бледное лицо моей матери, низко склоненное над какими-то пирогами; умильную физиономию суетящегося пономаря; я как будто слышу его тоненький голос и заискивающее хихиканье; я вижу полосу света, падающую из двери боковой светлицы, где сидит Настя за шитьем; вижу часть освещенной стены в этой светлице, а на стене тень Ненилы в неестественных размерах. В моих ушах как бы еще раздаются критические замечания иерейши:

– Лизавета! яйца забыла положить? Пропasti нет на вас, на дур! Отец дьякон, что это вы всё под ноги попадаетесь! Прохор! ах ты, гладыш этакой! не повернется!

Все я помню, все вижу – помню даже, как появилась на пороге черная кошка и как разбежались ее блестящие жадные глаза при виде напеченных и наваренных сокровищ.

Было уже часов около десяти вечера, когда попадья крикнула мне:

– Беги к бабушке, попроси у него бумажки. Скорей! Скажи: дайте матушке бумажки на печенье.

Я тотчас же повиновался и, быстро, но искусно пробравшись между блюдами, горшками и мисками, поспешил к отцу Еремею.

Иерейское жилище разделялось на две половины сквозными сенями; с одной стороны находились кухня и два жилых покоя, тесных, жарких и душных, где мы все вращались в описываемый вечер; с другой – два покоя несколько посветлее и попросторнее, куда я был отряжен к отцу Еремею за бумажками на печенье. Первые покои преисполнялись перинами, пуховиками, подушками, яркими кроватными занавесями, всевозможною кухонною, погребною и столовою посудой, и обоняние поражалось здесь запахом всех существующих съестных припасов и свежеприготовленных яств.

Когда я, перескочив через сени и осторожно отворив двери, робко остановился перед лицом отца Еремея, я почувствовал, что тут царит сравнительно значительная прохлада и сильно отдает восковыми свечами и росным ладаном.

Отец Еремей сидел за столом и что-то писал; ярко пылавшая свеча как нельзя лучше освещала его наклоненное над письмом лицо и медленно движущуюся белую, пухлую, с ямками руку.

Отец Еремей так был углублен в свое занятие, что не за-

метил моего появления.

Я быстрым взглядом окинул светлицу.

Она украшалась тяжелыми столиками красного дерева, таким же диваном и стульями, налоем, ликами святых угодников, изображениями высоких духовных особ с сложенными на благословение перстами, картинами библейского содержания. В переднем углу теплилась большая лампада пред грозным образом бога-отца, пускающего причудливыми зигзагами алую молнию из клуба белых облаков.

Отец Еремей продолжал водить пером, с видимым тщанием отделявая каждую букву; время от времени он как будто усмехался.

При этой усмешке благообразное лицо его делалось столь ужасным, что смертельный хлад пробежал по моим членам; не то чтобы оно принимало гневное или яростное выражение – нет, но оно все тогда трепетало каким-то особым, трусливым, предательским наслаждением, гнусность которого невозможно выразить словами.

Мне словно кто в уши прокричал слово, вырвавшееся когда-то у Софрония:

– Иуда!

Я стоял, как бы прикованный к месту, не смея подать голоса.

Вдруг он положил перо, откинулся на стуле, погладил свою шелковистую бороду и тихонько-тихонько захихикал.

Вероятно, я сделал какое-нибудь выдавшее меня движе-

ние, ибо он быстро обернулся в мою сторону, прикрыл рукавом рясы свои письмена и тревожно проговорил:

– Кто тут? что тебе надо?

– Матушка прислала, – пролепетал я в ответ, – пожалуйста бумажек на печенье.

– А! хорошо, хорошо... Погоди, я поищу...

Под видом исканья он, искусно вертя исписанный им лист, вместе с прочими чистыми, лежавшими тут же на столе, тщательно сложил его, спрятал в шкатулку и, щелкнув замком, встал, говоря:

– Нет, тут вся чистая, – жаль такую на печенье!

Я хотел удалиться.

– Постой, постой! Куда ты так летишь? – остановил он меня. – Я вот еще тут поищу. Иди за мной.

Он взял свечу и отворил двери в другую светлицу.

Эта светлица служила, по всем видимостям, кладовою. Она вся была изувешана одеждами, уставлена многими сундуками красного, голубого и зеленого цвета, окованными жестью и железом; все пространство между этими крупными предметами было завалено предметами мелкими: целый хаос туго набитых мешочков, кулечков, мотков беленых и суровых нитей, белой и цветной пряжи, горстей льна и замашек, пестрых поясов терновского изделия, полотна в небольших сверточках и в связках, бараньих шкурок, и прочего, и прочего, и прочего возвышался в иных местах почти в рост человеческий. Все это были, как, вероятно, читатель сам

угадывает, смиренные приношения сочетавающейся браком, крестьящей, болящей и отходящей в мир лучший паствы.

– Подержи-ка свечу, – сказал отец Еремей. – Повыше подними.

Я исполнил приказанное, а он пробрался к полке в углу и взял с нее несколько пожелтелых, криво исписанных листов, пересмотрел их и затем подал мне:

– Вот тебе и бумажка на печенье! Погоди, погоди! Чего ты так кидаешься? Ты чего боишься?

– Нет, – отвечал я, – нет...

– Погляди-ка на меня!

Я поглядел, но, вероятно, взгляд мой изменил мне. Он стал всматриваться в меня благими, но испытующими глазами и спросил:

– Как тебя звать?

– Тимош, – отвечал я.

– А сколько тебе лет, Тимофей?

– Скоро девять.

– Что ж, ты молишься богу? Почитаешь родителей?

Я отвечал утвердительно.

– А заповеди господни твердо знаешь?

– Нет еще, не очень твердо...

– Заучи, заучи и помни! Кто помнит заповеди господни, того господь возлюбит и удостоит царствия небесного.

Он погладил меня по голове. От прикосновения его мягкой, пуховой руки меня подрал мороз по коже.

– Господь видит все наши тайные дела, все помышленья, – все господу известно!

Затем он, все мягко дотрогиваясь правой рукой до моей головы, развил мне, какие награды ожидают праведника не только в будущей, но и в этой жизни и какие мучения уготованы грешникам; в заключение, подведя меня к стене и подняв свечу, он осветил мне картину страшного суда.

– Гляди, гляди, – повторял он пастырским благим голосом, поднося свечу то к той, то к другой грешной фигуре, извивающейся от мучений среди красных языков пламени, между тем как проворные черненькие бесы суетливо подсыпали где надо свежих угольев и усердно раздували палящий, но не спяляющий огонь.

– Видишь? – спросил отец Еремей.

– Вижу, – отвечал я.

Он поставил свечу на стол и оказал:

– Ну, неси матушке бумагу.

Я кинулся в двери, как сорвавшийся с виселицы, но, перебежав сени, остановился и отер капли холодного пота па челе.

Что такое он писал? Куда? кому? Как это проникнуть?

Вдруг я почувствовал мягкое прикосновение пухлой руки, за минуту перед тем гладившей мои волосы. Эта рука тихо опустилась на мое плечо, и пастырский голос спросил:

– Чего ж ты здесь стоишь?

Он так неслышно ко мне подкрался, что я вскрикнул.

– Чего ж ты испугался? – продолжал он.

Я что-то пробормотал о неожиданности его приближения, о темноте сеней, о трудности нащупать дверную щеколду.

– Сотвори крестное знамение и прочитай молитву.

Он отворил двери, пропустил меня и вслед за мною вошел сам.

– Что ж бумага? – встретила нас попадья. – Пропasti на вас на всех нет! Тут хоть разрывайся на часточки, так...

– Вот бумага, вот бумага, – прервал отец Еремей.

Она вырвала у меня листы, причем сильно пострадали мои два пальца.

– А что, много еще дела? – спросил отец Еремей.

Он стоял против пламени очага, шелковистая борода упала ему на грудь мягчайшими волнами, и лик его сиял благодатью.

– Тебе выслепило, что ли? – ответила необузданная супруга.

– Отчего ж ты не позвала еще кого-нибудь на подмогу?

– Какого дьявола я еще позову?

– Отчего ты не позвала Софрония? Пошли за ним.

При столь неожиданном предложении даже уста попадьи остались сомкнутыми.

У меня страшно замерло сердце. Все присутствующие как бы окаменели.

– Пошли за ним, – повторил отец Еремей.

– Да ты умом тронулся, что ли? – воскликнула попадья. –

Этакого разбойника кликать! Мало он еще сраму нам наделал? Я бы его, мошенника...

– Варвара! – прервал отец Еремей кротко и торжественно: – Варвара! остановись...

– Что? что?

– Остановись, Варвара! Господь повелел нам прощать врагам нашим и творить добро ненавидящим нас! Я не желаю мстить Софронию, я не питаю на него злобы, я...

– Так это спускать такой собаке все его каверзы? Ну, признаюсь! Этак...

– Я смиряюсь, – продолжал отец Еремей. – Пусть судит нас господь. Оба мы предстанем пред лицо его, и тогда разберется, кто из нас прав, кто виноват! Он, царь небесный, рассудит нас!

Попадья не решилась более противоречить и только облегчила свою душу тем, что трижды гневно плюнула.

Лицемер пономарь протяжно вздохнул во всеуслышание.

– Поди-ка, Тимофей, за Софронием, – обратился ко мне отец Еремей. – Ведь вы с ним приятели, а?

При этом он поглядел на мою мать.

Мать моя не поднимала глаз и, казалось, была погружена в свое занятие.

Пономарь опять протяжно вздохнул во всеуслышание, и как в первом вздохе ясно выражалось умиление христианской добродетелью отца Еремея, так во втором ясно выразилось сокрушение моим дурным выбором.

– Он еще младенец! – пролепетал мой отец, – еще ничего не смыслит! Где ж ему еще смыслить? Он еще ничего...

Отец Еремей покрыл его дребезжащее лепетанье своим густым, кротким голосом:

– Поди, Тимофей, позови сюда Софрония. Скажи: батюшка просит вас, придите пособить в работе.

Я отправился.

Читатель поймет, что я отправился не без волнения.

Волнение эго было столь сильно, что, невзирая на мое великое нетерпенье, я не имел сил бежать, а вынужден был сойти с крылечка колеблющимися стопами и приостановиться, дабы перевести дух и сколько-нибудь успокоиться.

Ночь была тихая, жаркая, темная; все в природе не то что уснуло, а как бы притаилось: чуялось, что все кругом живет, трепещет жизнью, но вместе с этим ни единого живого звука не долетало до слуха; небо было прозрачно, но какого-то мглистого цвета, и в этой мгле, как точки матового золота, светились мириады звезд.

– Тимош! – прошептал чей-то голос. – Тимош!

Я вздрогнул и обернулся в ту сторону как ужаленный.

Настя высунулась по самый пояс из освещенного окна и сделала мне знак к ней подойти.

Я как теперь вижу на этом освещенном фоне ее темную фигуру, гибкую, крепкую, стройную, трепещущую нетерпением и тревогою.

Я подошел к окну. Настя схватила меня за шею и притя-

нула к самому своему палящему, но бледному лицу.

– Ты куда? – прошептала она. – Не ходи... не зови...

– Что ж мне сказать? Что делать? – спросил я.

Она, не выпуская меня из рук, безмолвствовала, как бы колеблясь, как бы не зная, на что решиться. Я чувствовал, как она вся горела и трепетала и как стучало ее сердце.

Окинув взглядом внутренность светлицы, я увидел, что дверь в кухню приперта и даже приставлена столиком; скроенные ткани, начатое шитье рассыпаны по полу, а Ненила, облокотясь на стол и положив голову на руки, сладко спит; раздавалось по всей светлице ее тихое, мерное сопение, несколько напоминавшее отдаленное жужжание пчелы над майской розой.

– Что ж мне делать? – повторил я. – Воротиться мне?

– Нет, лучше иди! – прошептала Настя. – Иди... и скажи, чтобы не приходил сюда... чтоб отговорился... Слышишь?

– Я скажу: не ходите, отговоритесь; не ходите, Настя не велела вам ходить.

– Да, да! Беги скорее! Скорее!

Она выпустила меня из рук.

Я побежал.

Но отбежав несколько шагов, я остановился и обернулся; издали ее темная, гибкая, крепкая фигура еще отчетливее вырезывалась на освещенном фоне и еще сильнее вся дышала нетерпением и тревогою. У меня как бы снова раздался в ушах ее страстный, задыхающийся шепот:

– Беги! Скорее! скорее!

И я снова бросился бежать.

«Что-то будет! – думал я, несясь во всю прыть. – Что-то будет!»

И мне представлялся отец Еремей, как он сидит за столом, тщательно выводит буквы своей белой пухлой рукой и тихо посмеивается; и как он затем кладет перо, откидывается на стуле и хихикает.

От этого представления у меня застывала кровь. Я инстинктивно чувствовал, что эти белые пухлые руки без милосердия, тихо, мягко задушат того, кого они схватят.

Но, невзирая на все страхи, во мне играло веселье: Настя доверилась мне; Настя, значит, не «разлюбила» меня! Отчего она не хочет, чтобы Софроний пришел? Она боится? Чего боится?.. А что Софроний скажет?

Окошко его светилось. Я подбежал к нему и постучался.

Я мог видеть, как быстро Софроний поднялся с места и как он кинулся к дверям.

Он распахнул их, остановился на пороге, но не окликал, а только наклонялся вперед, как бы вглядываясь в темноту, как бы ожидая кого-то увидеть.

Я проговорил:

– Это я!

– Ты, Тимош! Откуда так поздно? Ну, иди в хату.

Я вошел за ним и начал:

– Меня послал за вами батюшка... велел вам сказать: про-

сит батюшка, чтобы пришли пособили в работе.

Софроний показался мне несколько взволнованным; при этих моих словах он заметно переменялся в лице, но спросил меня спокойным голосом:

– В какой работе пособить?

И стал набивать трубку.

– Там столы в светлицу надо переносить, и ризы чистили – опять их прибить надо... Батюшка нынче ввечеру все что-то писал... и как писал, так все сам с собою смеялся... и как я вошел, так он дрогнул и спрятал, что писал... большой лист...

Я распростер руки и показал размер листа. Я чувствовал, что слова мои бледны и передают только внешность, а не сущность вещей.

– Ну? – спросил Софроний.

– Я не знаю, что он писал, только он все смеялся: напишет и засмеется... Я испугался... Он послал меня за вами... Матушка не хотела, стала браниться, а он сказал: господь велит прощать врагам нашим... и что злобы на вас не имеет... и что господь вас с ним рассудит на том свете... и велел мне за вами сходить...

Софроний стоял, слегка наклонясь надо мною, глядел на меня, курил трубку и слушал попрежнему очень внимательно, но, повидимому, спокойно; только ноздри у него слегка шевелились, да чуть-чуть вздрагивал ус; да еще мне казалось, что он все больше и больше бледнеет.

– А Настя велела вам...

Как бы не желая слышать этого имени, он быстро опустил мне руку на плечо и сказал явственно, отчетливо, но с некоторою торопливостью и страстию:

– Скажи батюшке, что у дьячка Софрония есть своя спешная работа. Иди!

Он повернул меня за плечо к выходу и отворил предо мной двери.

– И Настя велела...

– Иди! Скажи: своя спешная работа у дьячка есть, – он дьячком поставлен, а наймитом не договаривался! Скажи: наймитом не договаривался! Иди!

Спокойствие, видимо, его покидало, и страсть овладевала им. Сказав мне последнее «иди!», он выпрямился и пустил из трубки целый столб дыму.

Опасаясь, что при имени Насти он снова повернет меня за плечо, я искусно перевернул фразу:

– Вам не велела туда ходить Настя, сказала...

Тут речь моя прервалась, и я только охнул, ибо мои детские кости очутились как бы в железных тисках.

Трубка вылетела из уст Софрония, как живая дикая птица, и со стуком скрылась где-то в углу; он сжимал меня своими мощными дланями, глаза его сверкали подобно раскаленным угольям, и он повторял глухим голосом:

– Не велела туда ходить? Не велела туда ходить?

– Не велела! – проговорил я, задыхаясь в его руках. – Я

шел, а она высунулась из окна, говорит: «Скажи, чтоб не ходил сюда... Что я не велела...»

Он вдруг поднял меня на руки и вынес из хаты.

Тогда это поразило меня удивлением, но теперь я понимаю, что это было одно из тех необдуманных движений, которыми часто отличаются люди при душевных потрясениях. Я впоследствии не раз видал, как в такие минуты люди разрывали на себе одежды, падали в слезах на грудь равнодушного свидетеля их горя или радости, прижимали с нежностью или целовали неодушевленные предметы, и прочее, и прочее.

Вероятно, свежий воздух подействовал на него как некий спирт: он глубоко вздохнул и спустил меня на землю.

– Я скажу, что вы не придете? – проговорил я.

– Скажи: не приду. И скажи: спасибо...

– Кому спасибо?

Говоря «скажу», я подразумевал: скажу отцу Еремею, и потому «спасибо» меня несколько изумило. Но он, казалось, забыл про отца Еремея.

– Скажи ей: спасибо, и скажи: не приду.

Я побежал обратно.

Но, пробежав половину дороги, был снова схвачен в другие, несравненно нежнейшие, но цепкие руки.

– Что? – прошептала Настя.

– Сказал: не приду, и велел сказать: спасибо!

– Что? расскажи еще раз!

Я повторил.

Она говорила теперь как будто спокойнее, но я чувствовал, что она горит и трепещет пуще прежнего.

– Иди, там ждут... Послушай! ты никому не скажешь, что я тебя послала... никому, Тимош?

– Никому! Никому!

Через несколько секунд я стоял пред лицом отца Еремея.

На звук отворяемой двери все головы обернулись, а когда я вошел и притворил ее за собою, все глаза вопросительно устремились на меня.

– Где ж он? – крикнула Македонская раздражительно. – Дома, что ль, нету?

– Дома...

Но она прервала меня.

Дома! Так что ж он, раком, что ль, ходит?

– Он сказал, у него своя спешная работа есть, так не придет...

От язумления, от негодования Македонская чуть не выронила из рук миски со сметаной. Она, повидимому, хотела разразиться проклятьями, но только заикнулась и осталась посреди кухни, грозная, но безгласная и немая.

С минуту длилось общее безмолвие, нарушенное только двумя тихими восклицаниями отвращения и ужаса, вылетевшими из лукавых уст лицемерного пономаря.

Я только мельком взглянул на присутствующих. Мне показалось, что на лицах Прохора, поселянок и Лизаветы вы-

ражается затаенное удовольствие; лицо моей матери было в тени и низко наклонено над приготавливаемыми пирогами, так что я не мог его рассмотреть, а отец мой как-то мгновенно постарел на сто лет, сторбился, сжался, свернулся и в этом виде робко старался исчезнуть за пономарем, который, на-против того, как будто еще подросток и раздался в ширину.

Но на все эти лица я, как уже сказано, взглянул только мельком. Когда же я решился поднять глаза на отца Еремея, то уж не мог от него их отвести; он привлекал меня, как, я слышал, привлекает бедную птичку разинутая пасть грему-чей змеи.

Отец Еремей сохранил обычную свою пастырскую кро-тость и благодать; только мне показалось, что когда он погла-живал бороду, белая пухлая рука его двигалась несколько конвульсивно.

Он проговорил мягким, певучим голосом:

– Коли у него своя спешная работа есть, так делать нечего, надо без него обойтись.

– Своя работа спешная! – произнесла попадья, задыха-ясь. – Да я бы...

Отец Еремей поднял руку и остановил ее с христианской строгостью:

– Жена! не осуждай, да не осуждена будешь!

Жена гневно плюнула, но умолкла.

– У всякого свои нужды, – продолжал отец Еремей, – а из того следует, и свои работы. Но если бы ближний наш,

по жестокосердию своему, и желал обидеть нас, то с кротким сердцем, без роптания да покоримся. Помните, что заповедал господь наш: *ударяющему тебя в ланиту подставь и другую!*

Глава седьмая

Смотрины и рукобитье

С субботы на воскресенье я всю ночь не спал, а только тревожно забывался. При первом звуке утреннего благовеста я спрыгнул с своего ложа и, не теряя времени на обычные при этом потягиванья, зевки и охи, поспешно принялся умываться, причесываться и одеваться.

Все это совершалось мною без всякой чинности и всякой солидности, ибо я был в крайне возбужденном состоянии духа. Я метался по светлице как угорелый котенок, с гребнем в руках высовывался из окна, полунагой подбегал к дверям, и прочее тому подобное.

Солнце еще не всходило, но заря – золотисто-розовая бесподобная заря, какую я видал только на родине, уже занялась; на тихой развесистой груше чуть-чуть трепетали листочки; в саду начинали перепархивать пташки; яблони, вишеник, калиновые кусты, цветы и травы – все было увлажнено росой и все блестело и сверкало, как бы осыпанное огнистыми искрами. Поповский огромных размеров оранжевый петух с темными брыжами вокруг горла, напоминающими надменных испанских грандов, с мохнатыми ногами, великолепнейшим гребнем и пламенными глазами, громко хлопал крепкими крыльями и гордо возвещал наступление дня; наш, далеко уступающий соседу в красоте, размерах и за-

доре, отвечал несравненно смиреннее; им, на разные тоны и голоса, вторили сельские собратья; приваженные Прохором голуби начинали ворковать на крыше иерейского амбара; с села тянулись по всем направлениям прихожане к церкви; из трубы иерейского жилища уже выпыхивал дым, и когда ветерок повевал с той стороны, то, вместе с сладостными ароматами летнего рассветающего утра, доносились запахи жареных кур и уток.

«Еще жарят! – думал я. – Еще! Ужели он все это поглотит? Ужели?»

Я старался представить себе «его» размеры, образ, но тщетно: мне только представлялась какая-то темная, бездонная, зияющая бездна, или, лучше сказать, пасть.

Невзирая на отроческую невинность и неопытность в делах и явлениях житейских, я очень хорошо понимал, что поглоти помянутая пасть все ужасающее количество наготовленной снеди, это будет явление необычайное, но не опасное, поразит нас изумлением, перейдет в потомство как легенда, и только. Но пасть эта, по всем видимостям, принадлежала твари сильной, могущественной, и эта тварь могла сокрушить кого-нибудь, мне дорогого и близкого.

«Приехал он? или еще не приезжал?» – думал я.

«Его» ждали к обеду.

Наконец, гладко причесанный, но с сильно биющим сердцем, я вышел из дому и торопливыми шагами направился к церкви.

Проходя, я тщательно заглянул во все углы попова двора: никаких признаков приезжего гостя не было.

«Лошади бы тут стояли! – подумал я. – Значит, еще не приезжал!»

Церковь уже была полна народу; на ступеньке церковного крылечка сидела молодая женщина-поселянка и колыхала на коленях грудного ребенка; несколько поодаль от нее съежилась старушка и, охая, кашляя и приговаривая: «Господи! помилуй нас, грешных!», рассуждала о том, как теперь все вздорожало: и хлеб, и одежда, и поминовение по усопшим душам.

– Прежде, бывало, дашь копеечку, и помянут! – говорила она с грустью. – И хорошо как помянут! Славный священник отец Петр был! Бывало, что ни дашь, за все благодарен. И жалостливый какой! Бывало, как под хмельком, так и поплачет вместе с бедным человеком. Я, помню, раз прошу его помянуть Игната, да стало мне так горько, и заплакала я, а он мне: «Эх! говорит, вот так-то! живи-живи, да и умри!» Да с этим словом как зальется слезами! Славный был, добрый – царство ему небесное! Этот не такой. Нынче вот последние три копейки отдала – бог с ним! только бы помянул!

– А вы на что ж три ему давали? Ведь уж положено ему копейку за поминанье, ну и не давали бы больше, – отвечала ей молодая женщина.

– Да как же не дать! Коли не дашь, так и не помянет. Я уж его знаю!

– Помянет! – сказала молодая женщина тем успокоивающим тоном, каким молодые говорят со старыми, беспомощными, впадающими в детство людьми, с которыми рассуждать считают излишним. – Помянет!

– Ты меня не утешай словами! – возразила старушка: – я его знаю! Он и помянет, да так, что все одно как и не поминал: пробурчит что-то, – и не разберешь, что! Или другое совсем имя скажет. Прошлый раз, слышу, поминает за место Игната – Ипата. И дьякон вышел – тоже Ипата! А у нас в селе отроду и не бывало никакого Ипата. Подхожу под благословенье и говорю ему: «Что ж, говорю, батюшка, такое, так и так, помянули вы за место Игната – Ипата?» – «Какой, говорит, Игнат? какой Ипат?» – «Забыли, говорю, батюшка, как мой Игнат, бывало, и медку вам, и вощинок, и всего?» – «Я, говорит, за всякое приношенье благодарен, а пуще всего блюду ваши души». – «Что ж, говорю, чем наши души перед вами провинились? Не по своей, говорю, охоте мы обеднели! Кабы, говорю, прежние времена, прежние недостатки!» – «Всякому, говорит, по заслуге: кто больше заслужил, тому и спасенья больше». – «А как же, говорю, батюшка, больше заслужить тому, кто при старости да при сиротстве? Недоедаешь, недопиваешь, несешь последнее...» – «Кто, говорит, больше заслужит, тому и спасенья больше, а кто не заслужит, тому меньше!» А сам как святой: поднял это глаза кверху и пальцы этак троечкой сложил – благословляет меня! «Батюшка! – со слезами его прошу, руку ему це-

люю, так и прижимаюсь, – батюшка! смилуйте вы на мою бедность горькую, помяните его хорошенько!» – «Кто, говорит, больше заслужит, тому...» Ах, господи! господи! И где он такой каменный уродился! Даже оторопь берет! И это он, как святой, – никогда слова сердитого не скажет, виду косоного не подаст, – все благословляет!

– Ну, что ж делать! – сказала молодая женщина. – Авось бог и так ваше поминанье услышит!

– Ах, дитячко! – отвечала старушка с горестью. – Хорошо тебе говорить! Ты куда ни глянешь – все еще кругом тебя живет и цветом цветет, – вот и мальчишечку на руках тешишь, – а у меня-то ведь уж никого на свете не осталось. Только и моего, что вот пойду да помяну: как словно легче станет – словно повидалась. Уж ничего для этого я и не жаляю: лучше соли не куплю, да помяну. И все мне нынче летом напасти да напасти! Цыпляток коршун потаскал, – где мне углядеть! Всего-навсего пять осталось, а в четверг попадья приходит... «А что, говорит, у тебя славные цыплята!» – «Какие, говорю, славные! Как щепки». – «Нет, говорит, ничего, хороши!» И берет цыпленка. «Мы, говорит, дочку просватали!» Не посмела я отговариваться – отдала. И жизнь-то горькая, и еда без соли!

Слезы потекли у нее по лицу, медленные, холодные, старческие слезы; они тихо текли по глубоким морщинам и мелкими тяжелыми каплями падали ей на дряхлые, мозолистые, иссохшие руки и на ветхие, заплатажные одежды.

Эта беспомощная горесть, эта тихая, но отчаянная жалоба произвели на меня столь глубокое впечатление, что у меня у самого подступили слезы к горлу. Я невольно приблизился к несчастной.

В это самое время с села подошел крестьянин, крепкий, красивый человек в поре мужества, но бледный, видимо только что оправившийся от недуга, на вид несколько суровый и мрачный.

Он приветствовал молодую женщину и старуху, присел, видимо изморенный ходьбою, на ступеньку около них и проговорил как бы про себя, тихо, но с болезненным раздражением:

– Совсем сил нету! Совсем сил нету!

– А что, Грицко, – обратилась к нему старушка, утирая слезы, – или все тебе не легчает?

– Полегчало, да сил совсем нету. А вы все плачете?

– Ах, голубчик! кому ж и плакать, как не мне!

И старушка начала ему рассказывать свои огорчения по поводу дорогой цены, взимаемой теперь за поминовенье усопших душ, и прочее, и прочее, что уже я выше изложил читателю.

Грицко слушал, и лицо его, я видел это хорошо, искажалось негодованьем, презреньем, злобою и тому подобными мятежными чувствами; горькое, разящее слово, казалось, готово сорваться с уст, – но он сдерживался, – молчал и сидел, облокотясь на колени и склонив голову на руки.

Наконец старушка, обессиленная слезами, умолкла.

– И неужели это на него никакого нигде суда нет? – проговорила молодая женщина как бы в раздумье.

– Нету, нету! – прошептала старушка уныло, – нигде и никакого нету!

– А где на него суд? – вдруг сказал Грицко, поднимая голову и сверкая негодующими глазами. – Где?

– А вот на бобриковского ходили же люди жаловаться!

– Ну, и потишал теперь...

– Бобриковский разбойничал прямо, его поймать можно было, – поди-ка, поймай нашего! Придешь жаловаться, так ведь спросят, за что, а ты что скажешь?

– Скажу: обижает!

– Обижает! обижает! – прошептала старушка.

Она уж, видимо, выбивалась из последних сил, неясно сознавала то, что слышала, и ее начинал клонить старческий сон.

– Да ведь потребуют, скажи и докажи, как, чем обижает! Бобриковский жену у мужа отнял, ну все это видели, и знали, и показали, а наш ничего такого не сделал. Как я вот докажу, что он пришел меня причащать, да так жену и мать выпугал, что они ему последние гроши отдали?

– А чем же это он их выпугал? – спросила молодая женщина.

– Ох, боже мой! Боже мой господи! – прошептала старушка в дремоте.

– А тем, что я, ишь, великий грешник и такое и сякое меня на том свете дожидает; и что надо обедню по мне, и молебен, и задравные часточки, и свечу Николаю чудотворцу, и молитву Варваре великомученице... Поди-ка, пожалуйста! Веди он просить ничего себе не просил, – он только советовал помолиться!

Грицко закашлялся и с минуту ничего не мог говорить, только, держась за грудь, с трудом переводил дыхание.

– Грудь-то, видно, все болит? – спросила молодая женщина с участием.

Но Грицко как бы не заметил ее вопроса и, передохнув, продолжал с тем же волнением:

– Нет, нам на него не жаловаться! Он сосет нашу кровь исподтишка! С тех пор как он у нас, всех словно червяк подъедает! Я как вспомню прошлый год, так, кажись, своими бы руками...

Волнение его достигло крайних пределов; он не в силах был докончить фразы.

– Да, прошлый год тяжелый! – проговорила молодая женщина.

– Ох, тяжело, тяжело, тяжело! – тихо простонала старушка.

– Ну, нынешний, может, еще почище будет! И опять сбрет на Ивана-Воина – слушай молебен!

– А вы не ходите! – с живостью сказала молодая женщина. – А вы не ходите! Вы...

Тут Грицко заметил мое присутствие и, с ненавистью обращаясь ко мне, проговорил:

– Ты чего подслушиваешь?

И тише, но еще с большею ненавистью, он добавил:

– Отродье!

– Я не подслушиваю, – проговорил я, огорченный и уязвленный его тоном и подозрением.

Молодая женщина тоже поглядела на меня с недоброжелательством и недоверием.

Только глаза старушки, отягченные слезами, все тупо были устремлены в пространство.

Я вспыхнул, чуть не заплакал и поспешил удалиться.

Но, удаляясь, я еще расслышал, как молодая женщина сказала:

– Это дьяконский. Дьякон ничего, не обидчик.

– Не обидчик? Еще бы такая тля в обидчики попала! А все-таки он с ним заодно. И он и пономарь! Все хороши! Один только человек... ну, это человек! Я первый за него правой своей руки не пожалею!

Я уже не слыхал дальнейшего разговора, но я догадался, кто этот человек, за которого суровый Грицко не пожалел бы правой своей руки.

Но за что же я «отродье»? Что я кому сделал? Чем я пред кем провинился?

«Тля»! О, жестокое, но правдивое слово!

Но я все-таки не «отродье»! Я не «тля»! Я не «заодно с

ним»!

И почему молебен Ивану-Воину является как бы завершением всех обид, как бы венцом злоумышления? Когда празднуется Ивана-Воина? Что связано с именем этого святого? Каким образом проникнуть мне таинственный смысл этого молебна?

Таковы были отрывочные, тревожные вопросы, которые я задавал себе, идя быстрыми шагами по паперти и направляясь к боковым церковным дверям.

Двери эти были слегка приотворены; я мог заглянуть и обозреть внутренность храма, что я и исполнил.

Солнце только что начинало золотить верхушки деревьев, и церковь еще была полна сероватой мглою, в которой трепетно блистали тонкие восковые свечечки и тусклые лампы, горевшие перед образами; фимиам кадила вился чуть-чуть заметной струйкой; беспрестанно обрываясь, дребезжал голос моего отца, а вслед за этим дребезжаньем прокатывался мощный, звучный бас Софрония; время от времени, когда и дребезжанье и бас смолкали, разносились под священными сводами мягкие, благоговейные звуки пастырской молитвы; впереди всех прихожан стояла Ненила, обремененная украшениями; около нее Настя.

Я жадно устремил взоры на последнюю, – вчерашний вечер, трепетный разговор у окна, потом на тропинке, – все это вдруг ярко предо мной предстало.

Прелестный хамелеон снова преобразился. Вчерашней

тревоги, страсти, трепета нет и в помине, – будто никогда и не бывало, будто никогда и быть не могло. Стоит, слегка прислонясь плечом к стене, спокойна и неподвижна, лицо бледно как платок, глаза полузакрыты.

Что ж она, удручена печалью? Не желает глядеть на окружающее? Ищет забыться?

Нет, это не то. Вот за ней стоит моя мать, тоже прислонясь легонько к стене, тоже бледна, неподвижна, с опущенными глазами, – но какая между ними поразительная разница! Моя мать удручена печалью, да; не глядела бы на божий свет, хотела бы забыться; все ее существо проникнуто безотрадной тоской, усталостью, унынием. Настя совсем другое. Ее бледность и неподвижность выражают не упадок, а избыток сил; казалось, глаза сомкнулись не во избежание постылых картин, но ослепленные радужными образами.

В то время невинный отрок, я все это смутно чуял, но ясно не сознавал.

В это утро, однако, не одни любимцы души поглощали мое внимание: я впервые тщательно, с любопытством вглядывался в лица поселян.

Все женщины или стояли, погруженные в унылую задумчивость, или жарко, тоскливо молились. На лицах мужчин выражалась забота и угрюмость. Придя в священную эту обитель, где подобает стоять чинно и богобоязненно, они как бы невольно углубились в самих себя, и все, подьедающее существование, всплыло наверх и предстало пред ними во

всей своей силе и значении. Но они не метали тех грозных взоров, какие мечет непривычный к беде человек; я не заметил ни единого резкого, порывистого движения, каким выказывается нетерпение стряхнуть с себя то или другое гнетущее нас иго, – нет, – они стояли смиренно, сложив крестом свои мозолистые руки и слегка склонив к земле головы.

Во всей этой рабочей толпе было что-то подавленное, мрачное, что преисполнило мое отроческое сердце жалостью и сочувствием.

Скоро чувства эти сделались столь для меня мучительны, что я не мог дольше глядеть на возбуждающих их и направился к лесу, к езжей дороге, караулить приезд ожидаемого жениха.

Едва я вступил под сень деревьев, меня охватила живительная свежесть и лесные ароматы; порхающие птицы приветствовали восходящее светило веселым щебетаньем; все пробуждалось, все исполнялось блеска, жизни и все, казалось, говорило: «Живи, наслаждайся!»

Но я шел, повесив голову.

«Зачем это он сзывает на Ивана-Воина? – задавал я себе вопрос. – Какое тут скрыто жало?»

Только что я погрузился по этому поводу в соображения и догадки, как послышалось хлопанье бича, резвый конский топот и стук колес.

Я затрепетал, отскочил проворно в сторону и притаился в придорожных кустах.

Не замедлила показаться прекрасная темновишневая бричка, запряженная тройкою сытых пегих коней. На козлах сидел плечистый парень в щеголеватой свите и новом брыле, поля которого были украшены венком свежих полевых цветов.

Вероятно, из глубины брички ему было отдано какое-нибудь приказание, ибо он сначала повернул туда голову, как бы прислушиваясь, а вслед за тем сдержал резвость коней и пустил их шагом.

– Стой! – послышался голос из брички. – Стой тут! Неужели это голос ожидаемого?

Голос этот был тих, как бы под сурдинкой, – словно боялся кого обеспокоить.

Бричка остановилась шагах в тридцати от меня; из нее проворно вылез сухопарый, небольшой попик, в темном подрыснике, откинул назад жиденькую косичку, погладил клинообразную реденькую бородку и огляделся кругом.

Весь вид его удивительно напоминал хищного, но крайне заморенного кобчика мелкой породы, известного у нас в Тернах под выразительным именем падальщика.

– Да, тут надо остановиться, – проговорил он: – Сейчас поворotka будет.

Затем, наклонясь в глубину брички, он тихо окликнул:

– Михаил Михайлович, а Михаил Михайлович!

Ответа никакого не последовало.

– Михаил Михайлович, а Михаил Михайлович! – снова

повторил он.

Снова никакого ответа.

Он в третий раз:

– Михаил Михайлович, а Михаил Михайлович!

И в третий нет ответа.

Не рассуждая, ожидают ли меня опасности, и какие опасности, я, затаив дыхание, пробрался ползком, защищаемый листвою кустов, поближе к бричке.

В то время как я прокрадывался ползком меж кустов, мне послышалось два-три глухих звука, напоминающих мычанье тирольских быков; когда же я благополучно подобрался на возможно близкое расстояние, слух мой поражен бил чудовищным зевком на весь лес, мощным потягиваньем, от которого бричка зашаталась во все стороны, угрожая разлететься на части, богатырским плевком, павшим, подобно камню, на землю, и громоподобным, несколько охрипшим со сна, голосом, который произнес:

– Что, приехали?

«Вот „он“! – подумал я. – Вот „он“!»

– Приехали, Михаил Михайлович, – отвечал ему попик, – приехали. Уж утренняя отходит, – сейчас перезвонили. Того и гляди ударят к обедне, – пора! пора! Ждут...

– Ну, и пусть их подождут! – отвечал громоподобный голос.

Вслед за тем из брички вылез крепковейный, белотелый, несколько заспанный молодой мужчина большого роста и

крепкого сложения, с густыми темнорусыми волосами в щегольскую скобку, с сильно пробивающейся бородой, в синем халате на малиновом подбое.

Ступив на землю тяжелой пятой, он снова потянулся, снова зевнул и снова плюнул, – а потом сказал:

– Ну, что ж! Давайте теперь прихорашиваться, отец Андрей.

Отец Андрей заюлил, завертелся, бросился к бричке и принялся из нее вытаскивать какие-то узлы, приговаривая:

– Сейчас, Михаил Михайлович, сейчас!

– А где б это тут присесть, а?

Отец Андрей быстро огляделся кругом.

– А вот пенышек! – сказал он, указывая на громадный дубовый пень при дороге, гладкий и блестящий, словно его нарочно кто выполировал. – Вот пенышек!

И отец Андрей полетел, с резвостью языческого бога Меркурия, по направлению к дубовому пню, обмахнул его своим носовым клетчатый платком и даже несколько раз на него заботливо дунул.

– Вот здесь отлично! – проговорил он. – Садитесь, Михаил Михайлович. Отлично сидеть!

И он показал, как отлично: вспрыгнул на пень, секунду посидел, затем снова соскочил и полетел опять к бричке.

Михаил Михайлович направился к дубовому пню тяжелыми, развалистыми стопами, извивая свое массивное тело, – с первого взгляда во всей его фигуре была заметна

прочно укоренившаяся привычка модничать. Он сел на дубовый пень, вынул из халатного кармана спички, папиросы, закурил и начал пускать клубы дыма.

Лицо его было обращено как раз ко мне, и я мог им, так сказать, насытиться.

Это было кормленное, молодое, белое, румяное, красивое лицо с преобладающим выраженьем самодовольства и наглости. Глаза большие, светлые, от темных ресниц и бровей особенно выдающиеся светлым блеском, но так называемые «буркалы»; тонкие брови колесом, что, по моему личному наблюдению и по народной пословице,⁹ признак изрядной доли тупоумия; он с удалством держал между жирными, белыми, короткими, как бы обрубленными перстами папиросу и, выпуская дым, выделявал своими красными, словно намазанными кровью, устами какие-то особые сердечкообразные эволюции.

Отец Андрей, постоянно уподобляясь вышепомянутому языческому богу Меркурию, перелетал между тем, таская узлы и узелки, от брички к дубовому пню и обратно. В три перелета он все перенес, присел на корточки перед шкатулкой красного дерева и сказал:

– Ну, дайте ключик, Михаил Михайлович!

Михаил Михайлович вынул из жилетного кармана и подал ему.

– Ну вот, все готово! – сказал отец Андрей, щелкая зам-

⁹ Как брови колесом, так не утрет и под носом. (Прим. автора.)

ком. – Все готово – вот!

Он откинул крышку шкатулки, приподнял и установил находящееся там зеркальце, вынул несколько засаленный и забитый гребень, пузырек с какой-то жидкостью и баночку,

– Вот! Вот! Держите, Михаил Михайлович! Пора, ей-богу пора! Прибирайтесь, Михаил Михайлович, – ведь ждут не дождутся! Господи! какой же вы бесчувственный человек! Невеста ждет...

– Ну, еще эта невеста пока без места! – возразил Михаил Михайлович. – Я еще прежде погляжу, какая она! Меня ведь не жените, как прочих! Нет, брат, шалишь! Пальцем в небо хочешь попасть, да еще в самую серединку! Нет-с! Я прежде погляжу, какая она! Образину мне не навяжешь!

– Что это вы, Михаил Михайлович! Какая образина! Да эта девушка просто... просто ягода!

– Ну, всякие и ягоды бывают тоже! Я погляжу прежде, какая!

– Поглядите, поглядите, Михаил Михайлович!

– Погляжу! Ударили к обедне.

– Слышите? К обедне ударили!

– Ну, что ж, что к обедне ударили? Мы люди дорожные, греха нет, коли немножечко и припоздаем! Ну-ка, где гребешок-то?

– Вот!

Михаил Михайлович начал расчесывать свои кудри.

– Отец Андрей, будь отцом родным, припомадь, пожалуй-

ста! И уж кстати рядок пробери, – да гляди, попрямее!

Отец Андрей проворными перстами достал из баночки какую-то бледнокофейную мазь, от которой мгновенно распространился на далекое расстояние сильнейший запах гвоздики и еще какого-то пахучего снадобья, напоминающего жасминные цветы, растер ее на ладонях, затем искусно на помадил Михаила Михайловича и пробрал ему прекраснейший, прямой и ровный, как стрелка, ряд.

Но Михаил Михайлович, взглянув в зеркальце, подверг дело его рук критике.

– Вот тут-то уж и подгуляло! – сказал он. – Эх, подгуляло! Совсем путаница! Нет, уж ты постарайся, отец Андрей, – на то ты сват!

Отец Андрей постарался, и на этот раз Михаил Михайлович одобрил его.

Затем отец Андрей достал из узелка полотенце, подал его Михаилу Михайловичу, а Михаил Михайлович полил на это полотенце жидкостью из пузырька, от чего распространилось новое благоухание, и потер себе лицо, проговорив:

– У! пощипывает!

Затем он сам сел на траву, зеркальце утвердил на дубовом пне и занялся окончательной отделкой своих красот: одним движеньем искусных, от постоянного и долгого в этом упражнении, рук завил на висках полуколечки, напоминающие серпок молодого месяца; другим подобным движеньем слегка приподнял прядь на лбу и образовал из нее подобие

причудливой винтообразной раковинки; несколько шаловливых волосков, стремящихся образовать вихорчик, пригладил, – даже один, особенно непокорный, вырвал вон; расправил молодой ус и тщательно утвердил кончиками кверху.

Отец Андрей между тем разложил на ближайших кустах бесподобный темный сюртук с легкой изжелта-малиновой искрой, прекраснейшие панталоны фиолетового цвета, жилет клетчатого атласа, бирюзовый шейный платок с воткнутой в него золотой сердоликовой булавкой, а сам взял и держал наготове, как при купели держат покров новокрещенного, тонкую рубашку с прозрачными прошивками на груди.

– Отлично, Михаил Михайлович, – проговорил он, – отлично! Уж вы больше не поправляйте, а то еще испортите! – говорил он время от времени.

– Не испорчу, а лучше сделаю! – отвечал Михаил Михайлович.

– Ей-богу, отлично! Вон сапоги, около вас, налево!

Михаил Михайлович стал натягивать блестящие, как алмаз, сапоги, приговаривая:

– Не стоило бы жениться! Ей-ей, не стоило бы жениться – прощай все прелести!

Вероятно, в ту минуту он под прелестями подразумевал свои щегольские доспехи, ибо с видимой меланхолией посмотрел и на бесподобный сюртук, и на фиолетовые панталоны, и на атласный жилет, и на бирюзовый шейный платок с сердоликовой булавкой, и на сверкающие сапоги.

– Пора остепениться, Михаил Михайлович, пора остепениться! – сказал отец Андрей, хихикая и нетерпеливо помахивая рубашкой над его плечами.

– Это отчего ж пора? – возразил Михаил Михайлович.

– Да ведь *все* желают, чтобы вы сочетались браком, – вы знаете... *все*...

– То-то и есть, что все! То-то и беда, что все! – ответил Михаил Михайлович со вздохом. – Кабы не все, так я бы теперь порхал себе да порхал!

– Зато какой будет почет, какая благодать, Михаил Михайлович! Ведь вы не то что мы грешные: вам сейчас благочинного – и крест и скуфеечку! Приход самый лучший, обидеть никто уж в мире не может, а всякого вы можете... Воистину блаженное ваше будет житье! Вы сами подумайте...

В это самое мгновение близехонько около меня послышался осторожный шорох; я оглянулся, и в густоте листвы взоры мои отыскивали ползущего ничком пономаря, изморенного, красного, с каплями поту на лбу. Он тоже увидел меня и сделал угрожающее движение бровями, глазами и губами, давая понять, что требует моего удаления.

Я с сожалением в душе пополз прочь до известного предела, а там поднялся и снова поспешил к церкви, где занял свое любимое место у боковых дверей.

Ненила исчезла из храма; отец мой как-то суетился и беспрестанно озирался во все стороны, как бы ожидая нападения; мне показалось, что даже отец Еремей отправляет служ-

бу хотя, по обычаю, благоговейно и благопристойно, но с легким оттенком беспокойства и нетерпения. Но отец Еремей вовсе не суетился, не озирался; не озирался даже тогда, когда шум у главных входных дверей возвещал прибытие нового лица и когда у всех, посвященных в прибытие жениха, голова невольно и неудержимо обертывалась; он не только не озирался, но даже не глядел никуда и ни на кого, кроме ликом святых, и то тех, что укреплены были высоко над его головою, так что он в тот день постоянно являлся с поднятым горе взором. Мать моя усердно, но рассеянно клала земные поклоны, как бы пытаясь молитвою отогнать беспощадно подступающие горькие мысли. Настя стояла такая же белая, но глаза ее теперь уже не были сомкнуты, – они теперь блистали, как звезды. Особенно уподобились они звездам, когда встретились с глазами проходившего с дымящейся кадильницей Софрония. Софроний же, хотя и проходил своим обычным уверенным шагом, хотя и не являл на лице своем никаких признаков волнения, почему-то, казалось мне, мог так же подхватить меня на руки, как и накануне вечером.

Вдруг отец мой запнулся на провозглашении, а отец Еремей хотя не запнулся, но протянул свое благословение певучее и дольше обыкновенного; все уши насторожились: раздавался внятный топот резвых коней, легкий стук колес и тархтенье рессорного экипажа. Затем все это смолкло у главных церковных дверей, и слышалось только конское фырканье да храп.

Я быстрее птицы перелетел с своего места навстречу гостям.

Они уже входили на церковные ступени. Михаил Михайлович сиял во всеоружии красот; на отце Андрее вместо портютого подрясника развеялась темнозеленая ряса, ниспадающая волнами; между этими волнами мелькал шитый гарусами пояс.

Но кто их встречается на церковном пороге? Кто рассыпается пред ними мельче маку? Пономарь!

Если бы взор мой не уловил на его правом плече зеленых точек – остатков наскоро отчищенного лесного растения вроде мелкого репейника, известного у нас под именем «кожушка», я бы усомнился, точно ли я видел под кустами его плоть и кровь, – не было ли то какое видение моего расстроенного воображения.

Он, извиваясь и вертясь, приседая и подскакивая, ныряя в толпу и раздвигая ее локтями, коленями, пятами и головой, повел гостей на первые места.

В храме произошло сильное движение.

Когда все несколько успокоилось и я пробрался на прежнее свое место, я увидал, что Михаил Михайлович, склоняясь к уху отца Андрея и глядя на Настю, что-то ему шепчет, а отец Андрей, выслушав, тоже обернулся, глянул на Настю и, склоняясь, в свою очередь, к уху Михаила Михайловича, отвечает ему, тоже шепотом, отрицательно.

В храме постоянно то с той, то с другой стороны доносил-

ся шепот; над уровнем голов выскакивала то та, то другая голова (большею частию женская) и, продержавшись выше этого уровня минуту или две, снова опускалась – знак, что обладатель ее (или обладательница) не мог дольше выстоять на цыпочках.

Михаил Михайлович стоял приятно избочившись; время от времени он коротким белым указательным перстом не то что поправлял, а, вернее сказать, ласкал свою прекрасную прическу, бирюзовый галстук и сердоликовую булавку или же дотрагивался до часовой цепочки; если Михаил Михайлович озирался, то единственно на стены обители; если глядел, то на своды храма, на окна, на парящего в высоте, под куполом, святого духа в виде голубя, но никак не на смиренную толпу – он даже на будущую родню не смотрел.

Наконец служба окончилась. Отец Андрей, еще во время целования креста не раз выразительно моргавший отцу Еремею (на что отец Еремей отвечал ему только своею обыкновенною пастырскою улыбкою), начал с жаром его приветствовать; Михаил же Михайлович без всякого увлечения, даже с некоторою небрежностью, спросил о здоровье, о том, как-во ведут себя прихожане и много ли в окружности помещиков-жертвователей.

– Что есть, всем доволен! – отвечал отец Еремей. – За все благодарю моего создателя! Горько – молюсь и терплю! Случится обида – склоняю голову, не противоборствую, но отдаюсь на суд божий: он, царь небесный, рассуд...

– А приход большой? Фу! как я изморился за эту дорогу!

– Пожалуйста, отдохнете. Пожалуйста!

– Ну, показывайте, куда идти!

– Пожалуйста!

И отец Еремей повел гостей за собою.

Народ еще толпился у церкви. Я искал глазами Настю и Софрония, но не находил.

«Куда ж это они девались? – думал я. – Сейчас видел, сейчас были – и нет!»

Вдруг чувствую, меня кто-то схватывает словно щипцами; с испугом оглядываюсь – пономарь!

– Где отец? – спрашивает он.

– Не знаю.

– А ты чего это подсматриваешь, как вор, за людьми, а? Погоди, дай срок! Узнает батюшка, так будет тебе разговенье! Ишь ты, подсматривать изволит! Постой, постой...

– А вы сами...

– Я? ах ты, мразь! А я что ж подсматривал? где? когда? Ну, постой, постой! Я вот ужо... Ты проси-ка лучше прощенья, – я так и быть, может, прощу, никому не скажу!

Но я прощенья просить был несогласен, вырвался от него, замешался в толпу, выбрался на паперть и скользнул в кусты.

Надо вам сказать, что одна часть паперти, и именно с восточной стороны, представляла сплошной вишенник, калинник, яблони, груши; но так как все это находилось в диком состоянии, то за плодами туда ходить было нечего, и потому

растительность здесь образовала густую чашу.

Забравшись под непроницаемую сеть зелени, я остановился, положив себе здесь переждать, пока весь народ разойдется и пономарь, видя, что меня нет, уйдет тоже. Я, хотя прощения у него просить и не согласился, был встревожен его угрозой донести на меня за подсматриванье. Разумеется, подсматриванье было невинное, да и сам он был грешен в том же, в чем я, но я уже достаточно уразумел сущность, начальнических судов и чувствовал, что невинность тут мало ограждает от кары.

Оглянувшись машинально вокруг, я, к удивлению своему, заметил невдалеке, направо, проторенную дорожку в самую глубь чащи; трава притоптана, веточки на деревьях обломаны, хмелевые пута оборваны – видно, что сюда не раз кто-то ходил.

Я, разумеется, не замедлил начать исследования.

Но сделав несколько шагов, я вдруг как бы прирос к месту: слух мой поразили звуки знакомого голоса.

Софроний здесь! С кем?

– Это так и будет! – говорил Софроний. – Чего ж тешиться нам понапрасну? После только горче будет!

– Что ж делать?

Он с Настей!

– Что делать? – повторил Софроний.

– Да, что делать?

Он не отвечал.

Она снова его спросила:

– Что ж делать?

Он все-таки ничего не отвечал. Она сказала:

– Я бы все сделала, только я не знаю – а я бы все, все сделала!

Несколько опомнившись, я кинулся к ним, но едва успел перед ними очутиться, как с величайшим огорчением почувствовал, что явился несвоевременно.

Оба они встрепенулись при моем появлении.

– Это я! Больше никого нет! – пробормотал я, смущенный.

– Что ты, Тимош? – выговорила, наконец, Настя. Что я!

Сердце у меня сжалось, и я ответил тихо:

– Я ничего... я так...

– Меня не кликали? – спросила она.

– Нет.

– Поди, Тимош, и покарауль. Как только меня хватятся, ты прибеги, мне скажи. Ты хорошенько покарауль. Слышишь?

– Слышу, слышу! – ответил я, оживая.

– Ну, иди скорее! – проговорил Софроний. – Иди, Тимош!

Он говорил ласково, но голос у него дрожал так, что, не будь я около него, я бы усомнился, точно ли это его мощный бас.

– Ну, иди, Тимош! – сказала Настя. – Хорошенько карауль! Понимаешь?

Гордый этим порученьем, я с восторгом и быстротою на-

правился, куда следовало.

Удаляясь, я еще раз слышал, как Настя спрашивала:

– Что ж делать? Я все сделаю!

Угроза пономаря несколько меня тревожила, но колебаться нимало не заставила.

Я безбоязненно вошел на попов двор.

Обессиленная Лизавета сидела на крылечке и дремала. Из внутренности жилища доносился какой-то гул. Вслушавшись хорошенько, я различил визг ножей, звяканье столовой посуды, говор, хихиканье, шум и звон наполняемых кубков.

– Можно тут подле вас сесть? – спросил я.

Лизавета открыла глаза, глянула на меня и ответила:

– Садись.

– Закусывают? – спросил я, кивая ей на дверь жилища.

– Уж и не говори! – ответила она, вздохнула и снова закрыла глаза.

Долго мы так сидели, – она в дремоте, а я, прислушиваясь к пиршеству за дверями, размышлял, сопоставляя, соображая, теряясь в предположениях и догадках.

Вдруг у меня блеснула счастливая мысль.

Лизавета отличалась как неутомимым трудолюбием и терпением, так и простотою и безыскусственностью. Род человеческий она, так сказать, разделяла на две партии. Одна партия называлась у нее *наши, люди*, а другая партия – *хозяева, господа*. С последними она была скрытна, осторожна, недоверчива; но зато с первыми обходилась, как с родными

братьями. Раздражительности, суровости, чванства у нее и в помине не было. У нее не было даже особого к кому бы то ни было пристрастия, и никому она не оказывала предпочтения. Она одинаково охотно могла беседовать и с испытанными жизнью старцами, и с своими однолетками, и с несмысленными детьми, даже с младенцами. У нее была на деревне крестница, приходившая навещать ее в большие праздники. Эта крестница была столь крошечна, кругла и румяна, что ее прозвали «вишенкой». Она обыкновенно подходила к Лизавете чинно, кланялась ей низко, но вслед за тем вдруг оживлялась и говорила: «Дай гостинца!» И сколь бы Вишенка ни просидела, других у ней речей не было. А между тем Лизавета, снабдив ее гостинцем, пускалась с нею в большие и серьезные рассуждения.

– Вот погоди-ка! – говорила она ей. – Как вырастешь, так ты узнаешь, каково жить в людях. Это ведь только так говорится, что «добрые» хозяева; хоть они и добры, а все они жмут из тебя сок. А уж как лихие... Ну, не приведи бог!

Вишенка ее прерывала:

– Дай гостинца!

Она ей даст и опять пустится рассуждать. «Лизавета мне скажет!» – думаю. И начинаю покашливать и вертеться. Лизавета открывает глаза.

– Когда это у нас Ивана-Воина? – спрашиваю я с замирающим, но по наружности совершенно спокойно и равнодушно.

– Скоро. А что?

– Очень скоро?

– Скоро, скоро. А что?

– Когда?

– На той неделе. А что?

– Да так... Я слышал...

– Что ты слышал? Ну, говори, – чего ты губы поджимаешь? Что слышал?

Дремота слетела с нее, как спугнутая птица, и она очень вдруг оживилась.

«А! – подумал я. – Значит, она знает! Значит, скажет!»

– Я слышал, – отвечаю ей, – как нынче говорили... Только вы этого никому не сказывайте!

– Не скажу, не скажу!

– Я слышал, что прошлого году отец Еремей собирал людей на молебен...

– Ну?

– И будет теперь опять собирать...

– Опять будет!

Она в одно мгновение до крайности разволновалась.

– Опять будет! опять будет! – повторяла она. – Опять!

– И люди очень этим обижаются...

– Да как же не обижаться! Уж такая это обида, что не дай бог такой и супостату! Ах, житье, житье!

Я между тем оглянулся во все стороны и, понизив голос, рассказал ей слышанный мною на ступеньках церковного

крыльца разговор.

Она повторила:

– Ах, житье, житье!

– Какой же это такой особенный молебен на Ивана-Воина? – спросил я. – Чем он людям обиден?

– Как чем? Он это целый год точит-точит нас, да еще и насмешку над нами такую строит!

– Какую насмешку?

– Как какую насмешку! Он же нас жучит, да мы ж и намаливай на себя напасти!

– Как намаливай напасти?

– Ах, бестолковый ты какой! Иван-Воин великий угодник и воин, и он от врагов помогает. Как ему помолиться, сейчас всяких он врагов попутает. Ну, вот ты на меня сердит, и ты на меня замышляешь, а я пойду, отслужу Ивану-Воину и тебя не боюсь, – потому он меня покроет, а тебя победит, так что ты ничего надо мной не сможешь сделать. Ну, вот *он* (это местоименье означало отца Еремея) и выдумал: целый год нас мучит, а потом и служит от нас молебен и нас заставляет молиться, чтоб ему победить!

Она совсем преобразилась; вместо терпеливой, безмятежной Лизаветы предо мной была какая-то страстная женщина: лицо ее пылало, глаза метали молнии.

Я тотчас же сообразил, что подобное лукавое моление не может быть принято Иваном-Воином, но затруднялся, как это поясней выразить.

– Иван-Воин не слушает, – сказал я.

– Не слушает! Тут не то, что слушает или не слушает, а то, что *он* так над нами мудрует!

– Все угодники очень милостивые, – продолжал я, – и заступаются за обиженных – они так и называются «заступники». А злого они никого не слушают. И бояться нечего.

– Я не боюсь, – мне не страшно, а горько мне! Горько, что *он* так мудрует над нами! Уж очень это горько! Кабы...

Тут дверь отворилась, и на крылечко вышла Ненила.

Ненила, облеченная в розовые одежды, сияющая запястьями, ожерельями, перстнями и внутренним ликованием, ослепляла взоры.

– Хорошенький! – проговорила она, ухмыляясь и алея во всю щеку. – Хорошенький!

Видя, что Лизавета ничего не отвечает, она ее окликнула:

– Лизавета, а Лизавета!

– Что вам? – ответила Лизавета, видимо стараясь овладеть своими взволнованными чувствами.

– Хорошенький!

И она снова так поалела, что я подумал, не поперхнулась ли она.

– Хорош, – ответила Лизавета, – очень хорош. Дай вам бог совет да любовь!

Лизавета уж овладела собою.

– Кабы ты поближе-то посмотрела, какой! – сказала Ненила. – Ах!

И снова вся зарделась, как зарево пожара.

– Лизавета! – раздался голос иерейши, – вынеси стулья на крылечко!

И вслед за тем, до последней невозможности смягчив голос:

– Пожалуйста на крылечко, – на крылечке прохладнее будет!

Услышав приближающийся топот и скрип сапогов, я счел за лучшее перебежать на свой двор, что исполнил с быстротою дикой серны, остановился и скоро увидел появившихся на крылечке хозяев и гостей. У всех были раскрасневшиеся лица и улыбки на устах. Не говоря уже о том, что отец Еремей являл собою более чем когда-либо олицетворение пастырской благости, сама Македонская как бы скрыла под зеленым шелковым платком с темными разводами свою обычную свирепость и вертелась, расставляя стулья, как беспокойная, но кроткая и снисходительная мать семейства. Отец Андрей отпустил шитый гарусом пояс и поглаживал свою клинообразную бородку, а Михаил Михайлович уподоблялся подтаявшему барскому кушанью желе; утренней молодецкой небрежности, самонадеянности и высокомерия не осталось и следов. Вместо того чтобы по-княжески закидывать голову назад и запускать руки в карманы, он склонял теперь голову на правую сторону и руки складывал на животе; блестящие его глаза посоловели, и залихватская улыбка сменилась улыбкою умиленною; походка у него стала еще

развалистее, но уж в ней не выразилось прежней удали; даже сапоги его теперь иначе скрипели, – скрип был скорее нежный, чем вызывающий.

Когда все уселись, он оглянулся и, увидав, что Ненила стоит в сторонке, вскочил с своего места и вскрикнул:

– Какие вы жестокие, Ненила Еремеевна! Удаляйтесь от глаз!

И он стал перед ней раскланиваться с трогательным видом и с такою при этом ловкостью, какую впоследствии я замечал только в столичных офицерах.

– Не будьте жестоки! – говорил он. – Сядьте подле меня!

И он взял ее за руку.

Ненила пылала и пручалась.

– Сядь же, Ненила, сядь! – увещательно сказала Македонская.

Пылающая девица повиновалась материнскому приказанию, села подле жениха, но, одолеваемая стыдливостью, несколько отвернула прекрасный лик свой в противоположную от соседа сторону.

– Теперь я блажен! – сказал Михаил Михайлович.

– Вот, отец Еремей, радуйтесь теперь на деточек! – сказал отец Андрей. – Вот за вашу добродетель господь и сподобил вас!

– Благодарю царя небесного! – отвечал отец Еремей, вздыхая и с благоговением поднимая глаза к небу.

– А я пойду проведать отца дьякона, – продолжал отец

Андрей. – Старые приятели с ним – однокашники, можно сказать.

И отец Андрей сошел с иерейского крылечка и быстрыми шагами направился к нашему смиренному жилищу.

Я тотчас же оставил свой наблюдательный пост и юркнул в двери.

Матери не было дома; отец сидел с пономарем на лавке и таинственно с ним перешептывался.

При моем появлении он подскочил и в испуге вскрикнул:
– Что, Тимош? что?

Едва успел я ему ответить: «ничего», как в дверях появился отец Андрей.

– Отец дьякон! – вскрикнул он, откидывая рукава рясы и простирая к отцу объятия, – еще здравствуй! Ну, как тебя господь милует?

И он троекратно облобызал отца.

Пономарь тотчас подюркнул под благословение.

– Господи благослови! – проговорил отец Андрей, простирая над ним руку и осеняя его крестным знамением.

Затем он спросил пономаря:

– Что, все благополучно?

И потрепал его по плечу. Отец между тем суетился.

– Садитесь, отец Андрей, садитесь! – бормотал он. – Милости просим! Уж как обрадовали своим посещением!.. Несказанно... несказанно...

– Спасибо, отец дьякон, спасибо! – говорил отец Андрей,

разваливаясь на ветхом отцовском кресле. – Ты перестань суетиться – садись! Вот тут садись, против меня!

Отец сел, но как бы на шипы; он вскрикнул:

– Не угодно чего, отец Андрей? Может, водочки выкушаете?

И вскочил.

– Нет, нет, – сядь! Сядь, говорят тебе! Ведь сам знаешь, меня уж угостили у отца Еремея. Сядь!

Отец сел.

– И ты сядь! – сказал отец Андрей пономарю.

Пономарь умиленно проговорил:

– Много милости, отец Андрей! Я...

– Ничего! – перебил его отец Андрей. – Сядь!

Пономарь сел.

Я, притаившись в уголке, за кадушкой, с изумлением глядел на отца Андрея. Он здесь, в нашей убогой хижине, совсем был не тот – даже совсем не похож был на того отца Андрея, что я видел поутру в лесу; даже мало напоминал того отца Андрея, что я только что видел, пять минут тому назад, на крылечке отца Еремея. Не говоря уже о том, что голос его сделался на несколько нот выше, что выражение лица, так сказать, облагородилось, что манеры были развязнее, увереннее, но он даже как бы в объеме увеличился, пополнился, повышал – совсем другой отец Андрей!

– Ну, что ж, как вы поживаете? – спросил отец Андрей.

– Слава богу! слава богу! – отвечал отец.

– Слава творцу всевышнему! – прибавил пономарь.

– А слухи-то ходят нехорошие, – и *туда* дошли! – сказал отец Андрей.

Отец пробормотал:

– Уж не знаю! уж не знаю!

А пономарь воскликнул:

– Ах, господи, творец мой милосердный! какие ж это такие слухи, батюшка?

– А такие слухи, что у вас неладица, распри, соблазны! И *там* на это очень косо смотрят!

Отец весь съезжился и снова прошептал:

– Уж не знаю! Уж не знаю!

А пономарь испустил глубокий вздох, как бы сокрушаясь, и сказал со смирением:

– Мы блюдем себя, как можем, батюшка.

– То-то и есть, что не блюдете! – возразил отец Андрей. – Вы думаете, все шито и крыто? Вы забыли, что сказано в евангелии: несть бо тайно, яже не явлено будет, ниже утаено, яже не познается и в явление приидет! Известно, чью вы руку тянете!

Не только пугливый отец мой помертвел, но и изворотливый пономарь весь исказился страхом.

– Их воля! их воля! – пробормотал отец.

– Господь видит мое сердце, – жалобно затянул пономарь. – Господь...

– Надо вам дело поправить, – перебил отец Андрей, – а

то плохо придется!

– Воля их! Воля их! – бормотал отец.

– Как же поправить, батюшка? Научите! – стал молить пономарь. – Я ничего за собою не знаю... ни в чем не виноват...

– Ладно, ладно! Только вы, невиноватые, коли этого дела не поправите, – оказал отец Андрей, – так то вам будет, чего и язычнику не пожелаешь. Там шутить не любят!

– Как же поправить, батюшка? – спросил пономарь жалобным тоном.

Отец тоже как бы с вопрошанием обратил глаза на отца Андрея.

Отец Андрей подумал, погладил бородку и ответил:

– Отстранитесь от него и от всех его дел.

– Отстраняемся! – воскликнул пономарь, – отстраняемся!

Отец ничего не сказал, но сомненья не было, что он тоже не замедлит отступить.

– Ну, и подпишите бумагу... Вот видите ли, *оттуда* запрос прислан отцу Еремею, – я сам и привез этот запрос, – ну, вы и покажите, каков *он* человек.

Пономарь вздохнул и с покорностью ответил:

– Показать надо; совесть велит показать!

Отец было приподнялся, как бы хотел что-то вымолвить, но остался безмолвным и снова сел.

– А ты что скажешь, отец дьякон? – спросил отец Андрей.

Отец только отчаянно, беспомощно развел руками.

– Ну и прекрасно! – сказал отец Андрей. – И откладывать

нечего! Пойдем подписывать!

Пономарь быстро вскочил с готовностью следовать за отцом Андреем, но отец оставался на месте, как бы пригвожденный.

Отец Андрей взял его за руку, приподнял и повел, говоря ему ободряющим голосом:

– Двигайся, отец дьякон, двигайся!

Они направились ко двору отца Еремея. Я только смутно понимал, что готовится. В смятенье я крикнул вслед отцу:

– Батюшка! Батюшка!

Отец остановился, как бы пораженный громом.

– Что такое? – спросил строго отец Андрей, обращаясь ко мне.

Я же подбежал к отцу, ухватился за его полу и глядел ему в глаза.

– Что такое? – еще строже повторил отец Андрей. – Пусти!

Он схватил меня за руки своими маленькими, но крепкими, как железо, перстами и так стиснул, что я принужден был выпустить полу.

– Поди, поди! – сказал он мне.

Хотя он говорил тихо, но в голосе его звучала нешуточная угроза.

И так как я все-таки упорствовал и тщился снова ухватить отца за полу, он оттолкнул меня и приказал пономарю:

– Придержи его! Оттащи!

Пономарь кинулся на меня.

– Оставь его! Оставь! – проговорил слабо отец. – Оставь!

Тимош, ступай домой!

– Иди, иди, дурак, домой! – шипел пономарь. – Иди, а не то за чуб отведут!

И я понимал, что, точно, поупорствуй я еще, отведут за чуб.

Почувствовав свое бессилие, я стал проливать слезы.

– Не плачь, Тимош! – слабо крикнул мне отец. – Не плачь!

Я вот сейчас...

Он не договорил. Отец, Андрей быстро его увлек на попов двор.

Несколько мгновений я оставался как бы ошеломленный неким ударом обуха, но оправившись, быстро скользнул к попову забору.

Ни отца моего, ни пономаря, ни отца Андрея я уже не увидел на крылечке; отца Еремея тоже не было,

Михаил Михайлович говорил Нениле:

– Пойдемте в сад гулять! Сжальтесь надо мной, пойдемте в сад гулять!

Ненила же, ухмыляясь, отворачивалась, пылала и опускала глаза в землю.

– Уж это не по закону! – сказала ему Македонская медовым голосом. – У нас девицы не ходят гулять одни с молодыми кавалерами! Уж это не по закону!

– Что ж мне законы? – возразил ей Михаил Михайлович. –

Что ж мне законы? Это для иных, для прочих законы, а я могу без законов!

И, снова обращаясь к Нениле, он стал просить:

– Пойдемте в сад гулять! Сжальтесь надо мной!

А Ненила все пылает, отворачивается и ухмыляется. Михаил Михайлович обращается к Македонской:

– Маменька! Прикажите нам идти гулять в сад!

– Да не по закону!

– Да ведь я вам говорю, что я могу и без законов!

– Ну, идите, бог с вами! И Настя с вами пойдет... Где это Настя запропастилась!

И Македонская начала кликать:

– Настя! Настя!

Я кинулся бежать на паперть.

Я, можно сказать, не перебежал, а перелетел это пространство, пробрался в вишенник – в вишеннике никого нет.

Я, тихонько окликаая, исходил его весь вдоль и поперек, – никого нет.

Я остановился в недоумении и смятении, а затем медленными шагами снова возвратился к попову двору.

Пономарь бежал трусливой рысцой, как выстеганный лозю кот, к своему жилищу; отец мой, шатаясь, поспешал к своему. Отец Еремей с отцом Андреем сидели на крылечке, – отец Андрей, снова приняв свой настоящий вид и снова, так сказать, войдя в свои берега, несколько изогнув стан и склонив голову набок, с улыбками что-то шептал; отец же

Еремей, внимая клевету своему, сидел, несколько раскинувшись, в кресле, сложив руки на коленях, как бы упоенный чем-то несказанно сладким, и созерцал твердь небесную. Фигуры Михаила Михайловича и Ненилы мелькали вдаль, в садике, и можно было различить, как Михаил Михайлович, сорвав цветок,¹⁰ с нежностью обращался к Нениле, а Ненила слегка отворачивалась и ухмылялась, обмахиваясь в смущении и сердечном веселии носовым платком. Иерейша, стоя у ворот, тихим, но свирепым голосом спрашивала у Лизаветы отчета в каких-то бутылках.

Увидав меня, иерейша крикнула:

– Остановись! Куда бежишь как угорелый? Не видал Настю? Ну, чего ж оторопел? Чего вытаращился? Русским языком тебя спрашивают: не видал Настю?

– Не видал! – ответил я заикаясь.

– Это, видно, опять в лес изволила загнаться! Лизавета! пошли Прохора...

– Я ее видел! – поспешно прервал я, испуганный, – я ее видел!

– У, чертенок! чего ж ты путаешь? Где видел?

– Там... там...

¹⁰ В нашем краю у духовных положено объясняться с любимой особою посредством цветка. Пленный юноша срывает цветок и подносит девице со словами: чего вы желаете этому цветку? И, смотря по ответу девицы, приходят в восторг или огорчение. Часто девицы лукавят, не давая сразу прямого ответа, и юноша многократно должен повторять вопрошаемое, пока не добьется ответа. (Прим. автора.)

И в смущении я простирал руку, указывая то в ту сторону, то в другую.

– Где? пропасти на тебя нету! Где? Чего ты давишься? Краденым, что ль, обожрался?

– Она на село пошла, – проговорил я решительно.

– На село? зачем это ей на село? Что ты, бестия, брешешь!

– На село пошла! – упорствовал я. – Я сам... я сам видел, как на село пошла... туда, к Захарову лану... на Захаров лан...

– Ну, погоди! Дам я ей село! Дам я ей село! Прохор!

Я поспешно предложил свои услуги.

– Сходить за нею? – трепетно спросил я.

– Сходи! Да ты у меня гляди: чтоб одна нога тут была, а другая там! Беги!

Я пустился во весь дух по направлению к селу, но, достигнув огородов, повернул налево, перепрыгнул через плетень и осторожно, ползком пробрался домой.

Отец лежал ничком на лавке.

Я его окликнул.

Он вскочил, поглядел на меня, слабо проговорил: «Иди, Тимош, иди! поиграй... поиграй...» – и снова лег ничком на лавку.

Он был бледен, как мел, весь дрожал и тихо стонал, как бы мучимый каким-то жестоким недугом.

Я подошел к нему и только что отверз уста, как он снова вскочил, оттолкнул меня и вскрикнул:

– Я сказал тебе: иди! Что ж ты... что ж ты... отца... отца не слушаешься! Это... грех... грех...

Дребезжащий его голос прервался; он кашлял и задыхался.

– Где мама? – спросил я.

– Не знаю! Не знаю! Иди... отца слушай...ся... грех... грех...

Он не договорил и снова кинулся ничком на лавку. Я не отступил и слегка дотронулся до его плеча. Он снова вскочил и, как бы обезумев, громко, пронзительно закричал:

– Что ж ты не идешь? Отца... отца не слуша... Я... караул... буду крича... Что... ж... иди!

Он не договаривал слов, и весь трясся, и в смертной тоске стискивал свои слабые кулаки.

Опасаясь, что с попова двора услышат его вопли, я выбежал из дому.

Сообразив, что Настя должна находиться у Волчьего Верха, я туда направил стопы свои.

Но не успел я достигнуть опушки леса, как, оглянувшись, увидел, что Настя уже подходит к своему двору.

Она прошла мимо, всего в трех-четыре шагах от меня, но меня, тихо и отчаянно взывающего к ней из бурьяна, не услышала.

Она шла очень быстро; в лице ее не было ни кровинки, но глаза ее изумительно блестели.

– Где ты пропадала? – раздался голос иерейши.

– Я в лесу была, – отвечала Настя.

Голос ее, всегда сладостный и звучный, был теперь еще звучней и сладостней обыкновенного, и не слышалось в нем ни малейшей тревоги, никакого трепета.

Я ринулся разыскивать Софрония.

Я сбегал в Волчий Верх, я проникал в Белый Яр, в березняк, – я исследовал весь лес, останавливаясь на каждом шагу, прислушиваясь, окликал Софрония то тихим, то громким голосом; я два раза возвращался к его жилищу и, находя двери замкнутыми, постукивал в его окошечко, – я его не обретал. Наконец, снова отправясь к Большому Яру, я встретил деревенского мальчика Кондрата, известного птицелова, в праздничное время всегда бродящего по лесу, и спросил его, не кидал ли он Софрония.

– Видел, – отвечал Кондрат.

– Где? – вскрикнул я. – Где?

– В дубнячке. Они шли с Грицком в Болиголово.

– В Болиголово! – вскрикнул я.

– Да, в Болиголово, – повторил Кондрат. – Зачем?

Вопрос этот вырвался у меня прежде, чем я успел сообщить его неуместность.

– Не знаю, зачем, – отвечал Кондрат. – Должно быть, в гости. У Грицка там родня – сестра туда замуж отдана.

У меня мелькнула мысль, не бежать ли мне к нему в Болиголово.

Болиголово было всего верстах в двух, в трех от Тернов.

Кондрат продолжал:

– А вы свою поповну замуж отдаете?

– Отдаем, – отвечал я.

Он поглядел на меня, слегка прищуриваясь своими черными пытливыми глазами, как бы желая еще что-то спросить, но не спросил ничего более, а свел разговор на птицеводство.

– Как нынче летом лову мало! – говорит.

А вслед за тем кивнул мне головой в знак прощанья и скрылся в чаще.

Я уже направился в Болиголово, как вдруг до моего уха долетел благовест к вечерне.

Софроний должен быть у вечерни! Значит, он уже возвратился из Болиголова!

И я снова поспешил обратно к дому.

Бежать я уже не мог, ибо ноги мои с трудом передвигались.

Когда я добрался до дому, вечерня уже отошла, и я тут только заметил, что уже наступали сумерки.

– Тимош! Тимош! – услышал я. Это мать меня кликала.

Я радостно вздрогнул, забыл свою крайнюю усталость и побежал на этот зов.

– Где ты целый день был, Тимош? – спросила мать. – Я хотела тебя с собой к Усте взять, да нигде тебя не нашла. Что, небось голоден? Вот тебе Устя пирожок прислала, – на!

Она подала мне пирожок с маком, – пирожок, предпочи-

таемый мною всем прочим пирожкам.

Но я только взял его, машинально оглядел и положил на стол.

– Мама, – сказал я, – отец ходил к бабушке, подписывал там бумагу!

– Какую бумагу? Какую бумагу?

Она встала с лавки, опять села, привлекла меня к себе и проговорила:

– Расскажи все! Все расскажи с начала!

Я ей все рассказал.

Она провела рукой по лбу, подумала; потом оказала мне:

– Посиди тут, Тимош, я сейчас приду.

Но я начал пламенно ее молить, да позволит за ней следовать, и, уцепясь за полы ее одежд, заклинал не повергать меня в отчаяние.

– Ну, хорошо! – проговорила она, – иди, только не говори никому, куда мы ходили.

Она взяла меня за руку, и мы пошли огородами.

– Мы куда? – спросил я.

– К Софронию, – отвечала она.

– Лучше вот тут пройдем, – тут ближе, – сказал я.

– Где? Увидят...

– Нет, не увидят! не увидят!

Я кинулся вперед и провел ее своими тайными ходами, – через лазейки и перекопы, благополучно.

У Софрония было темно и тихо. Мы постучались.

– Верно, его дома нет! – проговорил я с тоскою. Мать ничего мне не ответила и снова постучалась. Софроний появился на пороге.

Он пристально поглядел на нас и спросил:

– Что случилось?

– На вас донос! – прошептала моя мать. – Нынче...

– Войдите, – перебил он, отворяя двери в хату. Мы вошли.

Мать рассказала ему все слышанное от меня.

Софроний молча внимал ей. Он ни разу не дрогнул, не встрепенулся, и, сколько я мог видеть в полутьме сумерек, лицо его оставалось спокойно.

– Что ж вы будете делать? – спросила мать, окончив рассказ.

– Что ж делать? – ответил он. – Делать нечего.

– А вы бы попробовали... вы бы... сами написали... вы бы...

Слезы начинали ее душить. Она в отчаянии сплеснула руками и умолкла.

– Тут делать нечего, я знаю, – сказал Софроний.

Мать заплакала и проговорила:

– Ах, не так вам надо было обходиться! Не так! Вы сами себя головой выдали! Вы не сдержали сердца!

– Кабы на коня не спотычка, так ему бы и цены не было! – ответил на это Софроний с горькой усмешкой.

– Что ж теперь будет?

Он не ответил на это, а вместо ответа сказал:

– Спасибо вам!

Затем он погладил меня по голове и прибавил:

– Сын-то в вас: надежный друг!

Мать тихонько зарыдала, и мы от него ушли.

– Мама, – спросил я, – что с ним сделают?

– Не плачь, Тимош! – ответила она, – и никому не говори...

– Что с ним сделают? – настаивал я с отчаяньем.

– Я не знаю...

– Знаешь! – вскрикнул я, заливаясь слезами.

– Не знаю!.. Может, ушлют от нас... Тише, Тимош, тише, голубчик! Услышат...

Пришед домой, я совершенно изнемог, взобрался на постель и лежал неподвижно; слезы мои остановились, и я как-то отупел ко всему.

Мать неоднократно подходила ко мне и целовала меня, но я не в силах был ни пошевелиться, ни открыть глаз.

Наконец она, вероятно, приняла меня за спящего, ибо я слышал, как она прошептала надо мной:

– Спи! спи!

Осенила меня крестным знаменем и вышла.

Я не знаю, долго ли я лежал в помянутом тупом забытьи. Когда я пришел в более нормальное состояние и открыл глаза, месяц уже ярко сиял с пространных небес; мать, склонив голову на руки, сидела на пороге, а с попового двора неслись звуки бубенчиков и раздавался зычный голос Михаила Ми-

хаиловича, восклицающий:

– Да ведь это для прочих законы! А для меня какие законы? Я и без законов могу!

И вдруг, переходя в нежный тон:

– Ах, как вы жестоки, Ненила Еремеевна! Ах, сжальтесь надо мной, над страдальцем!

Я уже снова начинал забываться под эти звуки, вежды мои уж смыкались; вдруг стукнули наши двери. Я открыл глаза и увидел, как мать быстро вошла, бросилась на свое ложе и там словно замерла.

Едва она успела лечь, дверь осторожно, робко приотворилась, и вошел отец. Он было возвестил свой приход обычным тихим кашлем, но, кашлянув раз, тотчас же спохватился и зажал себе рот. Месячные лучи, падавшие в окно, ярко освещали его огорченное сморщенное лицо и всю его хилую, жалкую фигурку.

подавив свой кашель, он прислушался и тихонько, каким-то молящим голосом окликнул:

– Спите вы?

Мать не ответила. Я тоже.

Он долго прислушивался, потом прошептал:

– Спят, спят! О господи, боже мой!

Он присел у окна и долго сидел, подобный каменному изваянию.

Я никогда в жизнь свою, ни прежде, ни после, не видывал ничего жалче и вместе возмутительнее этой беспомощной,

пришибленной, бессильной фигуры.

Бубенчики на поповом дворе зазвенели сильнее, громко раздалось троекратное восклицание Михаила Михайловича:

– Ах! Я теперь блажен! Я теперь блажен!

Затем затопали кони, застучали колеса, пролетела тройка, за этой тройкой другая – и все смолкло.

«Кто же это еще поехал? – думал я. – Или это мне показалось, что две тройки?»

Едва успел смолкнуть топот конских копыт, как раздался топот человеческих ног, и пономарь, подбегая под наше окошечко, кричал – как он один умел кричать – как-то под сурдинкой, так что это был крик и шепот в одно и то же время, – он кричал:

– Отец дьякон! отец дьякон!

– Что? Тише! Тише! – шептал в ответ отец, высовываясь из окошечка, – тише!

– Всех увез?

– Кого всех? Как всех?

– Так всех! И самого, и самую, и невесту! «Не могу, говорит, прожить без нее и часу одного, – поедем со мной!» Они уговаривать, упрашивать – куды! не слушает, а потом сердиться уж начал. «Что, говорит, мне законы? Это, говорит, для прочих законы, а я, говорит, и без законов могу! Хочу, говорит, чтоб свадьба была в городе, да и конец!» Помилуйте, сделайте божескую милость, просят, ведь я приданое еще не готово! «А что мне, говорит, ваше приданое? Мне на ваше

приданое плевать! А коли, говорит, вы меня не уважите, так я, говорит, вам отплачу!» Так и увез. Да как уж расходился, так и Настю и Лизавету, говорит, берите, и пономаря берите! «Пускай, говорит, дорогой песни нам поют». Ну, это страшный человек, я вам скажу! Самовластительный человек!

– Тише! – говорил отец. – Тише! погоди, я лучше к тебе выйду...

Он на цыпочках вышел из светлицы.

Я тотчас спрыгнул с своего ложа и стал красться к дверям.

Прокрадываясь мимо матери, я вдруг почувствовал, что меня тихонько придерживают.

– Тимош! – прошептала мать, – куда ты?

– Я к Насте, – отвечал я. – Настя дома осталась...

– Нет, ты не ходи теперь к Насте, ты лучше теперь ко мне поди!

Она привлекла меня к себе.

В голосе ее было что-то такое, ясно давшее мне понять, что к Насте ходить теперь не следует.

К тому же я так был утомлен душевно и телесно, что, едва стоя на ногах, едва мог соображать самые простые вещи.

Я лег около нее, прильнул головой к родной груди и в ту же минуту начал забываться сном.

Сквозь сон я еще слышал восклицания пономаря, долетавшие со двора в открытое окошечко:

– Самовластительный человек! самовластительный человек!

Глава восьмая

Десница божия

На другой день после вышеописанных смотрин меня пробудили от она сладостные звуки милого мне голоса.

Открыв глаза, я увидел Настю. Она, повидимому, прощалась.

– Я уж к вам не приду, – говорила Настя, – не хочу накликать на вас беду.

Изумленный и обрадованный, я быстро приподнялся, подушка выскользнула из-под меня и упала на пол. Настя оглянулась.

– А! – сказала она с своею пленительною улыбкою. – Пора проснуться, пора.

И, пригнувшись, поцеловала меня.

– Так вы уж и порешили? – спросила мать.

– Порешили, – отвечала Настя.

Мать хотела что-то сказать еще, но ничего не сказала, только вздохнула.

Настя, вероятно, уразумела смысл этого вздоха, потому что ответила:

– Я знаю, все знаю. И на все иду.

– И я так-то говорила, и я на все шла, что ж я этим взяла? – возразила мать.

– И я, может, ничего не возьму, – ответила Настя. – Что

ж! пусть я и ничего не возьму, – я все-таки жалеть не стану!

– Тяжело терпеть целый век!

– Я не боюсь!

И с этим словом она скрылась.

– Мама! – кликнул я.

– Что, Тимош?

– Настя знает?

– Про что?

– Про бумагу?

– Знает... Ты забудь про эту бумагу, Тимош...

– Что ж, она плакала?

– Не знаю... забудь ты, голубчик... не думай...

Вошел отец, и мы замолчали.

– А я уж на мельницу съездил, – сказал он дрожащим заискивающим голосом. – Чуть свет нынче встал... и поехал... Ну, и был на мельнице... смолол...

Он говорил это, глядя то в тот, то в другой угол; потом он кинул быстрый взгляд на мать и на меня, лицо его все покраснело, и он поспешно вышел из дому.

Я взглянул на мать и вспомнил ее недавние, сказанные Насте, слова: «Тяжело терпеть целый век!»

Я спросил ее:

– Ничего не надо говорить отцу?

– Не надо! – ответила она с живостью. – Не надо... зачем?... Не говори ничего...

– Не скажу...

– Да ты забудь про все про это, Тимош, забудь, милый!..
Все это... все это не стоит помнить...

– Я этого не могу забыть, – отвечал я: – я как на него гляну, так сейчас все вспомню!

– Ты забудь, забудь! – повторила она еще раз, целуя меня с тоскою и смятением.

«А ты забудешь?» – хотел я спросить. Но она, как бы угадав этот мой вопрос, поспешно прибавила:

– Полно об этом толковать, Тимош! Ты лучше вставай скорей да одевайся, – гляди, какво на дворе хорошо!

И вслед за тем она вышла и занялась работой в огороде.

На дворе, точно, было хорошо, и я, дохнув живительным воздухом, как бы почувствовал облегчение своему сердцу; как бы некая надежда, некое упование блеснули вдали.

«Так хорошо везде! – подумал я: – и вдруг его увезут!»

И в эту минуту мне показалась всякая беда невозможною, всякое горе немислимым.

В особенности же показались мне беда невозможна, а горе немислимо, когда я, считая позволительным не противиться душевному влечению, вошел в хату Софрония и увидел его там с Настею.

Я сам не мог себе уяснить тогда, что именно меня поразило, но, вошед, я остался поражен и почувствовал, что тут все, что может жизнь дать человеку для его личного счастья.

Когда я отворил двери, они не сразу услышали мой приход. Они сидели у стола и говорили. Возмогу ли передать

выраженья их лиц? В них не было ликования; глаза, правда, изумительно блестели, но не разбегались во все стороны, не прыгали, не искрились, уста не улыбались, – но они дышали такую жизнь, что, глядя на них, вчуже пробирала дрожь и захватывало дыхание.

Эта темная хатка, и она даже преобразилась: казалось, по ней ходят какие-то лучи, какое-то сияние...

Я услышал последние слова из ответа Насти:

– ...будет. На добре передачи нет: какая плата дорогая ни будет, – не пожалеешь.

Тут они увидели меня, и оба встретили меня приветливо.

Но я, невзирая на детское несмыслие и пламенное желание насладиться их присутствием, тотчас же ушел.

«Буду ли я когда-либо так с кем-либо разговаривать?» – думал я с грустью.

Я вдруг уразумел с отличною ясностью, что тройной неразрывный союз, о коем я мечтал и коего я жаждал, несбыточен, что они друг для друга все, а я для них – ничего.

Такое прозрение нимало не убавило и не охладило моей им преданности, но оно исполнило меня смирением и тихой грустью.

«Когда они вместе, я не буду к ним подходить, – думал я со вздохом: – а буду подходить, когда они в одиночку. Вместе им без меня хорошо... лучше... так подходить тогда не надо»...

И от этой мысли я переходил к другой:

«Будет когда-нибудь, в далеком будущем, кто-нибудь, с кем я буду так говорить, как они говорят друг с другом? И с кем я ничего на свете не буду страшиться?»

Прошло три дня, прошло четыре; отец Еремей с супругою не возвращались.

– Пируют! пируют! – говорил пономарь, попрежнему забегавший к отцу.

Пономарь не мог не уразуметь, что мать моя избегает его присутствия и гнушается им, но пономарь уподоблялся известному в народной сказке ярмарочному псу: он похищал у мясника кусок мяса, глотал его где-нибудь в уголку, а затем являлся снова у прилавка, и весело вилял хвостом, и глядел на мясника ясными глазами, и шаловливо подергивал его зубами за полы, и клал ему лапы на плеча.

Подобно, помянутому ярмарочному псу, пономарь весело спрашивал мою мать, встречаясь с нею:

– Как вы в своем здравии, Катерина Ивановна?

И глядел на нее ясными глазами.

И встретясь с Софронием, он тоже кричал ему:

– Здорово, Софроний Васильевич! Денек-то благодатный какой!

Но я заметил, он близко к Софронию не подходил, и вообще, когда представлялась возможность юркнуть в сторону и не встретиться, он ею пользовался.

Отец мой стал жаловаться на боль в пояснице и почти по целым дням лежал на лавке, прикрыв лицо полотенцем и ти-

хо стена и охая.

Настю и Софрония я видал только издали, мельком; я знал, что они неразлучны, что даже вместе ходили в гости к Грицку на село.

Этот последний факт сообщила матери Лизавета в моем присутствии.

Мать ничего не ответила, но Лизавета, как бы угадывая, какое должно быть на это возражение, сказала:

– Что ж! пусть их отпоют, сколько голосу хватит! Что ж! семи смертей не бывать, одной не миновать.

В тот же вечер пономарь, прибежав к отцу, шептал ему:

– Ну, отец дьякон! Ну! какие дела на свете делаются, так, я вам скажу, мое почтение! Ну!

– Что такое? – спросил отец слабым, тоскливым шепотом. – Что еще такое?

– Быть беде! быть беде! – отвечал пономарь. – А что, вы Настасью Еремеевну не видали давно?

На шестой день, под вечер, я гулял по лесу в обществе молодой ручной галки, которую приобрел, дабы несколько рассеять свою грусть и тревогу.

Но хотя галка ни в чем не обманула моих ожиданий, – она вскакивала мне на плечо, на мой голос тотчас же возвращалась из кустов и прочее, она меня не развеселяла. Я скоро перестал обращать внимание на пернатую спутницу и, грустно бродя по зеленой чаще, снова задавал себе мысленно вопрос:

«Будет ли у меня с кем так говорить, как они говорят?»

Из помянутых грустных мечтаний пробудил меня топот коней и стук колес.

– Едут! – воскликнул я и похолодел. Придя же в себя, кинулся бежать домой.

– Едут! – сказал я матери.

Она только кивнула мне головой, давая понять, что уж знает.

На поповом крылечке стояла одна Лизавета.

Знакомая тележка с резным задком скоро показалась из лесу, и послышались меланхолические покрикивания Прохора, и тележка подъехала к крыльцу.

В тележке сидел отец Еремей с супругою.

– А Ненила-то Еремеевна где ж? – вскрикнул, как бы внешне выросший около тележки, пономарь. – С приездом, бабюшка, благословите! с приездом, матушка! Дай боже в добрый час! А Ненила-то Еремеевна где ж? Улетела наша пташечка?

– Улетела! – ответила иерейша, вылезая вслед за супругом из тележки. – Улетела!

– Бракосочетанье совершили?

– Совершили. Что же с ним сделаешь? «Не могу, говорит, ни минуты ждать, – не могу, и конец! Какие, говорит, для меня законы? Я, говорит, и без законов...»

– Это точно, это точно: какие для них законы! Они и без законов...

– Разумеется! Да где же это Настя? Настя!

– Позвольте принести душевное поздравление, батюшка! – умильно заговорил пономарь, кидаясь к отцу Еремею.

– Спасибо, спасибо, – ответил отец Еремей и скрылся во внутренность жилища.

– Где ж это Настя? Лизавета, где Настя? Подавай-ка самовар попроворней! Где Настя?

– Надо полагать, Настасья Еремеевна гуляют по лесу, – сказал пономарь. – Они теперь очень часто стали гулять по лесу...

– Что это за гулянье теперь! Что за полуношница такая!

Настя появилась на тропинке.

– Что это ты за полуношница такая! – крикнула ей иерейша. – Что это ты за гулянье выдумала!

Однако, когда Настя приблизилась, она встретила ее троекратным поцелуем и, еще исполненная упоенья недавними торжествами, начала ей рассказывать о совершившемся бракосочетании.

– Какие кушанья были! – говорила она, – какие вина и напитки! И гостей он созвал каких! и какое ему от всех духовных уважение! Кивнет только, – так все и рассыпаются, как мак! А подарки какие он отличные накопил! Так деньгами и сорит! Я уж говорила Нениле: ты, говорю, смотри, его приостанавливай! И певчие у него весь вечер пели, и орган играл, – рай был настоящий!

– Ах, боже мой, боже мой! – восклицал пономарь. – Уж

подлинно рай! Пошли господи и Настасье Еремеевне такое счастье!

– Пошлет и Настасье Еремеевне! – ответила с уверенностью попадья. – Пошлет! Теперь уж мы печалиться этим не будем! Теперь молодые наши поехали...

– К его преосвященству? – перебил пономарь с восторгом.

– Да. А как воротятся, сейчас к нам будут.

– Владыко господи! честь-то какая!

– Что ж ты молчишь, Настя? Да ты бледная какая! Глянь-ка, глянь! Ты нездорова, что ли?

– Нет, ничего, я здорова, – ответила Настя.

– Может, простудились гуляючи? – вмешался пономарь.

Лизавета появилась на пороге и сказала:

– Самовар готов! Батюшка вас кличет чай пить.

– Иду, иду, – отвечала иерейша.

– Счастливо оставаться! – умильно раскланивался пономарь. – Счастливо оставаться!

Крылечко опустело.

– Что теперь будет? – спросил я мать.

Но мать мне на это не ответила, а только поцеловала и погладила по головке.

Я сел около нее на пороге и погрузился в размышления.

Снова раздавшийся конский топот заставил меня поднять голову.

На тряской телеге, запряженной парюю, кто-то ехал прямо к попову двору.

Из телеги вышли двое сильных здоровых людей высокого роста и направились к иерейскому крылечку.

– Чего вам надо? – спросила появившаяся на пороге Лизавета.

– Мы к батюшке, – проговорил один из них угрюмым охрипшим басом. – Мы по делу...

Но отец Еремей уже появился сам на пороге и приказал им за собой следовать вовнутрь жилища.

Приезжие недолго пробыли у отца Еремея. Скоро они снова появились на крылечке.

– Вон там! – сказал отец Еремей, указывая перстом на Софрониеву хату.

Приезжие двинулись к хате, и, подойдя к дверям, один из них крикнул:

– Дьячок Софроний!

– Тут, – отвечал голос Софрония. Послышался стук отворяемой и затворяемой двери.

Я вырвался из рук матери и кинулся туда.

– Вяжите, – говорил Софроний, – только за что вы меня вяжете? Какая моя вина?

– А вот там узнаешь! – угрюмо хрипел бас.

– Буйство тебя, дружка, сгубило! – шутливо хрипел тенор.

Двери, толкнутые ногою, распахнулись; они вывели Софрония с связанными руками и вместе с узником направились обратно к попову крылечку.

Отец Еремей стоял и ждал.

– Отец наш небесный заповедал прощать врагам, – сказал он, когда Софрония привели и поставили пред лицо его, – и я тебя прощаю, Софроний! Но помни теперь, что господь злых дел не терпит, и десница его карает за них!

Он говорил своим обычным мягким пастырским голосом, и во мгле сумерек я мог различить, как он простирает пухлую руку в пространство.

– Научись смирять дерзость твоего духа, Софроний! Припади со слезами к стопам святых угодников, да снизойдет на тебя благодать, да...

Он не закончил и вдруг обернулся, как бы ужаленный.

За ним стояла Настя, подошедшая неслышными шагами, и тихо что-то ему говорила.

Он, казалось, не понимал, не верил своим ушам. Лицо, только что дышавшее христианской любовью, исказилось, и всего его начало трясти, как в лихорадке.

– Ну, везите его! – крикнул он не своим благим, а каким-то диким голосом. – Везите!

– Батюшка, – сказала Настя, – прежде покройте наш грех, перевенчайте нас!

Каждое ее слово звучало внятно, громко, ровно.

– Везите его! – крикнул отец Еремей. – Везите! Видите, она умом тронулась... Она у нас... она у нас больная...

Он хотел схватить ее, но она вырвалась из его рук, подбежала к Софронию, обняла его и что-то ему шепнула, а потом прижалась к его груди и как бы замерла.

На шум выбежала иерейша и подняла вопль. Раздались хриплые бас и тенор, прозвучал нежный голос Насти: «Не забывай, я не забуду!», оханье пономаря – сгустившиеся сумерки скрывали все – я только видел быстрое движение теней.

Забыв о собственной безопасности, не внимая молениям матери, я одним прыжком очутился у попова крылечка.

Телега уж съезжала со двора.

– Софроний! Софроний! – крикнул я, обезумев от горя.

– Прощай, Тимош! – ответил он. – Авось еще свидимся!

– Ведите ее! ведите! – говорил отец Еремей.

– Проклятая! Проклятая! – кричала иерейша.

– Ведем! ведем! – пищал жалобно пономарь. – Ох!

– Зачем меня вести? – прозвучал голос Насти. – Я сама пойду.

Лизавета вынесла свечу, и ее трепетный свет на мгновение озарил потерянную, рыдающую и клянущую иерейшу, пономаря с приличным обстоятельству выражением сочувствия и ужаса, искаженный лик пастыря и пленительный образ Насти, белейший от белого мрамора и, подобно мрамору, спокойный.

– Будь проклята! будь проклята! – кричала иерейша.

– Не проклинай! – останавливал отец Еремей. – Господь посылает испытание, да примем его с кротостию, и да воскликнем с многострадальным Иовом: господь даде, господь и отъя!

Всю эту ужаснейшую ночь я провел почти без сна, и едва показались бледные лучи рассвета, я начал бродить около иерейского жилища, уповая на что, я сам не ведал.

В иерейском жилище царствовала могильная тишина.

Наконец появилась Лизавета с куриным кормом и иачала скликать цыплят.

Я подошел к ней и сказал умоляющим голосом:

– Что Настя?

– А я почему знаю, что теперь Настя? – ответила Лизавета: – Настю увезли!

– Увезли?! Куда?

– А кто их знает? *Сам* повез. Ухватил в полночь и повез.

– Что ж она?

– Ничего.

– Не плакала?

– Нет. *Он* ее все за руку вел, а она приостановилась. «Прощай, – говорит мне. – Кто меня вспомнит, поклонись...»

Тут я оканчиваю первый отрывок из отроческих моих воспоминаний.

Отрывок второй

Глава первая

Упадок духа и новое испытание

Утратив драгоценных мне Настю и Софрония, я первые дни впал как бы в некое оцепенение, перемежавшееся неистовыми проявлениями горести и негодования, сильно тревожившими мою мать и несказанно пугавшими моего отца.

Но с течением времени я мало-помалу начал приходить в себя, и мятежные порывы заменились глубоким, тихим и угрюмым унынием.

Напрасно ласкала меня мать, — я отвечал на ее ласки, бывал нередко растроган ими до слез, чтил и любил ее нежнее и бережнее прежнего, как единственного, еще не отнятого у меня друга, но это меланхолии и тоски моей не рассеивало; напрасно отец пытался утешать меня различного рода дарами, начиная от медовиков до салазок на предстоящую зиму, — все его приношения и попечения были мне невыразимо тягостны и отравляли, так сказать, мою грусть.

Именно отравляли, ибо, с одной стороны, характер человека внушал мне непобедимое никакими усилиями и само-

увещаниями отвращение, с другой же стороны, детская привычка и сыновняя привязанность производили свое надлежащее действие, и часто я, видя его тоскливую угодливость и робкое за мною ухаживанье, преисполнялся жалостию к жалкому виновнику дней моих и не имел духу отстранить его слабых, дрожащих, обнимающих меня рук.

Не могу здесь не выразить некоторых моих мыслей о так называемых «добрых, честных, но слабых людях».

По моему мнению и наблюдениям, страданья и вред, причиняемые вышепомянутыми «добрыми, честными, но слабыми людьми», превосходят даже зло, причиняемое отъявленными ворами и разбойниками, ибо отъявленных я с спокойной совестью схватываю за шиворот, но что сотворю я с «добрым, честным, но слабым человеком», поймав его на месте преступления?

Еще я не прикоснулся к нему, еще слова не изрек, как он уже сам бежит ко мне, источая потоки слез и отчаянным лепетом давая понять свое горькое раскаяние.

Руки у меня опускаются, и я в исступлении своем могу только роптать на творца, создавшего подобную тварь.

Горе тому, кто связан с подобною тварию узами родства, дружбы или любви! Он осужден на невыразимое терзание видеть в близком ему существе подобие тряпицы, которую первая злонамеренная десница может ввергнуть во всякую грязь, между тем как он, извлекая это подобие тряпицы и тщательно выполаскивая, со скрежетом зубов помышляет в

сердце своем: «Ведь это ненадолго я отмываю! Ведь это до первого случая!» Суровый разум гласит ему: «Брось! не марай своих рук напрасно!» Но снисходительное, слабое сердце шепчет: «Попробуй, попробуй еще раз! А может стать-ся... может стать-ся...» И он, хотя со скрежетом зубов, но всю свою жизнь продолжает отмывать и отчищать любезное ему подобие тряпицы!

Я употреблял все ухищрения моего ума, дабы разведать о судьбе Насти и Софрония, но ничего, на что бы я мог возложить веселящие или хотя подкрепляющие дух упования, не узнал.

Прохор довез отца Еремея и Настю до города, откуда был отправлен обратно в Терны. Он мог только сообщить мне следующие сведения.

Он довез отца Еремея и Настю благополучно. Всю дорогу сдоки его пребывали в молчании, только время от времени отец Еремей отдавал ему приказание погонять лошадей. Ночь была темная, и шел маленький дождичек. Вскоре после восхода солнечного они достигли города, направились по указанию отца Еремея к постоялому двору и у ворот помянутого двора остановились. Отец Еремей сошел с тележки и, обратясь к Насте, сказал: «Сходи!», чему она беспрекословно повиновалась. Небо тогда совершенно прояснилось, солнце ярко сияло с небес, и он, Прохор, взглянув пристально на лицо Насти, никаких следов слез ниже отчаяния на нем не заметил. Девушка казалась только сильно утомленной и бы-

ла очень бледна. Отец Еремей тоже не обнаруживал ни движениями, ни взглядом, ни звуком голоса каких-либо особых признаков ярости или сокрушения. Он с обычной ему пастырскою благостию сложил персты и благословил вышедших ему навстречу хозяина и хозяйку, спросил их о здоровье, о благополучном теченье жизни, о преуспеянье в торговле, затем выразил желание отдохнуть после утомительного пути и, отдав Прохору приказание кормить лошадей, удалился вместе с Настею в особую комнату.

Едва успела тележка остановиться у крыльца постоянного двора, как уже с разных концов улицы принеслось по резовому сыну Израиля с охапками разных товаров, которые они умильно, но энергически начали совать отцу Еремею и Насте.

– Прохор, разгони их! – сказал отец Еремей.

Прохор взмахнул кнутом.

Сыны Израиля удалились, но не совсем, а только на безопасное расстояние.

Пока хозяин брал ключи от амбара, Прохор глядел на улицу и видел, что сыны Израиля опять приближаются.

Он хотел было опять взяться за свое оружие, но отец Еремей, высунувшись из окна, знаком десницы повелел израильтянам к себе приблизиться.

Израильтяне подлетели к окошку, как перья, подхваченные сильным порывом ветра, и Прохор слышал, как отец Еремей сказал им:

– Кто у вас тут извозничает? Призовите ко мне хорошего извозчика.

– Кула батюшка изволит ехать? Куда батюшке угодно ехать? – зачастили израильтяне.

Ответа Прохор не слышал, ибо в эту минуту явился хозяин с ключами и увлек его в амбар за овсом.

Задав корму лошадям, он, Прохор, возвратился и увидел, что не только сени постоянного двора кишат пейсами и черно-сливоподобными, разгоревшимися от чаяния близкой прибыли, очами, но и все крыльцо и все пространство перед крыльцом покрыто ими. Слух его поражен был резвым шарканьем туфель вблизи и торопливым топотом издали. С противоположных концов улицы стремились, с резвостию легких антилоп, израильтяне в развевающихся долгополых одежаниях.

В то мгновение, когда один из них, желая перепрыгнуть через высокий порог, подскочил в воздухе, Прохор схватил его за полу и, придерживая на месте, сказал:

– Куда ты? Ты не туда бежишь!

– Как не туда? Как не туда? – воскликнул израильтянин. – Пусти, пусти! Фуй, какой глупый мужик! Пусти!

– Говорят тебе, не туда бежишь! Тут никого нет!

– Как никого нет? Как никого нет? – закричали другие иадбежавшие израильтяне. – Здесь батюшка остановился!

– Какой батюшка?

– А что в Киев нанимает!

– В Киев?

– Как смеешь не пускать, глупый мужик! Грубиян!

– Пусти! пусти!

Прохор, довольный тем, что узнал, не стал долее преграждать им пути и возвратился в кухню, дабы подкрепить свои силы пищею.

Удовлетворив голод, Прохор пробрался сквозь сонмище детей Авраамовых, достиг до дверей покоя, куда удалился отец Еремей, и стал вслушиваться.

Сквозь израильский взволнованный говор, напоминающий звук мелких монеток, потрясаемых в мешке проворною десницею, Прохор различил голос отца Еремея, который решительным тоном говорил:

– Ну, даю десять рублей, и ни копейки не набавлю!

На что в ответ ему из толпы детей Авраама раздался вопль горестного изумления, а за помянутым воплем хоровые восклицания:

– Как же можно! Как же можно! Ах, как же можно!

Отец Еремей паки:

– Десять рублей, и ни копейки не набавлю!

Хор паки:

– Как же можно! Как же можно! Ах, как же можно!

Торги длились довольно долгое время, так что Прохор мог достаточно наблюдать за Настею, сидевшею у окна.

Она сидела неподвижна, бледна, казалось, не внимала, что кругом нее говорится, не видала, что происходит, и погру-

жена была в глубочайшую задумчивость.

Раз она, как бы очнувшись от сна, пошевелинулась, окинула все и всех пристальным взглядом и, распахнув окно, всей грудью вдохнула струю свежего воздуха, но отец Еремей, хотя не обращавший на дочь взоров, но тем не менее зорко следивший за малейшим ее движением, тотчас же покинул диван, с высоты коего торговался, приблизился к окну, плотно притворил его и задвинул задвижкой, заметив, что сквозной ветер производит у него ломоту в плече.

Настя при этом не выказала ни малейшего неудовольствия; только когда родитель приблизился, она поспешно отодвинулась, как бы от ползущего гада.

Затем она снова приняла свое прежнее задумчивое положение.

Прохор старался обратить на себя ее внимание легким покашливанием, но безуспешно.

Но отец Еремей не замедлил его заметить на третьем же покашливанье и, спросив у него, покормил ли он лошадей, отдал ему приказание немедленно собраться и отправляться в обратный путь.

Съезжая со двора, Прохор еще слышал убеждающее израильское жужжанье, глас отца Еремея, с неуклонною твердостью возглашавший: «Не набавлю ни копейки больше!», и смятенные восклицания:

– Как же можно! Как же можно! Ах-ах, как же можно!

Коль часто Прохор, склоняемый моими страстными моль-

бами, подкрепляемыми посильными приношениями, состоявшими из лепешек на сметане, пирогов, сладостей и тому подобных домашних произведений, повторял мне этот рассказ!

Тронутый моею горестию, польщенный вниманием, с каким я ловил каждое слово, слетавшее с его уст, а также желая сохранить за собою хотя смиренный, но приятный для него доход, Прохор мало-помалу начал разнообразить свое повествование вводными эпизодами: чертил мне портреты торговавшихся израильтян, хозяина и хозяйки постоянного двора, цепной серой собаки, а также присовокуплял к этому описание самого постоянного двора, близ находящейся мелочной лавочки и других городских достопримечательностей, какие он успел заметить.

Рассказывал он мне обыкновенно, сидя в картофельной яме за поповым огородом, где, если помнит любезный читатель, хранился у него тайный склад хворосту, соломы, очерету, ниток и иголок и куда он, обманув бдительность Македонской, скрывался для плетения соломенных шляп, хворостниковых корзин и очеретовых котиков.

Усевшись около него, я скрепя сердце слушал вводные эпизоды, неинтересные для меня описания и изображения, прерывая их время от времени тоскливым вопросом:

– А Настя? А Настя что?

– Настя все ничего, – отвечал он, прилежно и быстро переплетая соломинки или хворост. – Настя все ничего; сидит

и думает.

И он снова принимался за повествование, а я, внимая ему, с жгучею печалию начинал представлять себе драгоценную сердцу моему девушку, как она сидела и думала, и разные выводить заключения, что она именно в те минуты, о чем, о ком думала?

Но скоро с трудом собранный запас терпенья у меня истощался, и я снова прерывал повествование скорбным вопросом:

– Так, значит, он повез ее в Киев?

– Надо полагать, что в Киев, – отвечал беспечный парень.

– Зачем?

– Кто его знает! Может, на богомолье.

– Так, может, Настя назад с ним приедет?

– Не знаю. Может, и приедет.

При единой мысли о возможности столь несравненной радости сердце мое начинало ускоренно биться и глаза наполнялись слезами.

Но вслед за минутно промелькнувшим лучом сладостной надежды мною овладевало пущее отчаяние. И часто случалось, что, не в силах будучи преодолеть сокрушения своего, я испускал тяжелый вздох или тихое стенание.

– А что, или жалко Насти? – спрашивал Прохор. – Мне самому ее жалко: умница была девушка, хорошая!

Я обыкновенно на это безмолвствовал, страшась выдать свое волнение, но однажды переполненное горечью сердце

не выдержало, и я отчаянно воскликнул:

– Хорошая, а вот... вот она пропала!

– Хорошие всегда пропадают, – с философским хладнокровием ответил Прохор. – Ведьма какая-нибудь, так той ничего не поделается, а хорошие всегда...

– Как всегда? – воскликнул я. – Отчего всегда?

– Да уж так свет стоит! – объяснил Прохор, тщательно выгибая очерет полумесяцем.

– Да почему ж так свет стоит? – добивался я с превеликим волнением.

– Да уж так поставлен, – ответил Прохор. – Хорошему человеку всегда беда на свете.

И он вздохнул, видимо причисляя себя этим вздохом к числу хороших людей.

– Ты еще не знаешь, каково нам жить на свете, – продолжал он, – не понимаешь, что она за жизнь-то!

Я с завистливым удивлением долгое время вглядывался в цветущее здоровьем, луноподобное лицо философствующего и думал:

«Нет, это *ты* не знаешь, а я знаю!»

Однажды, как опытный вождь, не раз побитый наголову в сражениях, вопрошает легкомысленного, рассуждающего понаслышке о грозных битвах, я с горечью спросил его:

– А ты почему знаешь, Прохор?

– Как почему? По всем знаю!

– Ну, ты расскажи мне, почему?

В первый раз, когда я предложил этот вопрос, Прохор сначала несколько озадачился и удовольствовался тем, что повторил неоднократно:

– Как почему? Да по всем!

Но во второй раз он мне ответил:

– Что ты все пристаешь: почему да почему! Поживи-ка с мое, так узнаешь! Наймись-ка батраком к попу да потанцуй перед попадьей!

Но как бы почувствовав, что подобное положение еще не есть верх бедствий, он начал мне рассказывать о своей встрече с тирольским быком одного помещика, который чуть его не поднял на рога; потом о встрече с волком, потом с медведем и наконец, увлеченный фантазией, – о встрече с искусителем рода человеческого, который будто бы предстал перед ним в образе черного козла с железными копытами одним темным поздним вечером около мельницы, где он поил попову серую кобылу.

Но я, внимая ему, с вящею горечью думал:

«О ты, блаженный смертный! ты не знаешь, что такое тоска по драгоценных сердцу! Ты не ведаешь, что такое бессильный гнев и беспомощность!»

Окончив потрясающее повествование и увидав на лице моем одно унылое равнодушие к слышанному, Прохор несколько омрачился.

– Блажной ты малый! – сказал он мне не без суровости. Я, не возражая, встал и удалился из картофельной ямы. Ко-

гда я достигал до краев этого убежища, густо обросших лопухом, крапивою, колючими татарскими шапками и другим тому подобным зелием, я услышал из глубины торопливый громкий шепот Прохора:

– Куда же ты? Куда? воротись!

Но я не внял этому зову. Я желал быть один и тихо направил стопы свои к свежо шумящему лесу.

Дело в том, что рассказы о волках, медведях, бесовских наваждениях, прежде столь сильно меня потрясавшие, уже не занимали меня нисколько. Явись мне в ту эпоху жгучей тоски враг рода человеческого в образе ли черного козла или приняв личину еще более ужасную, я, мню, только бы посмотрел на него с безучастным, равнодушным любопытством. Ничто постороннее, то есть прямо не причастное моему горю, не имело силы заставить меня вострепетать ужасом, довольством или отчаянием: я для всего был глух и бесчувственен.

Знай Прохор сердце человеческое глубже, он бы понял, что для моего огорченного духа самое простое повторение дорогого имени было несравненно отраднее всех прочих, на свете существующих былей и небылиц; но счастливый юноша этот сердца человеческого не знал, а равно не ведал и страстей, сердце обуревающих, и приписал скоро последовавшее удаление мое не нравственной потребности избавиться от тягостного, не разумеющего моих душевных мук, собеседника, а проснувшемуся во мне животному стремле-

нию к наполнению желудка возможно большим количеством лепешек и пирогов.

Встретив меня, печально бродящего под кущами дерев, он, с возможною при его добродушии язвительностию, восклицал:

– Жалко стало лепешки-то! Эх, ты! Уж правда, что поповские глаза!

И хотя бы я с рассвета ничего не вкушал, он, ударяя меня то по одному, то по другому боку, прибавлял:

– Ишь, даже из боков уж прет! Ну, подлинно поповские глаза!

Волнуемый тоскою и неизвестностию о судьбе мне драгоценных, я не возмог принять подобные несправедливые укеры с должной христианской кротостию, и свидания в картофельной яме совершенно прекратились.

Я ни разу не поскорбел о том, ибо волновавший мое сердце рассказ столь часто и столь подробно был повторен Прохором, что в нем не могло быть никаких опущений. Иногда, сидя под тенью терновских деревьев и уносясь воображением на постоялый двор, где сидела у окна Настя, я столь живо представлял себе всю окружающую ее картину, что, казалось мне, слышал торопливый топот сынов Авраама, резво сбегавшихся на скудную добычу, и возгласы самого Прохора, доказывающего торговке бубликами чудовищность цен, наложенных ею на товар, и обещающего ей за то достойное по греховности возмездие.

Между тем дни проходили, а отец Еремей все не возвращался.

Последние происшествия сильно потрясли Македонскую, однако она крепилась, и унынию не поддавалась окончательно: не менее громогласно оглашались терновские окрестности ее проклятиями, – быть может, даже пронзительнее и непрестаннее они раздавались, ибо она пыталась теперь заглушить свою горесть усиленной хозяйственной деятельностью.

Я, впрочем, не замедлил заметить некоторые признаки, свидетельствовавшие о ее душевном расстройстве. Так, например, род вечер она как-то особенно теперь утомлялась, садилась на крылечке и подолгу отдыхала.

С нею, конечно, случалось это и в прежние времена, но в прежние времена это у нее выражалось иначе.

Тогда она и в минуты отдыха сохраняла более или менее свою неугомонность, потягиваясь, зевала, нарекала на труды не по силам, на всеобщую леность и прочее тому подобное, но теперь она сидела тихо и смиренно, как бы только представляя грозное изображение прежней воинственной жены; теперь она обращалась к мимоидущим уже не с прежними строптивыми вопросами: «Куда несет?», «Где шатался?», а с задумчивыми восклицаниями: «Какой вечерок благодатный!» или: «Славное у нас нынче лето стоит!»

Между тем неоскудный в коварствах пономарь, пользуясь минутами мягкого настроения огорченного ее духа, рассы-

пался, как говорится в простонародье, мельче маку и незаметно овладевал ее доверием. При всяком удобном случае он с истинно бесовскою ловкостью присосеживался к ней и вступал в разговоры.

Мне случалось издали не раз наблюдать за ними, и всегда он мне напоминал проворного паучка, опутывающего в сеть своей паутины несносную, но простодушную большую муху, так называемую *жуужжалку*.

Уразумев, что Македонская, как это часто бывает с людьми глубоко уязвленными и старающимися свое уязвление затаить и подавить, благосклоннее всего склоняет слух свой на рассуждения о тяготах земной жизни и прочих тому подобных выпренности, позволяющих сетовать, так сказать, без обозначения своей раны, – он тотчас же и завел сообразный тому глас,

Сидит, например, Македонская, подперши побледневшую ланиту дланью, и вдруг слышит как бы журчанье медовой струи:

– Здравствуйте, матушка! Ох! Ох!

– Здравствуй, Василич, – отвечает встрепенувшаяся жена, как бы пробудясь от дремоты.

– Ох-ох-ох!

– Чего это ты так охаешь?

– Изморился как я, матушка, одному то господу богу известно! Как подумаешь, матушка, так поистине тяжело жить на свете! Ох, как тяжело!

– И правда твоя, Василич: тяжело! – отвечает она, уже не подавляя вздоха.

– Господь испытует, матушка. Земные испытанья посылает!

– Посылает, Василич!

– Пострадали, потерпели на земле... възрыдаем и восплачем... И будем уповать на царствие небесное!

Она утвердительно, но рассеянно кивает головою.

– Все земное прах, матушка, один прах как есть... Человек живет, аки свеча горит...

Она снова так же утвердительно и так же рассеянно кивает головой.

– Прах, матушка, суета сует и всяческая суета!

И, лицедействуя, он томно возводит свои лукавые моргающие глазки горе и воздымает к небу крючкообразные руки, как бы желая вознестись в мир лучший.

Иногда он не подкрадывался, а прямо подходил к крылечку, жалобно восклицая:

– Вот едва иду, матушка! Ох! Как вас господь милует? А я, мочи нет, как головой мучусь! Уж поистине скажу, что чаша юдоль подлинно юдоль плача и въздыхания!

Иногда он простирал свое коварство до того, что не шел, а, так сказать, влекся, едва переступая и на каждом шагу как бы содрогаясь от нестерпимой боли, и, стеная, поведывал о вывихе.

Или же обматывал убрсом как бы расшибленную руку.

Или же, являя все признаки смятения, просил поглядеть в его левое око, которое будто бы утратило драгоценную способность созерцать мир божий.

Но почто вычислять все его бесовские лукавства?

Лицедействуя, он говорил:

– Терплю, не жалуясь!.. В терпенье стяжаем венец славы... Многострадальный Иов терпел... до конца терпел...

Затем лицедей со многими вздохами оповедывал страдания Иова, а она слушала и все так же задумчиво и рассеянно кивала головою.

От бедствий многострадального Иова он переходил к событиям более современным и к людям ближе знакомым. Он вызывал из памяти все когда-либо приключившиеся в окрестностях катастрофы – пожары, несчастные случаи, грабежи, разоренья, самоубийства.

А она все слушала и все так же кивала головою. Погрузив ее, так сказать, в бездну людских напастей, он вдруг восклицал:

– А что это теперь наши молодые, матушка? Хоть бы одним глазком на них глянул! Несказанные, должно полагать, они там радости и почести имеют!

Лицо иерейши прояснялось.

– Парочка-то их какая! На удивленье миру! Надо полагать, матушка, там их пожалуйт прекрасными дарами!

На лице иерейши появлялась даже улыбка.

– Ох, матушка! Как я подумаю, так сердце у меня, словно

пташка, вот так и прыгает, так и прыгает... Дай бог Нениле Еремеевне и Михаилу Михайловичу! Дай бог! Я за них денно и ночью молитвы возношу к престолу всевышнего творца!

– Спасибо, Василич, спасибо!

– На кого ж мне больше и радоваться, матушка, Варвара Иосифовна? Скажите, на кого? Ни роду у меня, ни племени, только одни вы сияете, как одно солнышко на небе!

– Спасибо, спасибо, Василич!

– Теперь, матушка, надо нам скуфеечку дожидать: того и гляди пожалует! Уж, верно, не оставит нашего отца Еремея за его добродетели!

– Пойдем-ка, я тебе чарочку поднесу! – заключала обыкновенно несколько воспрянувшая духом Македонская.

– И, что вы это! – что вы это из-за меня да в беспокойство входите, матушка!

– Иди, иди, поднесу!

Пономарь, по свойственному ему легкомыслию, увлекся до опьянения своим успехом; сначала он попрежнему забегал в наше смиренное жилище поделиться с отцом своими чувствованиями, но вскоре прекратил свои посещения и принял относительно нас тот особый тон, свойственный любимым барским камердинерам, доверенным чиновникам при директоре департамента, приближенным слугам архиерея, знающим секретарям при министре и прочим тому подобным лицам. Встречаясь с отцом, он издали кричал ему:

– Как живете-можете, отец дьякон? Что это вы так согнулись-то в три погибели, а?

Отец, глядя на него с робким изумлением, смиренно отвечал:

– Ничего, Василич, ничего!

И нерешительно прибавлял:

– Что к нам не заглянешь?

– Ах, отец дьякон! да вы бы только подумали, вы бы только сообразили, есть ли мне время-то к вам заглядывать! Мне вон матушка говорила, чтобы съездить в Трощи, собрать кур за крестины... Вы сами поймите!

– Понимаю, понимаю! Я понимаю! – бормотал отец. – И ведь прошу тебя, когда времечко выберешь...

У меня в детстве моем была (да и до настоящего времени еще сохранилась) одна особенность: пораженный каким-либо видом, прелестным ли, отвратительным ли, я равно поглощался тем и другим; как я, так сказать, упивался, с сладостным замиранием сердца, созерцанием красоты, так точно упивался я, содрогаясь от отвращения, и созерцанием безобразия; если лазурь небесная неотразимо привлекала мои восхищенные взоры, то не менее неотразимо привлекала их и помойная яма, которую я до тошноты гнушался.

Вследствие этой моей особенности я, негодуя и волнуясь, подолгу наблюдал за лицедействами пономаря, погружаясь по этому поводу в различные горькие размышления.

Однажды, когда я, облокотясь на забор, отделявший от

нас владения отца Еремея, следил за сценой на поповом крыльчке, иерейша вдруг устремила на меня свои взоры и крикнула мне:

– Поди сюда!

Я хотел бежать и скрыться, но пономарь в одно мгновение настиг меня, схватил и привлек к крыльчку, невзирая на мои отчаянные сопротивления.

– Что ты там делал? – спросила иерейша, кивая на место у забора, где я пред тем стоял.

Я безмолвствовал.

– Говори, говори! – крикнул пономарь, тормоша меня за рамена.

Негодование заступило место страха, и я сказал, довольно энергически отстраняя его от себя:

– Не трогайте меня! Не трогайте меня! Пустите!

– Что ты там делал? – повторила иерейша.

Я взглянул на нее и тут только хорошо увидел, как она изменилась в эти немногие, но обильные происшествиями дни; глаза у нее ввалились, щеки осунулись. Я подумал:

«Ей жаль Настю!»

Я в первый раз в моей жизни почувствовал к ней какое-то сердечное влечение, но вслед за тем горькие против нее чувства разыгрались с вящею силою.

«Если жаль, отчего ж не заступилась?» – подумал я.

– Что ж не говоришь? – кричал пономарь, снова схватывая меня своими крючкообразными перстами: – что ж не го-

воришь? Ах, ты, ах, ты... Да вы, матушка, с ним извольте по-
строже! Это, матушка, отрок, закоснелый в пороках! – Непокорный, строптивый... Вы построже

Но она, казалось, позвала меня, как могла бы подозвать всякую попавшуюся ей на глаза тварь, – как иногда, в минуты горестной рассеянности, люди подзывают мимо проходящих домашних животных, а вслед за тем гонят.

Ее даже несколько не раздражило мое упорное молчание; она с несвойственным ей равнодушием повторила еще раз: – Говори, что ты там делал?

– Говори, говори! Сейчас говори, слышишь? – подхватил пономарь. – Ах, ты! ах, ты!..

Он, как оса, лез мне в очи.

– Ах ты, неуч! Ах ты, грубиян! – пронзительно выкрикивал он надо мною, заглядывая мне в лицо то с той, то с другой стороны. – Ты чего это на заборах виснешь? Дурнем растешь, ничего не умеешь...

– Нет, я умею, – прервал я его. – Я умею сказку про цыгана...

Я сам не знаю, как эти слова сорвались у меня из уст; я чувствовал такой прилив горечи и негодования, что зрение у меня мутилось и в очах двоились подобия каких-то огненных шариков.

– Какую это сказку про цыгана? какую? какую? – пристал легкомысленный мой мучитель.

Я обратил взоры свои на Македонскую, но она, повиди-

мому, мало занята была нами, хотя и глядела на нас.

– Какую? какую? – наступал между тем пономарь и даже снова потормошил меня за рукава.

– Жил-был цыган, – начал я слегка трепещущим голосом, и вперив вызывающие взоры в его лисообразный лик: – вышел он в поле и стал нюхать, откуда салом пахнет. Слышит, с одной стороны попахивает, – сейчас он побежал в эту сторону. Приходит туда, а там его спрашивают: «Цыган, какой ты веры?» А он им в ответ: «А какой вам надо?» – «Надо нашей; наша хорошая!» – «А дают за нее сало? Я такой, за которую сало дают!»

Я произнес эту притчу о цыгане быстро, скороговоркою и умолк, готовый, претерпеть все могущие меня постигнуть за мою дерзновенность кары. Я даже чувствовал некий, так сказать, горестный восторг, предвкушая эти кары, могущие, хотя в эдакой степени, заглушить терзавшую меня лютую бессильную и безнадежную тоску.

Но пономарь, вначале воспрянувший от земли, как будто бы под стопы его подлили кипящую смолу, затем остался недвижим и нем; гневное изумление, казалось, сковало его язык и лишило его не только дара слова, но и дара крика, стона иди какого-либо звука и движения; он стоял с полуотверстыми устами и непомерно расширившимися очами, много напоминая собою нахальную хищную птицу мелкой породы, когда ее, при взлете на охоту за какую-либо невинную пернатую, неожиданно подобьет смертоносный каме-

шек, пущенный изощренной рукою деревенского отрока, и она, с распростертыми крылами, с вытянутым клювом, остается несколько секунд неподвижною точкою в воздухе.

– Ну что ж? – спросила иерейша, выведенная из своей рассеянности внезапно наступившим безмолвием.

– Пошел, пошел, сквернослов! – воскликнул тогда пономарь, пришед в движение и снова получив дар слова. – Пошел! Ах, сквернослов! Вот я тебя! Вот я... Постой, постой... Вот я...

Произнося эти угрозы, пономарь только вился надо мной устрашающим образом, но прикоснуться ко мне не решался.

Я же стоял пред ним не отступая, распален злобою и неустрашим духом. Я мог бежать, но я бегством в эту минуту гнушался.

– Да что он сказал? – снова спросила Македонская.

– Ах, матушка! – отвечал пономарь: – вы и не спрашивайте лучше! Не спрашивайте! У! бессовестный! Пошел, пошел, пошел! Прогоните его, матушка! Что ж это такое за окаянный! Пошел, говорят тебе, антихрист!

Я двинулся, но не спеша и, отошед несколько шагов, снова приостановился.

– Что ж это такое, матушка, на свете творится! – восклицал пономарь. – Самого от земли еще не видно, а уж как богохульствует! «Цыганская, говорит, вера лучше всякой!» Ах, господи! Ах, владыко живота моего!

– Выдрать бы хорошенько, – проговорила задумчиво Ма-

кедонская, – и все бы это богохульство прошло.

Я приостановился, желая излить обуревавшие меня чувства негодования, уличить уже не притчею, а прямыми обвинениями мелкодушного лицемера, но услышав эти слова, побрел далее, повторяя себе с вящим отчаянием:

– Вот тебе за твою правду! И тебе и всем! Вот как!

Я вошел в лес и долго бродил там, оглашая зеленые кущи тихими стонами.

Сознание окружающего меня беззакония и угнетения уже начало производить свое обычное тлетворное влияние, развивая во мне зверские наклонности.

«Хоть бы на меня теперь кто-нибудь напустился, – думал я: – начал бы меня терзать, и я бы тогда впился в попавшего мне под руку злодея, и я бы как-нибудь выместил свой гаев, облегчил бы накипевшее сердце!»

С этой целию я умышленно попадался навстречу иерейше и пономарю, но горькие мои старания не увенчались успехом. Иерейша, казалось, не замечала меня, а пономарь хотя и замечал, но не глядел на меня и при встрече со мной ускорял шаги. Даже когда я однажды, обуреваемый мятежными чувствами, при встрече крикнул ему:

– Сказать сказку про цыгана?

Он, услышав, подпрыгнул на ходу, как ужаленный, но вслед за тем, не ответив мне ни слова, пошел далее.

– Хотите сказку про цыгана? – воскликнул я громче, – хотите? Цыган – это вы! Я все знаю, все!

Горький гнев палил и удушал меня; в голове у меня мутилось, и в глазах темнело. Пономарь еще ускорил шаги.

– Цыган! цыган! – завопил я вне себя, пускаясь за ним в погоню.

Тогда он остановился, обратил ко мне лицемерное лицо свое и, грозя дружелюбно перстом, сказал мне с улыбкою:

– Ах ты, проказник! Ах ты, проказник!

– Цыган! цыган! – твердил я, задыхаясь и свирепея все более и более.

– Ах ты, проказник!.. проказник... – бормотал он, отступая от меня в сторону. – А ты... послушай... послушай... Я могу ведь все тебе сделать... я могу тебе все...

– Ничего не надо! – прошептал я, окончательно разъяренный. – Ничего! Цыган! Цыган!

– Ничего, так ничего, так и не надо... А я, Тимош, что знаю! Такую я диковину знаю, что просто... просто беда!

– Ничего не...

Но голос мой прервался.

«Он знает о Насте!» – мелькнула у меня мысль.

Сердце у меня мучительно забилося, силы духа меня оставили.

«Что Настя? Где? Я могу от него узнать! Могу! могу!»

Все остальное предо мною как бы затмилось.

Пономарь между тем, пользуясь моим смятением, поспешно скрылся под сень нашего смиренного жилища.

Я колеблющимися стопами последовал за ним.

Но у дверей я остановился и долгое время стоял недвижимо, впервые познавая то невыносимое чувство, каковое испытывает смертный, вынужденный прикоснуться к претящему душе его гаду.

Наконец я дрожащею рукою отворил двери и вошел.

Пономарь с жаром о чем-то говорил, а отец, внимая ему, в ужасе всплескивал руками; мать стояла тут же, и по ее крепко сжатым устам я угадал, что и она неспокойна.

При моем появлении пономарь смолк.

– Тимош, Тимош! – воскликнул жалобно отец – что ж это ты?.. как же это ты?.. а?..

Я с жестоко биющимся сердцем спросил:

– Что я?

– Да вот, Василича... ах, господи, творец наш милосердный! Ах, господи боже!

– А я уж больше не потерплю, отец дьякон, – раздраженно и громко начал пономарь, – я уж больше не потерплю! Нет! уж я и так для вас только... ведь я не камень... я человек! Вы уймите его, а не то я... Уж коли он яму подо мной роет, так и я покрывать вас не стану... Уж коли вы мне враг, так и я вам другом не буду... Пусть все тогда на свежую воду выходит, как вы и ваша Катерина Ивановна во всем им потакали... Я ведь не слепой, слава богу, – глаза тоже у меня не даром во лбу поставлены!

– Ведь младенец! младенец! – проговорил отец.

– Что мне, что младенец! – воскликнул пономарь с воз-

растающим гневом. – Я вот говорю вам, отец Дьякон, коли вы его не уймете, так вы тогда пеняйте на себя! Я...

– Что ж, Василич, – жалобно прошептал отец, – погубить человека легко! Легко... легко...

– Вы бы, отец дьякон, должны почувствовать... вы бы должны, отец дьякон...

– Я, Василич, как бог свят...

– Что, бог свят! Кажется, я уж довольно от вас терпел! И я вот теперь последнее слово свое вам говорю, да, последнее! Коли только...

– Что ж вы пугаете нас, как малых детей, – проговорила мать. – Коли вам угодно, вы подите и донесите на нас, а потом мы сами увидим, к какому ответу нас поведут.

Она сказала это тихо и даже смиренно, но пономарь сначала встрепенулся, затем съежился и тотчас же из угрожающего тона стал переходить в ласкательный.

– Я, Катерина Ивановна, вы знаете, всегда ваш друг, – начал он, – только как же мне это терпеть, что меня таким манером порочат? Что ж это будет, коли меня станут порочить, а я стану вас порочить, – стану вот рассказывать, как вы Софронию потакали и все прочее... Что ж тогда выйдет?

– Ах, господи, творец милосердный! – прошептал отец. – Ах, творец! Вседержитель мой!

– Что ж вам надо? – спросила мать.

– А надо, чтобы меня не трогали, Катерина Ивановна. Не будут меня трогать, и я не буду.

– Вас трогать не будут, – сказала мать.

– Никогда в свете, Василич! – подхватил отец. – Никогда!

Как это можно! Никогда! Ведь он младенец, потому он...
Как можно!

– Уж вы накажите сынку, Катерина Ивановна, – сказал пономарь. – Построже накажите... Вы ему, этак, растолкуйте, что, мол, надо тебе...

– Я сама знаю, как мне с ним говорить, – прервала его мать.

– Растолкует, она растолкует... – стал уверять отец. – И я тоже... я тоже растолкую... Я тоже... И Тимош у нас умница будет... а? Тимош – а?

– Прощайте, Катерина Ивановна, – сказал пономарь.

– Прощайте, – ответила мать.

– Пойдемте, отец дьякон, я вам парочку словечек еще скажу, – обратился пономарь к отцу.

– Пойдем, Василич! пойдем. Я вот сейчас... вот готов – пойдем!

И оба они вышли.

Как только замолк шум их шагов, мать сказала мне:

– Тимош, не трогай его!

Я ответил ей:

– Не буду.

Затем я спросил:

– Что он может нам сделать?

– Наябедничает. Тогда и нас, как... как других...

Я подошел к ней ближе.

– И всегда так бывает? – спросил я.

– Что, Тимош?

– Что с людьми так... что с людьми как хотят, так и... что обижают?... Всегда?

– Всегда, Тимош! – ответила она с волнением, – всегда!

– Всегда?! – воскликнул я, не чаявший иного ответа, по тем не менее глубоко им уязвленный.

– Всегда! – повторила она.

А затем, склонив голову на руки, она зарыдала.

Этот взрыв отчаяния потряс меня наиглубочайшим образом, и я не замедлил присоединить к ее страстным и горьким рыданиям свои детские вопли.

Несколько минут спустя она уже овладела собою, ласкала меня, улыбалась мне дрожавшими от волнения устами, уговаривала, сулила блага в жизни, но я уже запечатлел в сердце своем вырвавшееся у нее «всегда».

Сколько раз в позднейшие годы моего превратного и мятежного жития мне на опыте приводилось дознавать непреложность этого жестокого правила, и сколько раз я, однако, тщился убедить и уверить себя (да и поныне тщуся), что беззакония со временем прейдут и воссияет, наконец, солнце правды и добра!

Уныние мое приняло с этих пор несколько иной, еще более растлевающий характер. Я совершенно и окончательно пал духом, и как приговоренный к неминуемой смерти опу-

кает руки и склоняет голову в своем бессилии перед орудием казни, так и я на поднимающуюся в груди моей горечь говорил себе:

«Всегда! всегда! Как ни бейся, что ни делай – всегда! Вот Софроний!.. Вот Настя!.. Софроний! Настя!..»

Но при воспоминании об этих драгоценных людях кровь теплее, так сказать, начинала приливать к уязвленному моему сердцу, очи увлажнились слезами, любовь к добру пробуждалась, и я шептал:

– Ну всегда, так и всегда! Пускай всегда!

О благосклонный читатель! сколь неоценима для нас во всякое время нашего жития, а кольми паче в дни нерассудного детства, встреча с сильными и свежими людьми! Я уподоблю этих людей источнику сказочной живой воды, брызги которой чудесно воскрешают несчастных жертв богопротивного чародея!

Отец Еремей возвратился в Терны только через три недели.

Как затрепетало мое сердце, когда я увидел въезжающий в иерейский двор фургон! Некий туман застлал мне очи, и я несколько мгновений ничего не мог разглядеть явственно.

У меня блеснула безумная надежда, я замер на месте, затаил дыханье...

Отец Еремей возвратился один!

Это было под вечер, при захождении солнцем. Я, забыв все в волненье моих чувствований, сам не помню как очу-

тился на поповом дворе, у крылечка.

Я вперил жадные взоры в лицо отца Еремея.

Лицо его несколько пожелтело, опустилось, являло следы дорожного утомления, но не утратило выражения свойственной ему пастырской благодати.

– Что? Ну что? – воскликнула Македонская, вылетая из дверей, как пущенная неопытной рукою бомба, ему навстречу. – Что?

Она была бледна, уста ее дрожали, и слезы текли из глаз.

– Во имя отца и сына и святого духа! – рек отец Еремей, простирая над главою смятенной жены мягкую десницу и возводя исполненные благоговения очи горе.

Македонская буйно отстранила от себя пухлые персты, бывалый всесокрушительный гнев сверкнул в отуманенных слезою очах, и громоподобная нота снова послышалась в голосе, когда она вторично воскликнула:

– Что она? Говори! говори! Куда ты ее засунул?

– Дочь наша в святой обители, – ответил отец Еремей, несколько возвысив свой протяжный и кроткий голос: – господь сподобил ее...

Громкие рыдания иерейши заглушили его слова.

В шуме этих рыданий потерялись и сочувственные вздохи подбежавшего с поклонами и встречными приветствиями пономаря.

– Закабалил! закабалил! – восклицала рыдающая Македонская.

– Я утомлен путем, ослабел, – пойдем! – проговорил отец Еремей, взяв ее за руку. – Смирись пред испытанием, посланным от господи!

– Злодей! – вскрикнула Македонская, тщася вырвать свою руку.

Но пухлые пальцы впились в нее, как клещи.

– Смирись! – проговорил отец Еремей с пастырской строгостью, – смирились!

И увлек, ее за собою во внутренность жилища. Я долго стоял, объятый смертельным хладом.

– Во святой обители! – шептал я, изнемогающий от горести и ужаса: – во святой обители!

В позднейшие годы моей жизни, читая в прозе и стихах благоговейные описания «святой обители» и царствующих будто бы там «мира», «благости», «отрешения от земных страстей», я, грустно улыбаясь, завидовал счастливому автору, ласкающему подобные мечты! Ах! я и во дни невинного детства не утешался подобными!

С самых ранних пор понятие об «обителях» сложилось у меня крайне мрачное.

О вы, красноречивые, но легкомысленные авторы! если бы вы, менее увлекаясь наружною прелестью вещей, постарались поглубже вникнуть в оные, сколько бы из ваших произведений вы поспешно предали всепожирающему огню!

Узнав о заключении драгоценной сердцу Насти в обитель,

я тотчас же перенесся мыслию в неподалеку от нас лежащий женский монастырь, высоко чтимый, куда постоянно, из далеких и близких мест, стекались толпы богомольцев.

Если, благосклонный читатель, пробегающий эти строки, ты бывал в помянутой обители, то, несомненно, помнишь уединенное пленительное местоположение, обширный вид с горы, осененной темными густыми лесами, златую, полускрытую нависшею зеленью, надпись над воротами: «Приидите вси труждающиеся и обременежши, и аз упокою вы»; быть может, в минуту грусти с тихим вздохом ты шептал: «Да, да, тут успокоение! Тут отдых, тишина и мир! Тут зажили бы раны уязвленного сердца!»; тебе, вероятно, нравились и пухлые белые просфоры, присылаемые тебе к чаю христиански внимательно и ласковою матерью игуменьею, и звук монастырского колокола, торжественно разносящийся по гористым окрестностям; ты любил заходить в прохладную келию матери Мелании, вечно освещенную лучом тихо теплящейся лампадки, и с печальной завистью, с почтительным удивлением слушал и созерцал эту святую, добровольно отрешившуюся от прелестей мира жену. Ты унес отсюда поэтическое воспоминание, которое, быть может, даже старался устными ли рассказами или чертами пера передать потомству.

Легковерный! ты не подозревал, что в том же комодe с просфорами, только в углублении, незаметном для постороннего глаза, лежат пучки гибких, моченных в уксусе ро-

зог, и что та самая десница, которая так набожно тебя благословляла, потрясала, как вихрь былые, молодых послушниц, и что юные эти отшельницы уподоблялись под рясами своими географическим картам тех стран, где изобильно рек и речек; что святая жена, с ласковою кротостью говорившая тебе: «Сядьте на подушечку, выкушайте с винцом: вы люди светские, изнеженные, вам это надо, а мы – к посту и всякому бичеванию привычные», – та самая святая жена до того была пристрастна к маринованным перепелам, что по ночам рассылала на ловлю их вверенную ей паству с дудочками и сетками в дальние поля, и горе той, которая... Но об этом после, в свое время.

Да простит мне читатель это отступление: меня увлекли воспоминания.

Возвращаюсь к моему повествованию.

Я удалился с попова двора и в волнении ходил, или, вернее говоря, метался, в любимом моем приюте – под сенью лесных кущ, с отчаянием рисуя себе мрачные картины обительской Настиной жизни. Я видел драгоценнейший предмет моей печали за тесною монастырскою оградой, в черном одеянии, с потухшим взором... Иногда, представив себе горечь, какую она должна была испытывать в этом положении агнца, осужденного на заклятие, и в то же время сознавая себя таким же бессильным, я повергался ниц на землю и, подобно разъяренному дикому зверю, грыз и вырывал с корнем близ растущие травы и зелья.

Если благосклонный читатель не избег участия большинства смертных и терзаем был горестию, то он знает, с каким мучительным наслаждением в такие минуты мы тщимся начертывать наиужаснейшие представления будущего.

Я, упиваясь, так оказать, своим злополучием, ревностно расточал самые черные краски на рисуемую картину грядущих дней и время от времени тихонько восклицал: «Где ты? Где ты?», когда вдруг мысль моя внезапно остановилась на этом вопросе.

Где Настя? Как далеко? В какую сторону дорога к ее заочению?

Отец Еремей возвратился в маленьком дынеобразном фургоне. Привезший его израильтянин проворно распряг курчавых, как он сам, коней, пустил их пастись у лесной опушки, расположился неподалеку и стал развязывать какой-то плетеный мешочек, – значит, я могу попытаться узнать и, может статься, узнаю...

Я вышел на опушку и не спеша, с видом беспечно гуляющего любителя природы, приблизился к курчавому сыну Авраама.

Он, отдыхая под сенью дуба, утолял голод свой яичными, приготовляемыми его племенем, булками с чесноком, бегло взглянул на меня при моем появлении из чащи и затем не обратил на мое приближение никакого внимания.

С ледяным, как я мнил, равнодушием я остановился пред ним и предложил ему вопрос, откуда он приехал и хороши

ли там хлеба, но от чуткого последователя закона Моисеева, невзирая на маску равнодушия, очевидно не укрылись ни жгучий интерес, ни тоскливое нетерпение, с которыми я ждал от него ответа,

Он прищурил свой черный, как вакса, глаз и, прикусывая чеснок, ответил:

– О, о, какой хозяин! хочет знать, каковы хлеба! О, о, какой разумный хлопец!

– Так хороши хлеба? – сказал я, смущаясь.

– Хороши, хороши! О, о, какой разумный хлопец!

– Откуда вы приехали? – спросил я, сам чувствуя, что маска равнодушия уже не держится, спадает и из-за нее являются во всей их силе и яркости настоящие выражения моих чувствований.

– Откуда приехали? – переспросил он, снова прищуривая глаз. – О, приехали издалека!

– Откуда?

– О, издалека, издалека!

– Скажите... скажите! – воззвал я к нему, откинув хитрости, умоляющим голосом.

– Сказать? О, о, нельзя сказать!

– Отчего нельзя? Скажите!

– О, какой разумный хлопец! Ну, слушай: ты добрый хлопец, славный, хороший! поди принеси мне охапку сена, – свежего, самого лучшего сена, – тогда я тебе скажу.

– Скажите сейчас! Я сена принесу после... Я скоро при-

несу!

– О, о, какой разумный хлопец! Как же можно сейчас сказать? Прежде надо сено получить, а потом сказать!

– Да я принесу! – воскликнул я отчаянно.

– Принеси, принеси! О, какой разумный хлопец! Сейчас все понимает! Разумный, разумный хлопец!

И он турил глаз и кивал мне брадою на пролесок, где складено было только что скошенное сено.

Я поспешно отправился и притащил охапку душистого подкупа.

– Откуда? – спросил я, освобождаясь от своей ноши. – Откуда приехали?

– Ай, ай! не сюда, не сюда! Не вали, не вали здесь! – зашептал он. – Увидят... В фургон снеси, в фургон.

Я снес сено в фургон и, торопливо возвратясь, опять спросил мучителя:

– Откуда?

– О, о, как мало принес! О, о, всего горсточку! И горсточки не будет! Ты добрый хлопец, ты славный хлопец, ты пойдешь, еще принесешь охапку...

– Откуда? – повторил я, удушаемый горестию и гневом. – Откуда?

– Ты добрый хлопец, ты походи еще принеси сенца, а потом я скажу, откуда... Ну, поди, поди... о, разумный хлопец!

Но я бегом ринулся к фургону и начал таскать оттуда принесенное мною сено обратно.

– Что ты, что? – взвизгнул безжалостный израильтянин, вскакивая, подбегая ко мне и стараясь поймать меня за руки. – Ну, полно! ну, полно! ты добрый хлопец! Ай, ай! Какой сердитый! Ай, ай! Ну, я скажу! Ну, полно! Ай, ай! Мы приехали из города...

– Из какого?

Он назвал мне наш уездный городок.

– Неправда! – воскликнул я. – Неправда!

И с новою яростью принялся разметывать сено.

– Правда, правда... О, какой сердитый хлопец! О, нехорошо, нехорошо! Ай, ай, нехорошо!

В эту минуту проходящий мимо Прохор вскрикнул: – А ты откуда это сена набрал, а? Ах ты, хриstopродавец!

– А, Прохор! – с живейшей ласковостью ответил хриstopродавец. – Здравствуй, здравствуй! Как поживаешь? Здоров? Красивый ты какой стал! Ай, ай, какой красивый! Все девушки заглядываются!

– Ну, что лебезишь? – отвечал Прохор, видимо, однако, тронутый оценкой своей красоты: – Ну, что лебезишь? Ты лучше скажи, где ты это сена-то стащил?

– Красавец стал! Ай, ай, какой красавец! – продолжал израильтянин, как бы не слыша этого вопроса. – Все девушки так жмурятся, как на солнце!

– Да ты скажи, где ты сена-то... – возразил Прохор, тронутый еще глубже: – ты вот что скажи...

Я оставил их и снова углубился в лес.

Я ничего не знал!

Я сел на пень и остался неподвижен, подобно надгробной урне.

Но недолго пребывал я в этом положении: мне вдруг пришла мысль обратиться к Прохору и молить его, да выведает он у израильянина, откуда приехал отец Еремей?

Я кинулся к фургону. Прохор еще был тут, все еще слушал сладкую лесть и все еще незлобиво требовал объяснения, откуда взято сено. Я быстро подошел к нему и тихо, прерывающимся голосом передал ему свою мольбу.

– А! вот теперь и я понадобился! А! теперь ко мне пришел! – ответил мне Прохор с укором. – А как пирог или лепешка, так....

Он не закончил укора, почувствовав отчаянное пожатие моей руки.

– Ладно, ладно, – проговорил он, видимо тронутый плачевным моим видом.

И затем, обратись к наблюдавшему за нами израильянину, опросил:

– Ты батюшку из города вез?

– Из города, из города; он с почтовой станции пришел к нам и...

– С какой это почтовой станции?

– А с Волынки, что по полесскому тракту.

– А до Волынки доехал, значит, почтою?

– Почтою, почтою; мы видели, как и подъехал к станции.

– Прохор! – раздался, подобно торжественному благовесту, голос отца Еремея. – Прохор!

Прохор поспешно направился к иерейскому двору.

– Где еврей Мошка? – раздался вторичный благовест, но уже несравненно ближе к нам.

– Вот тут сидит, – ответил Прохор.

– Я тут! я тут, батюшка! – воскликнул израильтянин: – что батюшка прикажет? что его милости угодно?

И он, так сказать, волной переливался на одном месте, являя в лице своем всевозможные степени подобострастной угодливости.

– Тут? – спросил отец Еремей, пристально устремляя взоры свои на Мошку.

– Сейчас еду, батюшка, сейчас...

И юркий израильтянин торопливо принялся запрягать.

Вид мучителя драгоценной Насти был для меня невыносим, и при его появлении я поспешил скрыться в глубину дерев.

«Станция Волыновка! – думал я с тоскою. – По полесскому тракту! Но справедливо ли показание лукавого израильтянина?»

Скоро я услышал стук колес и сквозь сеть ветвей мог увидеть на несколько мгновений Мошкины длинные пейсы, развевавшиеся из глубины фургона.

Как изображу тебе, о читатель, последовавшее затем течение моей унылой, бесцветной жизни? Жестокий произвол,

жертвами коего сделались Настя и Софроний, столь глубоко на меня подействовал, что во все мои скудные наслаждения, так сказать, влилась капля горечи и желчи.

Так, помню я, в конце этого достопамятного мне лета сидел я на берегу реки и ловил пескарей. Утро было бесподобное. С неким глухим звоном катились прозрачно-синие воды; леса шумели, на ясную лазурь небосклона неоднократно налетала темная тучка, осыпала меня теплым крупным дождем, затем уносилась, дневное светило снова появлялось во всем своем сиянии, и с цветущих берегов, с полей, с лугов, от лесов сильнее тянуло сладостным благоуханием трав и цветов.

Помянутое животворное утро воскресило отроческое, насильственно подавленное веселие; я проворно сбросил немногосложные свои одежды и с бодрым криком ринулся в сверкающие волны.

Но едва я, погрузившись в освежающую влагу, начал рассекать резвым плаванием синюю поверхность, едва успел кинуть вокруг себя несколько веселых взглядов, уже меня, так сказать, ужалила радость отгоняющая горькая мысль:

«Да, теперь, вот в эту минуту, мне вольно и хорошо, но вдруг может прийти кто-нибудь, взять меня и... Где теперь веселая Настя? Где гордый Софроний?»

Теперь, повествуя как взрослый, я облекаю эту мысль в ясные выражения, но в то время она явилась мне смутно, — я скорее *чувствовал*, чем *рассуждал*.

Я медленно, как бы раненный, вышел из волн, оделся и, склонив голову на руки, предался столь сильной печали, что даже пролил слезы.

В одну эпоху позднейшего моего жития я знал благочестивую, но язвительную старушку, которая утверждала, будто бы меня, тотчас по благополучном моем появлении в сию юдоль плача и воздыхания, враг рода человеческого *посылал бесовской неугомонкой*, да вечно мятусь по земле.

Это неугомонка не позволила мне ни захиреть в печали, ни примириться с претящими душе явлениями.

В наиболее трагические минуты, в порывах самой томительной горести мне ни разу не приходила даже мимолетная мысль о возможности покориться обстоятельствам. Напротив, чем невыносимей были мои страдания, тем сильнее разжигался я враждою и неукротимую страстью противоборствовать ненавистным для меня порядкам.

С каждым днем я становился угрюмее, нелюдимее, ни к кому не обращался с речами, кратко отвечал на предлагаемые мне вопросы. Меня раздражал всякий веселый возглас, я исполнялся горечью при виде беспечно играющих сверстников.

Семя ненависти, глубоко запавшее мне в душу, развивалось деятельно, пускало неисторжимые корни.

Единственным светом в этом мраке, единственною отрадою были ласки многолюбимой матери. С какою нежностью я прилегал к ее плечу в тихие темные сумерки, когда она,

утомленная, окончив дневные работы, садилась отдохнуть у окна или у порога нашей хижины! Каким бальзамом были для меня немногие, но дышащие страстною заботою и беззаветною преданностию слова! Я чувствовал, я знал, что и ее изъязвленное сердце не обретает покоя, но для меня она находила и улыбку и шутку.

Жестокий рок скоро лишил меня и этой улады: скоро мрачная могила навсегда сокрыла безропотную страдальицу.

Она давно уже хворала, но никогда не жаловалась, и потому никто не беспокоился о ее недуге. Она все крепилась, все работала. Наконец ее сломило вдруг. Утром, выходя из дому, я оставил ее за домашними занятиями, но возвратясь к обеду, уже застал ее в изнеможении сидящую на лавке, приклонясь головой к стене, с полузакрытыми очами.

При моем появлении она не шевельнулась и только спросила:

– Ты, Тимош?

Голос у нее так успел измениться за эти немногие часы, что: я вместо ответа подбежал к ней и посмотрел ей в лицо.

Она слабо мне улыбнулась.

Я весь похолодел; сердце мое мучительно сжалось. Я глядел на ее впалые глаза, на бледное, вдруг осунувшееся лицо, на два яркие розовые пятна на щеках, и мне вдруг представилось погребальное пение, черные ризы, мерцающие свечи, зияющая могила...

– Тимош, – проговорила она, – поди поближе. Послу-

шай...

Она не договорила, закашлялась, охнула и схватилась руками за грудь.

– Болит? – спросил я, сдерживая рыдания.

– Нет, ничего...

Потом, как бы забываясь, прошептала:

– Душно, душно... Где окно? Где дверь? Отвори, отвори... Душно!

Я шире распахнул открытое окошечко, откинул настежь дверь, но она все тихо шептала:

– Душно – душно – душно!

Я подошел к ней, обвил ее руками, осыпал поцелуями. Она посмотрела на меня горящими, как-то чудно потухшими и вместе просветлевшими глазами, как будто не узнала, сделала слабое усилие освободиться, потом в совершенном изнеможении легла, или, лучше сказать, упала, на лавку и осталась неподвижна.

Возвратившийся к обеденной трапезе отец при взгляде на нее испустил вопль испуга, засуетился, заметался, кропил ее святой водою, уговаривал съесть грушу...

Наконец он уехал за знахаркой в соседнее селение.

Знахарка – как теперь вижу ее перед собою: высокого роста, прямая, бодрая, ясноокая старуха – подошла к лавке, поглядела и сказала отцу, в трепетном томлении ожидавшему ее решения:

– Она жива не будет; у нее уж смертная черта легла.

Отец залился слезами.

– Травки бы ей какой-нибудь... травки... – лепетал он, захлебываясь рыданиями. – Я поблагодарю... Андреевна! Андреевна! Травки бы!.. Может, ей полегчает... может... Я поблагодарю...

– Никакая ей травка не поможет, – отвечала Андреевна. – Нечего ее и мучить понапрасну.

– Господи боже наш! – вскрикнул отец, отчаянно всплескивая руками и задыхаясь от рыданий. – Господи боже наш! Да мимо... мимо – мимо чаша сия! Травки бы ей, трав... трав... ки... господь исцелит... Я с верою... с верою – с ве...

– Полно, отец дьякон! Вы ребенка перепугали!

Отец бросился ко мне и принялся гладить меня по головке дрожащею, как лист, рукою, приговаривая:

– Не бойся, Тимош, не бойся! Не бойся, не... Бог милостив!

Он заикался, захлебывался и чуть держался на ногах.

– Вы бы пошли царские двери попросили отворить, – сказала Андреевна.

– Да, да, царские двери! – воскликнул он... – Да, да... сейчас... сейчас...

И, спотыкаясь, выбежал колеблющимися стопами из хаты. Блестящие очи Андреевны проводили его, как мне показалось, не без презрения.

Затем она обратилась ко мне.

– Ты ее не тревожь, – сказала она..

Я не тревожил. Я стоял и глядел ей в лицо. Я искал той «смертной черты», которая, по словам Андреевны, уже легла на нем.

Черты этой я уловить не мог, но когда глаза мои обращались вопросительно на лицо Андреевны, я, замирая, ясно видел, где жизнь и где смерть.

Она все лежала с закрытыми глазами, повторяя от времени до времени только одно слово:

– Душно! душно!

Раз только ночью она вдруг открыла глаза и проговорила:

– Тимош!

Я не узнал ее взгляда, ни ее голоса. Прежнего живого в них уже ничего не было.

Тщетно я, трепещущий, наклонясь ближе, ждал прощальной ласки, прощального слова, хотя прощального взгляда, – смерть уже завладела ею и более ничего мне не уделила.

Агония продолжалась еще двое суток, но она уже ни разу не обратилась ко мне, ни разу не произнесла моего имени.

Как живо я вспоминаю эти первые туманные и теплые дни осени, все чужие лица, заглядывавшие к нам, все утешения, расточаемые отцу! Я как бы внимаю еще дребезжащему, пронзительному голосу пономаря, когда он, бегая вокруг гроба, восклицал: «Заколотите вот тут! вот тут-то заколотите!», судорожным рыданиям отца, прерывавшим погребальное служение, мягким возгласам отца Еремея, падению рассыпающейся земли по гробовой крышке, шумному выходу с

кладбища...

О страшная последняя разлука! Ничто с тобой не может сравниться. Вы, разлученные только пространством, сетующие и нарекающие, легкомысленно ставящие свою тоску превыше всех бедствий, – вы не знаете, что такое засыпать землей друга, глядеть на окружающий, попрежнему волнующийся, мир, на проходящих мимо людей с их поклонами, улыбками, речами и думать: *никогда* уже не явится, не пройдет среди живых милый образ, *никогда* не поднимутся на тебя дорогие глаза, *никогда* не увидишь ты той незабвенной улыбки, которая заставляла биться твое сердце, – *никогда!* Все это там, глубоко под землею, – все это утрачено *без возврата!* С каким жгучим отчаянием ты уразумеешь, сколько доброго и отрадного заключалось в бывалых разлуках со всеми их, как мнилось тогда, нестерпимыми муками, раздирающими душу тревогами и сокрушительными опасениями! Как содрогнешься ты, когда осознаешь весь смысл слова *смерть!*

Глава вторая

Начатки учения и неожиданное происшествие

Потеря нежно любимой матери на время поглотила собою все мои прежние мятежные чувствования. Уже смиренную ее могилу занесло снежными сугробами, а ее застывшее лицо, все еще неотступно было пред моими, глазами, и вид всего живущего напоминал мне о смерти.

Я думал:

«Вот жизнь – и жизнь эта может отлететь!»

Затем я представлял себе, как сомкнуты будут и эти, теперь глядящие на меня глаза, как омертвеет и это, теперь подвижное лицо.

Затем я представлял себя, самого, как недвижно я, лежу в тесном гробе, – желтые тоненькие свечечки оплывают, горячий воск каплет мне на опущенные веки, на лоб, на губы, муха тихонько, спокойно ползет по охладевшей щеке...

Погруженный в такие представления, я по целым часам, случалось по целым дням, просиживал у забитого снегом окошечка, из которого, как из щелки, видны были опущенный инеем лес и высокие сугробы. Иногда на меня нападала дремота, я засыпал, виденья переносили меня в темную могилу, и я, покрытый холодным потом, в ужасе пробуждался.

Потрясение было столь велико, что я, если возможно: так выразиться, сам на некоторое время умер для всего живого, меня окружающего.

Животворное дыхание весны снова возвало меня к жизни. Когда зашумели с гор полые воды, когда потянуло живительным теплом, я вдруг как бы воскрес. А когда зашелестели зеленые кущи лесные, когда вся земля снова вспыхнула травами и цветами, мрачные представления могильной ямы и ужасной жены с сокрушительной косою потерялись, исчезли в их цветущей прелести. Сидя на могиле дорогой матери, опутанной молодым барвинком, я, хотя еще удрученный печалию, однако думал уже не о всепожинающей деснице с косою, а о неведомых мне путях житейских, о неясном далеком будущем; мне уже мерещились не безответные могильные холмы, а живые лица. Мне, так сказать, вместо заупойной песни вдруг запелась заздравная.

Вместе со мной воскресли и прежние мои ненависти и прежние мои поклонения. Снова шибко забилося долго сжатое сердце, снова зашевелились долго спавшие мысли; опять посетили меня прежние сердечные муки, опять нахлынули прежние волнения душевные, опять как бы иглами закололи меня прежние недоумения, сожаления, сознание собственного бессилия, чувство тяготевшего надо мной и над всем меня окружающим ига душепретящего человека, жажда борьбы, жажда отмщения за все, претерпенное мною и драгоценными моему сердцу существами. Я, еще сам того не

уразумевая, уже начал оглядываться кругом, ища выхода из заключавшего меня круга правил понятий. Легионы «почему» и «отчего» осадили меня.

Между тем отец мой, падавший в первое время под бременем горести, тоже оправился и обратил всю свою любовь на меня, чем меня несказанно отяготил. Он, как все слабые духом смертные, старался искоренить самое воспоминание о горькой утрате и заселить поскорее опустелое место так, чтобы исчезли самые следы утраченного. Если кто-нибудь поминал имя матери, он торопливо крестился, торопливо бормотал: «Царство небесное! царство небесное!» и поспешно заводил речь о другом. Мало-помалу восклицания: «Царство небесное! царство небесное!» сделались плавнее, и надрывавшие мою душу вздохи перешли в обыкновенные официальные, свойственные всем церковнослужителям при отправлении панихид и при истреблении заупокойных обедов.

С весны отец начал меня учить грамоте.

В один прекраснейший, благоухающий весенний день он взял меня за руку, погладил по голове, многократно повторил, что ученье – свет, а неученье – тьма, что хотя корень учения горек, но плоды его сладки, посадил меня за стол и раскрыл предо мною букварь.

Каковы плоды будут, я, по детскому моему несмыслию, еще не мог судить, но корень поистине был горек, и вместо обещающего света меня обнимала сугубейшая тьма. Вещи, наглядно объясненные мне жизнью, наукою родителя дивно

затемнялись и запутывались.

Вначале я пробовал просить у него истолкований, но скоро бежал их, как бежит заяц приводящих его в ужас бубен, ибо родитель мой, желая дать мне истолкование, заводил меня, так сказать, в еще непроходимейшие дебри пророчеств, притчей, дьявольских наваждений, господнего попусту, в продолжение нескольких, казавшихся мне веками, часов плутался со мной в помянутых дебрях и, наконец, покинув меня в вящем недоумении, отирал пот с чела и, вздыхая, говорил в заключение:

– Во всем воля божия! Во всем воля божия... Творца милосердного воля... а мы только прах. Мы великие грешники. Великие! Согрешил прародитель наш Адам, и был изгнан из рая... От Адама и мы... Да! от Адама и мы! Мы во грехе родились, во грехе и помрем!

– Отчего же мы во грехе? – вопрошал я, недоумевающий.

– От Адама, Тимош, от Адама! – отвечал мне родитель с многократными вздохами.

– Да ведь я и не знал! – возражал я. – Значит, я не грешен?

– Ты еще отрок, ты еще, благодарение господу, невинный агнец...

– А если я и после, как вырасту, не буду грешить?

– Да подкрепит тебя царь небесный! да ниспошлет он...

– Тогда, значит, я не буду «во грехе»?

Родитель пугливо на меня взглядывал и бормотал:

– Не мечтай о себе высоко, Тимош, не мечтай о себе высоко-

ко! Гордость – смертный грех! Гордым бог противится! Сатана низвержен был... знаешь? Блуди душу свою, Тимош, блуди... Вознесем молитвы наши ко господу, припадем ко стопам... да избавит нас от искушений!

Но да не тиранствую над благосклонным читателем, приводя ему в подробности родительские богословские рассуждения! Скажу только, что минула пышная весна, прошло роскошное лето, я уже с достаточною беглостью читал весь букварь, но вечного вмешательства в мою судьбу праотца нашего Адама все еще уяснить себе не возмогал.

В один мягкий сентябрьский вечер я, утомленный долгою прогулкою по опадающему уже лесу, сидел у окна нашего смиренного жилища. Полный месяц, как некий золотой шар, тихо всплывал из-за деревьев; тишина и теплота были бесподобные. Легкий запах блекнувших трав и падающих листьев смешивался с слабым благоуханием поздних отцветающих цветов; воздух был, если смею так выразиться, напоен ароматом увядания.

Отца не было дома: я одиноко сидел в безмолвной убогой нашей светлице и, задумчиво окидывая взором видимое пространство, размышлял о сотворении мира.

Бесполезно распространившись в помянутых размышлениях довольно долгое время я, заключив их глубоким вздохом, обратился преимущественно к естеству человека вообще и к своему собственному в особенности.

Затем, заключив и это не менее тяжелым вздохом, я пре-

дался воспоминаниям и соображениям, стараясь посредством их выяснить себе законы жизни.

Перейдя к воспоминаниям и соображениям, мозг мой начал ворочаться свободнее, и я, хотя неясно, неопределенно, как слабое отражение лучей из-за темных туч, начинал усматривать возможность хорошей жизни на земле, невзирая на роковое влияние праотцева грехопадения.

Но какая пропасть отделяла возможность от осуществления! Краткий свиток моего прошедшего, быстро развертывавшийся пред моими духовными очами, наглядно мне это показывал.

Глубокое уныние овладевало мною и, не обретая более виновного в мирских бедствиях и неправильностях лица, я снова начинал горько сетовать на прародителя рода человеческого, легкомысленно повергшего смертных в столь тяжкие испытания.

Бряцанье бубенчиков, стук колес и конский топот по лесной дороге обратили меня к действительности. Вскоре я узнал укорительные понуканья Прохора, а затем показался и он сам, восседающий на козлах иерейской брички и помахивающий любимым своим кнутом, с кисточкой необычайных размеров вместо наконечника. Бричка, вместо отца Еремея и супруги его, вмещала в себе великое обилие клади, между которою главное место занимали архиерейских размеров пуховик, таких же размеров самовар и розовые подушки, тот же час напомнившие мне время, когда искусные персты дра-

гоценной Насти быстро мелькали, созидавая различные принадлежности сестриного приданого.

Воспоминание это острым шипом впилося в мое сердце, но я на нем не останавливался, ибо внимание мое было устремлено на медленно въезжающую в иерейский двор бричку.

Зачем везли обратно в отчий дом приданое благолепной Ненилы?

Недели две тому назад к отцу Еремею явился на шершавой пегой мужицкой лошадке долговласый, очевидно из дьячковского звания, гонец от супруги его с вестию о рождении на свет внука и о тяжелой болезни молодой матери, а также и с наказом безотлагательно спешить из Тернов в село Березовку, где священнодействовал зять его, уже известный благосклонному читателю архиерейский племянник, Михаил Михайлович Вертоградов.

Отец Еремей в тот же вечер повиновался. Пастырь терновский казался сильно взволнованным. Он ходил совсем готовый в путь по своему двору и, многократно укоряя Прохора за нерасторопность, понукал его запрягать проворнее бричку. Пастырь терновский в эти минуты уподоблялся предусмотрительному полководцу, который, получив сокрушительное известие о проигранной или, лучше сказать, поставленной на карту баталии, не убивается о павших в битве, не заботится об утраченных, но поспешно сосредоточивает все силы своего мышления единственно на том, каким образом

расположить искуснее новые битвы, имеющие за поражением следовать; он столь глубоко под конец погрузился в эти соображения, что обычная личина пастырской благодати ежеминутно, так сказать, разрывалась, являя различные, всегда тщательно прикрываемые ею, не пастырские, но волчьи помыслы и заботы. Подобострастно подбежавший к нему пономарь был им встречен с явною лютою злобою, и уезжая, он не простирал, как то всегда бывало прежде, благословляющей десницы, но, сурово крикнув Прохору: «Погоняй!», скрылся в глубине брички.

С поры вышеписанного иерейского отъезда не было никаких вестей из Березовки, и вот теперь обратно везется приданое, – что должно означать это?

Пока я задавал себе такой вопрос, из лесу показался длинный, как аллея, тарантас, запряженный сытыми серыми лошадьми, которыми управлял незнакомый мне сурового вида возница.

– Налево заворачивай! Налево, слышишь? – раздался голос иерейши. – Прямо под крыльцо! Прохор! отъезжай дальше! Что ж ты стал на дороге, как пень? Чего рот-то разинул? Ворона заморская! вихрем тебя вынеси!

Невзирая на выразительность этого обращения, оно далеко уступало прежним громopodobным воззваниям. В нем не было следа прежней силы, звонкости, страсти; оно звучало как-то вяло, глухо. Это был еще глас трубный, но при звуке его воспрянувший смертный мог беспечно перевернуться на

другой бок и снова успокоиться.

Я кинулся с бывалою живостию моею к своему наблюдательному посту у забора и прижал лицо к отверстию, уже успевшему за непродолжительное время моего бесстрастного отношения к окружающему засноваться ползучим растением «паучком».

Тарантас остановился у иерейского крылечка, и я увидел выходящую из него иерейшу. Лицо ее было утомлено и бледно; черный платок, покрывавший голову, спущен на лоб по самые брови, что в наших местах служит признаком тяжелой утраты. Опухшие веки свидетельствовали об обильно пролитых слезах. Она бережно пронесла на руках в покои иерейские какое-то подобие корзины, обвитой убррусами, из которой, к несказанному моему изумлению, вдруг раздался младенческий крик.

За нею вышел из тарантаса отец Еремей, теперь снова сияющий благостынею, хотя горестный, но ясный, кроткий, покорный провидению.

– Михаил! – рек он, и голос его уподоблялся бесшумному плеску ручейка, тихо бегущего в глубоком ложе, устланном шелковистою зеленою лентообразных водяных лилий. – Михаил, мы приехали!

Подобие, холма, лежавшее во всю длину тарантаса, восколебалось, и из глубины его раздалось глухое жалобное мычание.

– Михаил! – снова рек отец Еремей: – мы приехали!

Новое мычанье, несравненно жалобнейшее, раздалось ему в ответ.

– Михаил! упадок духа противен господу! Покорись испытующему...

Третье мычанье, далеко превосходящее первые пронзительностью, огласило двор иерейский, и подобие холма мятежно всколебалось, как бы искажаемое землетрясением.

– Михаил! – воззвал отец Еремей душесмиряющим, грустно-кротким тоном. – Принеси мольбу ко стопам...

Но окончить он не мог: мычанье вдруг превратилось в рев, порывистое колебанье в скачки; рев затем начал прерываться дикими визгами; многочисленные одежды, подушки, узелки полетели в различные от тарантаса направления, и пред изумленными глазами моими выпрыгнул из тарантаса Михаил Михайлович Вертоградов и начал кататься по земле, испуская неистовейшие вопли; время от времени он мгновенно прекращал это покатыванье и начинал биться на одном месте, уподобляясь некоему чудовищному осетру, зацепленному острым рыболовным снарядом, причем облегчал себя дикими смехами и отчаянным подражанием различным певчим пернатым, преимущественно же меланхолической кукушке и громогласному петелю.

Долго отец Еремей, вспомоществуемый подоспевшим пономарем, безуспешно силился овладеть им: как расходившаяся хлябь морская раскидывает утлые челны, так он одним движом мощного плеча, одним боданьем широкой пяты не

только посылал по воздуху тщедушного пономаря, но даже опрокидывал и увесистого пастыря терновского храма.

Наконец он изнемог, и тогда его подняли и довели до крылечка, где он и пал на ступеньки, как мешок с мукою.

Пономарь, призывая родителя моего наивизгливейшими воплями, бегал и за святою водою в церковь, и за красным вином в иерейскую кладовую, и за полынем на опушку леса; он и вился, и парил, и кружился, и припадал, как чайка над раненым своим птенцом. Родитель мой, вызванный на место действия, не только находился в недоумении, куда направить стопы, к чему приложить руки, но, даже стоя на одном месте, являл из себя столь угловатое подобие божие, что, мнилось, природа, вопреки своему мудрому и благодетельному распределению, наградила его не правою и левою руками и ногами, а единственно левыми, и к тому же несколько парализованными. Иерейша, укачивая на руках кричащего младенца, время от времени высовывалась из окошка и, рыдая, раздражалась и увещаниями, и укорами, и проклятиями. В глубине двора приезжий, суровый на вид возница спокойно выпрягал коней из тарантаса, между тем как Прохор из амбарного окошечка с видимым наслаждением наблюдал за доселе невиданными им припадками горести.

Успокоившийся, притихший страдалец вдруг снова взвизгнул и начал биться и пручаться, как исполинский младенец, но находчивая и сообразительная работница Лизавета мгновенно помогла ему, поднеся к носу тертого хрену.

Он чихнул так, что содрогнулась вся листва на близ растущей груше, а затем поднялся и сел, подперши дланями кручинную голову.

Кто бы узнал теперь прежнего пленительного, победоносного, гордого сознанием своей пленительности и силы жениха!

Вместо прежней лоснящейся, благоухающей пирамиды искусно и прилежно расположенных кудрей изумленному взору зрителя представлялось некое подобие взъерошенного дождем и бурей овина убогого поселянина; вместо алых, как бы покрытых лаком, ланит, вместо сытой белизны лица являлось обширное мясистое пространство, на котором, как бы вследствие долгого паренья в жарчайшей бане, все черты слились и два большие, круглые глаза поблескивали тускло, безжизненно, непрестанно моргая, подобно лампаде благочестивой, но бережливой хозяйки, которая, мудро сочетая парения духа с домашнею экономией, поставляет творцу вселенной не чистый, но смешанный с водой елей; вместо фасонистых одежд, веселящих взор яркостью красок, свежестию ткани, смятый халат небрежно облекал его тоже как бы распаренную, ослабевшую фигуру.

Несколько минут так сидел он, слабо всхлипывая; затем его мало-помалу начал клонить сон, сей верный помощник огорченных и страждущих; сначала отягченные слезами веки то слипались, то полуоткрывались, а наконец, когда неоскудный в ухищрениях и угодливости пономарь подсел

к его боку и, согнув колесообразно спину свою, расположил свое естество наподобие изголовья, он бессознательно прилег и забылся.

– Господь испытует... – проговорил родитель мой коснеющим языком. – Господь испытует...

– Избранных, – добавил отец Еремей, поднимая очи к небу и ладонью разглаживая несколько запутавшуюся бороду. – Да будет воля отца нашего небесного! Не яко же аз хощу...

– Да положите вы его на кровать! – раздался из окна слезный и гневный голос иерейши. – Чего вы его по полу-то валяете? Ошалели! Только умеешь бороду гладить! На плечах-то черепок пустой!

Отец Еремей, не отвечая на последние, очевидно к нему относившиеся, выразительные замечания, приблизился к забывшемуся страдальцу, приподнял его голову и тем освободил уже начинавшего изнемогать под бременем пономаря, который, проворно выюркнув из мучительного положения и поспешно отерев пот с лица, усердно принялся тянуть вверх без движения распростертые по крыльцу пухлые руки и ноги, пронзительно вскрикивая:

– Отец дьякон! берите за правую! Тише! головой ударите! Эх, лучше уж отойдите!

Каковые вскрикивания окончательно уничтожали моего смущенного родителя.

Все усилия их остались тщетными: страдалец или томно

мычал, или издавал жалобные вопли; только соединенными стараниями Прохора и приезжего возницы подняли, перенесли и уложили на ложе увесистую жертву рока.

Все вышеозначенное уже достаточно уяснило мне печальную истину, а рассказы прибежавшего к нам пономаря уничтожили последние сомнения: благолепная Ненила увяла в полном своем цвете! Жестокая Парка перерезала столь, казалось, крепкую нить ее жизни.

Слушая пономаря, уже успевшего собрать подробнейшие сведения о горестном и неожиданном происшествии, я погружался в сердцестесняющие размышления о непрочности и скоропроходимости всего земного. К помянутым размышлениям не замедлили припутаться другие, касающиеся рокового греховного влияния праотца Адама и сотворения мира. Заплутавшись в этих дебрях, я по обыкновению долго, до окончательного головокружения, искал из них выхода, тоскливо кидающийся во все стороны, но нигде не обретающий желанного.

Вы, чье детство протекло под умопомрачающим влиянием, вы, чьи страстные вопрошения оставались без ответа, чьи мучительные недоумения накоплялись с каждым протекающим днем, вы, с ужасом кружившиеся во мраке, вы поймете меня и вместе со мной содрогнетесь!

– *Сам* сюда придет! *Сам!* – говорил пономарь, вытягивая для вящей выразительности сухую шею и быстро двигая бровями. – Прибудет в скором времени!

– *Сам?* – восклицал отец мой с легким визгом. – *Сам?*
Творец вседержитель! *Сам!*

И он весь как-то съеживался, словно видел несущуюся на него лавину снежную, и закрывал глаза, как бы поручая себя провидению.

Едва долетело до слуха моего слово *сам*, едва я завидел возможное явление нового, живого, осязательного лица в нашей среде, отяготительные недоумения по поводу грехопадения прародителя и касательно сотворения мира тотчас же сдвинулись на задний план, и я, уже не рассеянно, а с жадностью внимающий каждому слову рассказчика, начал немедленно рисовать в воображении своем таинственный и по всем признакам властительный образ *самого*, который столь сильно занял все мои помышления, что сновидения этой ночи, совокупив в нем и последние впечатления протекшего дня, и первобытный хаос стихий, и добро и зло, душили меня различными неподобными призраками. То являлся он мне в виде неясного, туманного пространства, над которым беспорядочно носились исполинских размеров младенцы, кукарикующие, кукующие, неистово пручающиеся и бьющиеся, то в виде райского древа, увешанного не плодами познания, но пуховыми розовыми подушками, то в виде гигантской огненной розги, которая гналась за мной, настигала и вдруг превращалась в робкого моего родителя, шепчущего мне несвязные увещания возложить упование на промысл, то в виде громадного тарантаса, одаренного жизнью,

извергающего из глубины своей целый хаос земных и морских тварей и провозглашающего смиренным гласом отца Еремея: «Господь испытует избранных!», между тем как с другой стороны раскатывался пронзительный вопль иерейши: «Вот тебе и пятый день творения!»

Глава третья

Отец Мордарий и привидение

Весть о новом, постигшем отца Еремея несчастьи, а также о чрезмерной горести, даже доходящей до кликушества, зятя его, о прибытии этого зятя и его, по всем видимостям, долгом водворении в Тернах быстро разнеслась по окрестным селам, и все в этих местах священнодействующие поспешили навестить понесших столь чувствительную потерю собратий. Ежедневно к крылечку отца Еремея подкатывались одноколки, брички, тележки, нетычанки, из которых высаживались или выпрыгивали, смотря по летам, степени тучности и большей или меньшей живости нрава, разнобородые иереи и дьякона, а иногда и не менее их любознательные и мягкосердые иерейши и дьяконицы, обладавшие, способностию с таковою же непринужденностию источать потоки слез, с каковою они выпивали за один присест двухведерные самовары чаю. От двоякого этого упражнения они уезжали как бы слегка разваренные.

При прощанье не только их носовые убрисоподобные платки были мокры, но концы ярких косынок и шалей, равно как и развевающиеся ленты чепцов носили следы их сочувствия к горести ближнего, а на столе, вокруг опорожненного не раз самовара, на опрокинутых чашках оставались обгрызенные кругленькие, словно обточенные шарики сахару —

остатки прикуски, которую Македонская, сурово и раздражительно отирая слезы, катившиеся по впавшим ланитам, тщательно собирала и прятала.

Сочувствующему мужскому полу, как более сильному духом, подавали вместе с чаем закуску и водку, и сочувствие его хотя было в той же мере сильно, но сдержаннее, выражаясь глубокими вздохами, приведением текстов священного писания, примеров испытаний святых мучеников и посулами наград в загробной жизни за претерпенные на земле страдания.

Но хотя, повидимому, здесь царила взаимная приязнь самого лучшего свойства, под внешнею расположенностью свирепствовали обоюдное недовольство и раздражение, замышлялись ковы, строились засады, что не замедлило и обнаружиться.

Не успел полный лик луны и на четверть убавиться, как уже одноколки, брички и прочие подобные способы передвижения перестали появляться во дворе отца Еремея.

Последнее посещение, несколько разъяснившее мне тайную суть дела, ознаменовалось взрывом долго сдерживаемого негодования.

В недалеком расстоянии от Тернов священнодействовал иерей Главоотсеченский Мордарий, известный строптивостию нрава, пронизательностию ума и необузданностию во всех случаях, где касалось достижения ласкаемого им желания.

Я, наблюдающий с свойственной мне любознательностию и вниманием все вокруг меня совершающееся, уже заметил, что помянутый иерей Мордарий начал являться к отцу Еремею не в положенные для посещений часы, как, например, час утреннего рассвета, обеда или же ночного успокоения, и что всякий раз, просидев замечательно долгое время, он уезжает в возбужденном состоянии. Последнее обстоятельство ясно доказывалось громогласными позорными прозвищами, которые он расточал не только своему вознице, но и супруге своей, запуганной (и потому, быть может, всегда не попад все говорящей и делающей жене), отличавшейся (тоже, быть может, вследствие беспрестанных страхов и тревожных вскакиваний на грозный зов иерея) угловатостию движений и несообразительностию речей.

Однажды, когда уже все в природе почило и глубокая темнота ненастного осеннего вечера обняла землю, я вдруг услышал отдаленный конский топот. Топот этот все приближался, приближался, затем раздался у иерейского двора. Я слышал, как расплескал конь большую лужу у иерейских ворот, как фыркнул, став у крылечка, и как начался торопливый, нетерпеливый стук в двери.

– Кто там? – послышался голос Лизаветы.

Ответа я не мог уловить слухом, но до меня явственно долетели восклицания Лизаветы:

– Батюшка! Я боюсь отворять: тут кто-то шепчет под дверью!

«Это сам прибыл!» – подумал я и, в одно мгновение беспорядочно накинув на себя одежды, выскользнул из дому.

Но отчего *сам* является во тьме ночной, как тать? Это привело бы меня, ожидавшего прибытия торжественного, в немалое изумление, если бы я уже не успел отроческим своим опытом дойти до того уразумения, что *сами* мира сего отступают от положенных правил и порядков, когда это им благоугодно.

Между тем как я, охваченный ночью сыростию, пробирался поближе к иерейскому жилищу, в окне его показался свет.

– Кто там? – мягко раздался изнутри голос отца Еремея.

– Да отворите! – отвечал ему с крыльца раздраженный голос, который я тот же час признал за голос отца Мордария. – Пустите!

Завизжали запоры, двери отворились, и отец Еремей со свечою в деснице встретил позднего гостя вопросом:

– Откуда так поздно?

Лицо его, освещенное пылающей свечой, являло приветливость, улыбалось, но он не давал себе труда совершенно надевать маску, а только слегка прикрывался ею, не заботясь о том, как ясно из-под нее выглядывали злость и насмешка.

– Я заблудился, – отвечал отец Мордарий. – А вы, кажется, собирались в город?

Он, видимо, себя сдерживал, но в глухих звуках его голоса уже явственно слышалось бешенство.

– Пожалуйте, отдохните, – продолжал отец Еремей: – только потише: больной спит!

С этими словами они вошли в покои, и двери за ними затворились.

Разочарованный в своих ожиданиях, я возвратился и, снова успокоясь на ложе своем, вопрошал себя о причине частых и несвоевременных посещений отца Мордария; вдруг застучали в наше окошечко с такою силою, что все наше жилище как бы всколебалось. Отец, внезапно пробужденный от сна, вскочил в ужасе и дрожащим голосом прошептал:

– Кто там?

– Отвори, это я! Да отвори ж!

Я поспешно исполнил за него столь настоятельно требуемое, и отец Мордарий, подобный урагану степей, ринулся в нашу убогую светлицу, ниспровергнул на пути своем скамью и лукошко и бросился на лавку, тяжело дыша и буйно откидывая назад космы гривоподобных волос и бороды.

При слабом свете лампы я мог заметить, как ужасно он раздымается гневом и пышет грозой.

Между тем родитель мой, изумленный, встревоженный и смущенный, стоя пред ним и прикрывая рясою наготу свою, видимо не знал, каким приветствием встречать неожиданно-го полуночного гостя.

– Как бог милует, отец Мордарий? – наконец проговорил он. – Супруга ваша как...

Он не закончил и в страхе отпрянул.

Звук его робкого голоса как бы сдвинул последний оплот, задерживавший бурный поток Мордариева негодования, — он разразился столь же обильными, как и бешеными проклятиями и безумными угрозами.

— Отец Мордарий! отец Мордарий! — лепетал мой родитель, трепещущий подобно осиновому листу в непогоду. — Отец Мордарий!

— А, он его прячет! — восклицал отец Мордарий. — Хорошо! Прячь, прячь! (Я опускаю выражения, могущие оскорбить деликатный слух читателя.) Я на все пойду! Мне теперь все нипочем! На каторгу уйду, в гроб лягу, а уж таки доеду! Пусть расстригают — экая важность! Пусть хоть распинают — мне это тьфу! Плюнуть да растереть!

И он неистово плевал и растирал плевки огромным своим сапогом так рьяно, что уносил каблуком частицы нашего ветхого пола.

— Блажени миротворцы, яко тии...

— Что? Пареная ты репа! Что? Миротворцы! Ха-ха-ха! (Я снова опускаю выражения, могущие оскорбить деликатный слух благосклонного читателя.)

— А он миротворец, а? Он миротворец, говори мне! Ну, говори! Он много кого умиротворил, говори!

Но родитель мой говорить не мог, а только трепетал.

— Зачем он теперь его прячет от всех? Ну, зачем? «Больной», поет, «больной»! Знаем мы, какой больной! Я христианин, я служитель храма господня, я хочу навещать стражду-

щих, – на это закон ведь есть! А он мне: «Вот бедный младенец!» И велит подать младенца! На что мне младенец? Мне этот младенец все одно как летошний снег! Я ведь жену по его милости избил! Посылаю ее, наказываю: «Умри, а повидай зятя!» И ей не показал, – и я ее измолотил! А чем она виновата? Да погоди, дружок, погоди: будет и на нашей улице праздник! Ничего не пожалею: ни имущества, ни жизни своей! Расстригой буду, а уж на своем поставлю! «Нате вам младенца! Поглядите на младенца!» Ха, ха, ха! Нет, мне надо не младенца, – мне надо теперь...

Он выразительно стиснул свои громадные кулаки, снова захохотал зловещим смехом и пояснил:

– Повыжать из тебя соку!

В это время дверь, в волнении нашем оставленная непритворенною, тихонько, воровски скрипнула, и на пороге показалась лисоподобная мордочка пономаря, вытянутая вперед, как бы обнюхивающая близкую добычу.

Отец Мордарий, уже изливший достаточную долю своего негодования и потому значительно остывший, а следственно, и пользующийся хотя частию своей обычной прозорливости и сметливости, хотя и встретил появление пономаря насмешкою и презрением, однакоже ни единым уже прямым словом не выдал себя.

– Что, Лиса Патрикеевна, – раздражительно обратился он к вошедшему, – зачем пожаловала? Нюхай, нюхай, голубушка! На здоровье тебе, касатка!

– Хе, хе, хе! – хихикал пономарь, усаживаясь на лавке, как приглашенный. – Хе, хе, хе! А я слышу, разговаривают у отца дьякона, и думаю: дай-ка и я зайду.

– Откуда ж это слышал, что тут разговаривают? – презрительно спросил отец Мордарий.

– А вот шел мимо...

– Куда ж это ты ходишь мимо по ночам? – спросил отец Мордарий еще презрительнее.

– Да вот услышал, лошадь фыркает, и думаю: надо посмотреть, какая это лошадь...

Очевидно, плавные и последовательные ответы были у него подготовлены, – не только плавные и последовательные, но даже с малой дозой язвительности, которую он позволял себе всегда и везде там, где считал то для себя безвредным.

Отец Мордарий это понял и тотчас же прервал его вопросом:

– Это ты, верно, мою лошадь слышал. Сорвалась, окаянная, и пропала как бесовское наваждение! Что ж, отец дьякон, поможешь, что ль, ее изловить?

– Сейчас, отец Мордарий, сейчас... сию минуту... Тимош, где мои сапоги?

Он кидался из стороны в сторону, отыскивая принадлежности своего одеяния.

Отец Мордарий уже встал с лавки и нетерпеливо следил за его беспорядочными движениями.

– Полно метаться-то! Что ты там шаришь – там только

пустое корыто! Вон сапоги, перед тобою! – восклицал он с возрастающей досадою.

– Я пойду поищу лошадь, – сказал я, обращаясь к отцу Мордарию.

Он обернул ко мне свою широкую буйволообразную физиономию, сурово окинул меня взглядом и, внезапно смягчившись, ответил:

– Ладно, ладно. Не тревожь себя, отец дьякон: пусть сын переменит твою старость. Прощай, милости просим к нам! Ну, молодец, шевелись!

С этими последними словами, обращенными ко мне, отец Мордарий, насунув на косматую голову измятую в порывах гнева шляпу, шагнул за двери, не обратив к пономарю прощального слова, ниже хотя бы небрежного кивка.

Я резво за ним последовал.

Ночь была темная, тихая; мелкий дождичек бесшумно, но часто, как из сита, моросил; издалека, из глубины леса долетало жалобное завыванье уже начинавших голодать волков.

Изрыгнув несколько проклятий на темноту ночную, на непогоду осеннюю, на холод, до костей пронимающий, отец Мордарий тихонько засвистал. В ответ на этот свист тотчас же раздалось легкое, ласковое ржанье.

– Вот она где! – проговорил отец Мордарий, направляясь в ту сторону, откуда раздалось вышепомянутое ржанье.

Продрогшая лошадь его скоро была нами поймана у иерейского забора, и отец Мордарий, еще ниже насунув шап-

ку и откинув рукава рысы, вспрыгнул на нее с удовлетворительной ловкостью.

– Выломи-ка чем погонять, – сказал он мне, умащиваясь на колеблющейся подушке, безыскусственно прикрепленной веревками к хребту лошади, из которой, при каждом его нетерпеливом движении, брызгали струйки накопившейся дождевой влаги.

Поспешно сломив и подавая ему березовую ветвь, я вдруг, сам не постигая как, сказал:

– Зачем он его прячет?

– Что? – спросил изумленный моим обращением отец Мордарий.

– Он его прячет от вас? Зачем? Вы знаете, зачем?

Я говорил как во сне, не рассуждая о уместности, ниже последствиях моих речей.

Отец Мордарий положил мне на плечо полупудовую десницу свою и, склоняясь ко мне ласково, сказал:

– А ты что знаешь? Говори, не бойся! Ты видел его?

– Видел.

– Когда?

– Вчера ввечеру.

– Что ж он делал? Где ты его видел?

– Он под окошком сидел, – под тем, что в сад, – и орехи грыз, а потом муху ловил...

– А потом?

– Потом пришел отец Еремей и стал что-то ему говорить,

и он стал плакать.

– А ты не слышал, что отец Еремей ему говорил?

– Нет.

– А ты видел, как он кликушей кричит?

– Видел.

– И он вправду кричит?

– Вправду.

– Му, расскажи мне все, как это бывает.

Я со всею подробностью передал ему припадок Вертоградова, которым ознаменовалось прибытие его в Терны, а также и последующие два, показавшиеся мне менее продолжительными и далеко не столь сильными.

Отец Мордарий погладил меня по голове, давая мне этим почувствовать свое доброе ко мне расположение.

– Ты вот что сделай, – сказал он мне: – ты как-нибудь подслушай, что они будут говорить... И все это запомни... все, до единого словечка... Слышишь?

– Слышу, – отвечал я.

– Вот тебе на пряники. Смотри, все запомни... Я после еще на пряники дам...

Он махнул ветвию, лошадь пустилась вскачь, и он скрылся во мраке.

Конский топот еще не успел смолкнуть, как уже отец мой показался па пороге нашего жилища и тоскливо меня окликнул.

Я поспешил на его зов, сказал, что лошадь отца Мордария

была найдена у иерейского забора, и, под предлогом будто бы одолевающей меня дремоты, тотчас же отправился на ложе свое.

Отец долго еще шептался с пономарем, но я, занятый своими соображениями, не прислушивался на этот раз к их шепоту; наконец пономарь ушел, отец уснул, а я, волнуемый ожиданием завтрашнего дня и имеющих в этот день быть моих подвигов, долго еще не обретал успокоения; только на рассвете благодетельный сон сомкнул мои отяжелевшие вежды.

Невзирая на столь позднее и беспокойное бдение, я на следующее утро проснулся ранее обыкновенного и с лихорадочною поспешностью направился тайными обходами через бурьяны к саду иерейскому.

Я решил во что бы то ни стало исполнить поручение отца Мордария, или, говоря точнее и правильнее, я стремился во что бы то ни стало удовлетворить свое собственное страстное желание – дознаться, какие новые ковы строит ненавистный мне человек, и, если возможно, хотя бы и ценою самых несносных страданий, эти ковы разрушить, а его посрамить.

Все мне на этот раз, казалось, благоприятствовало: после ненастной ночи наступило теплое, ясное утро, благорастворенности воздуха необычайной, так что все окна иерейские были отворены. Благоприятствующая мне судьба этим еще не ограничилась, но послала две партии деревенских крестьян, которые отвлекли отца Еремея из дому.

Хотя с значительным замиранием сердца, но без малейшего колебания я осторожно пробрался во владения иерейские, прямо под окна, выходящие в сад, где, схоронившись в часто растущих калиновых кустах, приготовился терпеливо выждать появление интересовавшего меня прежде обольстительного франта, а теперь злополучного страдальца, Михаила Вертотрадова.

Терпению моему в этот день предоставлена была изрядная практика: долго открытое окошечко, куда я устремлял жадно выжидающие взоры, не являло мне ничего, кроме уголка во внутренности покоя, откуда тускло сияла лампада, освещавшая слабым мерцанием лик святого угодника и чудотворца Николая, грозно вызиравший из позолоченной ризы и готовый, казалось, так же пламенно покарать всякого противящегося ему грешника, как покарал он нечестивого Ария на богословском прении.

Как всегда это бывает в подобных случаях, сначала мгновения казались мне веками, каждый шум заставлял меня вздрагивать, но мало-помалу я, так сказать, освоился с тревогами ожидания, и мысли мои, хотя сосредоточиваясь на ожидаемом, уносились, однако, временами и в другие стороны.

Место, где я находился, было для меня исполнено любезных воспоминаний. Коль часто я поджидал тут в былое время незабвенную Настю или же являлся на условленное с нею свидание!

С сердце стесняющею живостию представлялись мне ее улыбки, блистающие звездоподобные очи, пленительный смех, увлекающая, как весенний поток, веселость, неустрашима нежность... Где сиявший мне путеводным светиллом Софроний? Я вспомнил и последнего, отнятого у меня неумолимою смертью друга...

О ты, благосклонный читатель, коему хотя наскоро, хотя почти бессознательно удалось захватить трепещущими устами каплю меду – хотя бы единую каплю, – ты можешь вместе со мною уразуметь всю мучительную истину народной пословицы, гласящей, что «попынь – после меду горче самой себя».

Задыхаясь от этой горечи и поставляя неизощренному уму своему легионы тоскливых «почему», «за что» и «отчего», я погрузился в головоломное это упражнение, от которого отвлек меня раздавшийся поблизости легкий свист.

Я оглянулся и – да представит себе всякий мое изумление! У окна сидел предмет моего выжидания, и свист, заставивший меня очнуться, этот свист вылетал из его уст!

Обернутый в рововое ситцевое одеяло, он бесцельно и тоскливо глядел в пространство. Правда, прежде круглое подборadie и алые ланиты, напоминавшие своею пухлостью дующих в ликовании херувимов, теперь пожелтели, обвисли, горделивая, победоносная осанка затмилась унынием, но более ужасных разрушений горесть и недуг не произвели. Сидя в этом розовом одеяле и тихонько насвистывая, без малей-

шего признака мысли на челе, он походил на некоего младенца-исполина, который только что воспринял исправительную кару от строгого наставника, находится под неприятным и болезненным впечатлением означенной кары, но смягчись покаравший его и выпусти его гулять, все уныние его мгновенно рассеется, он устремится на новые забавы и огласит воздух выражениями своей утехи и веселости.

Желая привлечь его внимание, я тихонько кашлянул. Он тотчас весь встрепенулся и стал тревожно озираться во все стороны. Я повторил и, видя, что расширившиеся глаза его обратились на мое тайное убежище, пошевелил ветвями калины и как бы невзначай высунул наружу руку.

Вместо ожидаемого мной вопроса: «Кто тут в кустах», на который я уже приготовил и приличный ответ, он испустил дикий вопль, судорожно рванул розовое одеяло с плечей своих и закрылся им с головою, как бы обезумев от ужаса и ища укрыться от страшного видения.

Не постигая причины этого ужаса, я некоторое время ожидал, пока он оправится, но, видя, что он остается неподвижен под одеялом, как убитый, я решительно приблизился к самому подоконнику и сказал:

– Здравствуйте, Михаил Михайлович.

Он поспешно сорвал с головы одеяло и обратил ко мне обрадованное, но еще мертвенное от недавнего испуга лицо. Он был столь растерян и жалок, что я, отложив в сторону приготовленные мною лукавые речи, спросил его:

– Чего вы испугались?

– Я... думал... она... – пролепетал он, заикаясь и тревожно оглядываясь.

– Кто она?

– Она... тень... она... ее тень...

– Чья тень? Ненилина?

Он с жалобным видом кивнул головой и прошептал:

– Да, да... да!.. И днем, и светло, и то она приходит... Так и дышит около меня... так и...

Он не окончил, содрогнулся и пугливо стал прислушиваться.

Я тоже, должен признаться, не без волнения оглянулся, но поразмыслив несколько, успокоился. По всем преданиям, только тени самоубийц, душегубцев, предательски умерщвленных, волхвов и чародеев обречены по скончании земного живота своего еще появляться на театре прежних своих действий; представить же себе благолепную Ненилу причастною какой-либо из вышевычисленных категорий было для меня столь же немислимо, как вообразить невинную молодую морковь ядовитым деревом анчаром.

– Это вам, видно, так померещилось, – сказал я.

– Нет, нет, не померещилось! – возразил он с отчаянием. –

Приходит! всякую ночь...

– А вы креститесь? Читаете от лукавого?

– Не берет! Она все-таки подходит... дотрогивается... пальцы как лед... говорит...

– Что же она говорит?

– Нельзя сказать... нельзя!

– Отчего нельзя?

– Не велит! Грозится: задушу! хватает за горло... «Если ты меня забудешь, так я тебя...»

– Что «тебя»?

Но он как бы внезапно онемел и снова прислушивался.

– Никого нету, – сказал я. – Теперь тень не может показаться, – светло, день... Тень только в полночь...

– В полночь... в полночь... – повторил он, – да, в полночь... «Если ты выедешь из Тернов, так я тебя...»

– Что ж «тебя»?

– Так и шепчет: «Так я тебя...» «так я тебя...» «Отдай все папеньке на церковь, а то я тебя...»

Говор и шум, раздавшиеся на паперти, дали мне знать, что обряд крещения совершен и что время мне подумать о благополучном и осмотрительном отступлении.

– Прощайте, – сказал я.

– Куда ж ты? – воскликнул он с горестью. – Куда? Погоди, не ходи! Побудь еще! Побудь! Я тебе рубль дам! Вот, вот бери! Целый рубль бери!

Тревога и тоска его были столь велики, что даже слезы потекли по его ланитам, между тем как торопливою рукою он шарил в кармане, отыскивая посуленного мне рубля.

– Нету, нету, – пробормотал он, – не знаю где... Я тебе после отдам... Ей-богу, отдам... два отдам, только ты со мной

побудь! Два! целых два дам...

– Я после приду, – сказал я. – После... Отец Еремей идет...

– Идет? идет? Уж близко? Близко?

Он тоскливо заметался.

– Так я после...

– Да, да... после, после... Ты приходи... Слышишь? приходи...

– Приду, приду, – отвечал я, торопливо раздвигая должествующие меня скрыть кусты, ибо слышал уже подобострастный голос пономаря, восклицающий в иерейском дворе:

– Я их знаю, батюшка! Я видел, как они живут... Корова, и овцы, и кабан... просто благословение божие! И пара волков... Но нераскайанны, жадны... ко святому храму не усердны...

Я поспешно раздвинул кусты, как вдруг за мной как бы выплеснули огромный горшок растопленного масла на горячие уголья. Я быстро отпрянул в сторону, пугливо оглянулся... По испуг мой, обратившийся бы при иных, не столь печальных обстоятельствах, в неудержимый смех, сменился улыбкою.

Большая часть грузного туловища Михаила Вертоградова высунулась из окна, дородная выя его елико возможно вытянулась вперед, колесообразные брови поднялись до самой черты включенных кудрей, круглые глаза выпучились,

а из пухлых уст, сложившихся в несказанно уморительную форму, несколько напоминающую горлышко сосудов, специально фабрикуемых для торговли святой водою Почаевской чудотворной богородицы, исходил шипящий, напряженный шепот, принятый мною за шипение масла на углях.

Я приостановился и расслушал:

– Приходи ж... приходи... Два дам... Еще дам... Приходи!..

– К господню храму не усердны, христианских правил не соблюдаете, – доносился голос пономаря, перешедший уже в иной тон.

На что незнакомый мне женский голос печально ответил:

– Ничего теперь нету: ведь мы погорели! Все продали. Только корова осталась. Кабы не корова, так хоть по миру иди! Нищие мы теперь...

– И нищие должны приносить свою лепту! Нищий тоже Христианин, святым крещением крещен! За беззаконие господь и наказует...

– Приходи ж... приходи... – шептал Михаил Вертоградов, усиливая свои мольбы быстрыми киваньями.

Ответив ему успокоительными знаками, я благополучно возвратился домой.

Довольный превзошедшим мои ожидания успехом свидания, я был, однакоже, немало озабочен предполагаемыми явлениями Ненилиной тени. Я не мог сомневаться в истине по-

казаний Михаила Вертоградова: жалкий его вид и плачевное расстройство духа ясно свидетельствовали о его чистосердечии. Но, с другой стороны, Ненила, столь безмятежная во время земного жития своего, столь тяжелая на подъем, носится по смерти своей легкою тенью, нашептывает мрачные угрозы!

Размышления эти привели меня к другим, не менее для моего детского разума неясным, о загробной жизни и о чудесном превращении усопших телес в нетленных духов, а последние свелись, на что со времени моего вступления во храм библейской науки сводились все мои головоломные упражнения, – то есть на роковое влияние грехопадения первых человеков и на сотворение мира.

Дабы несколько освежить утомленную, пылающую голову мою, я под вечер вышел на прогулку, но прогулка моя на этот раз длилась недолго: едва начала сгущаться вечерняя мгла, возбужденному моему воображению стали представляться нападающие на меня из глубины кущ лесных тени, раздающиеся вслед за мною глубокие вздохи; зацепившуюся за меня терновую иглу я принял за прикосновение не обретающей успокоения усопшей души.

Хотя я тут же вскоре убеждался, что все эти страхи неосновательные, тем не менее счел за лучшее возвратиться под кров отчий.

В безмолвии ночи, когда вокруг все успокоилось сном, я тоже довольно был смущаем: предприимчивая мышь, сва-

лившаяся с ветхой, не сдержавшей ее полки, слабый треск оседающих углов не пощаженной сокрушительным временем хаты нашей, скрип отцовского или же собственного моего ложа – все принималось мною за явления сверхъестественные и бросало меня то в жар, то в холод.

Невзирая на объемлющий меня трепет, я пламенно желал собственными очами своими увидеть сверхъестественное явление, и поутру, когда с яркими солнечными лучами исчезли все фантастические образы, рисовавшиеся в сумраке ночи, я твердо решил не уклоняться от встречи с тенью, но, буде она явится мне, встретить ее со всевозможным спокойствием и стойкостью.

Порешив это, я занялся назначенным свиданием с Михаилом Вертоградным.

Провидение, в неисповедимых путях своих одаряющее одних смертных расчетливым благоразумием, умеренными страстями и способностью относиться к самому близкому им делу только с безопасным и безвредным для себя усердием, а в других влагающее безумное презрение всяких мудрых самоограждений, готовность, говоря простонародным языком, лезть на прямо в их перси направленный рожон и пагубную беззаботность относительно могущих постигнуть бедствий, включило меня в число последних. Сбираясь проникнуть под окно Михаила Вертоградного, я готов был на всякие испытания и боялся только неудачи.

Я уже благополучно подбирался к калиновым кустам, как

вдруг услышал громко окликавшего меня родителя моего.

– Тимош! Тимош! – выкрикивал он, – Тимош, где ты? Поди сюда! Где ты?

Первою моею мыслию было притаиться и переждать, пока смолкнет родительский зов, но так как зов этот не смолкал, а, напротив того, становился все пронзительнее, то я переменил намерение и, обежав с противоположной стороны огорода, явился как бы возвратившийся из лесу.

Родитель поспешно схватил меня за руку и повлек, повторяя:

– Матушка тебя кличет... ты матушке надобен...

– Зачем? – спросил я, слегка упираясь.

– Надобен, надобен... скорей, Тимош, скорей, – лепетал он скороговоркою.

– Зачем? – повторил я снова, упираясь.

– Да ты это чего кобенишься-то, а? – вдруг раздался грозный голос Македонской. – Тебе это какое дело, на что ты надобен, а? Ах ты, пострел! ишь разбаловался как! Прямой ты шалопай, отец дьякон, как погляжу я на тебя: так распустил мальчишку, что срамота! Ну, ты, свиненок, поворачивайся! Ступай за мной! Ну, двигайся! Ты что, косолапый, что ли?

Она привела меня в свою, знакомую уже мне опочивальню, где рядом с пространым пуховым ложем под ярким пологом висела плетеная колыбель с плачущим младенцем.

Македонская дала ему рожок и тем его мгновенно успокоила.

– Качай его! – повелела она, кивая на младенца. Я повиновался.

Не удостоив меня дальнейшим объяснением, Македонская удалилась.

Не без любопытства устремил я взоры на невинное и несмысленное творение, лежащее в колыбели.

То была крупная, сытая девочка, энергически тянувшая из рожка молоко и напоминавшая как благообразием, так и аппетитом виновницу дней своих.

Закачав младенца, я долгое время сидел, бездействуя и недоумевая, что будет дальше.

Наконец снова явилась Македонская.

– Пошел, надергай моркови на огороде, да у меня, смотри, живо!

Возвратившись с морковью, я был отправлен по воду к колодцу, затем мне приказано было выполоскать телячью голову, затем вымести сени.

В жизни, любезный читатель, обстоятельства иногда так же благоприятствуют, как и в романах, где автор располагает их по своему собственному усмотрению. Как автором подведенная катастрофа очищает поле для подвигов романического героя, так внезапная болезнь работницы Лизаветы открыла мне беспрепятственный доступ вовнутрь иерейского жилища.

И сколь недаленовидны, о читатель, наиизошреннейшие из нас в расчетах житейских! Сколь часто, тщательно обере-

гаясь видимо пред нами зияющей бездны, искусно балансируем между бездн, представляющихся нам справа и слева, озираемся неустанно назад, не угрожает ли там коварно разверзшаяся пропасть, подпрыдываем, пятимся, перескакиваем, превосходя сноровкою и ловкостью самих серн альпийских гор, и вдруг внезапно низвергаемся в ничтожную, нами и не подозреваемую ямку, в этом неожиданном низвержении разбиваемся (иногда даже без надежды на поправление), и все наши чудодейственные дотоле ухищрения бываю́т посрамлены и пропадают втуне!

Прозорливый, осмотрительный отец Еремей не только на мое водворение в его покоях, но и на общение мое с бдительно охраняемым им больным посмотрел без всяких опасений.

Невзирая на угрозы иерейши, возлагавшей на меня обязанности, как будто бы я был наделен не обычным, положенным предусмотрительною природою, количеством рук и ног, но удесятеренным, я все-таки изошрялся уловливать мгновения, которые мог посвящать Михаилу Вертоградову, то есть или игре в свои козыри, в фофаны, в мельники, или устроению на его подоконнике силков для бойких синиц и красногрудых щеглов.

Отец Еремей и на это смотрел не только снисходительным, но даже благосклонным оком. Он не раз, презирая громаы Македонской, сам призывал меня к этим забавам, собственноручно вручая нам прикорм для легковерных пернатых или же новые карты.

Мало-помалу, незаметно для беспокойной, но несообразительной иерейши, все работы по домашнему хозяйству возлегли на нее, а я сделался почти постоянным собеседником архиерейского племянника.

Для вникающего вглубь вещей наблюдателя небезынтересно, мне кажется, было бы взглянуть на Михаила Вертоградова, когда он, нахмутив мясистое чело свое, терялся в соображениях, как выгоднее пустить в ход червонного туза или пиковую даму, или когда он, оставив меня в фофанах (что, впрочем, редко ему удавалось), ликовал, подсакивая на своем сиденье, шелкая перстами и оглашая вмещавшую нас светлицу торжествующими восклицаниями:

– А что? а что? Фофан, фофан! У-у-у, фофан!

Или когда он, уязвленный в своей гордости моим спокойным возгласом: «Вы остались!», с бывалым высокомерием и непризнанием для себя общих законов разметывал карты по полу и властительно вопил:

– Нет, не хочу! Переиграть сызнова! Не хочу! Не согласен! Переиграть!

– Никто не переигрывает, коли уж раз игра сыграна, – замечал я.

– А мне что за дело, что никто? Я хочу переигрывать! Сдавай!

И если я медлил повиноваться, он неистово топал ногами, стучал кулаком по столу и яростно обвинял меня в продержности.

Я же, не одаренный, как читатель и сам уже мог из записок моих заключить, агнецподобною кротостию, нередко искушаем был трудно победимым стремлением противоборствовать несправедливо посягающему на мое человеческое достоинство, но мысль лишиться возможности доступа в иерейское жилище укрощала меня паче пут железных.

Что же привлекало меня в жилище иерейском?

Я ежечасно теперь лицезрел того, кто занимал умы всего окрестного духовенства, но общение это, вместо того чтобы обогатить мою любознательность чем-либо новым, трагическим, необычайным, только способствовало моему разочарованию, представляя мне незамысловатые, повидимому обыденные явления мирной иерейской жизни. Я, правда, чувствовал где-то обретавшиеся коварные сети, расставляемые отцом Еремеем, но где они, для кого уготованы и почто, не мог себе уяснить и уже начал отступать перед неразрешимую загадку, как пред прочими непостижимыми библейскими тайнами.

Меня привлекала, читатель, тень Ненилы. Тень эта, за последнее время являвшаяся несравненно реже, занимала все мои помышления. Прежнее трепетное, робкое желание обратилось теперь в неотступно преследующее, непрестанно палящее безумие. Все остальное затмилось предо мною; я готов был не только ценою всевозможных мучений и бедствий, но даже ценою самой жизни купить осуществление поглотившей меня мечты. Все страхи мои исчезли, или,

лучше сказать, победоносно сокрушились страстию. Ложась спать, я не читал молитв на сон грядущий, не осенял моего изголовья крестным знамением, но, пламенно призвав троекратно дух Ненилы, да явится, мужественно и страстно ожидал появления легкого призрака.

Но тщетно взывал я: тень, уподоблявшаяся своею тяжестью на подъем и тупым равнодушием к волнениям людей плотской Нениле, не появилась ни разу. Очевидно, тень удостоивала вниманием только земного супруга своего и для него только оставляла таинственные поля елисейские.

Но и тут, как я уже выше упомянул, посещения ее становились реже. В последнее свое появление она, по свидетельству Вертоградова, уже не изрекала угроз, но выразила свое довольство ласковым прикосновением перстов к его ланитам и советом всегда блюсти душу свою, как блюдет теперь.

По всем видимостям, загробную жительницу смягчило безупречное течение его жизни, чуждой всяких греховных помышлений и услаждаемой единственно забавами невинными, скорее свойственными отроку, нежели мужу.

Последнее появление тени, хотя отнюдь не угрожающее, а, так сказать, сочувствующее, тем не менее расстроило слабого духом Вертоградова. При наступлении ночи, видя его возрастающее ежеминутно волнение, я искусными наведениями вразумил его обратиться к отцу Еремею с просьбою о дозволении мне ночевать в занимаемой им светлице.

Отец Еремей, выслушав и подумав, разрешил это без вся-

кого прекословия, и с той поры я расстилал каждый вечер свою попону близ пухового ложа, в котором утопали изнеженные тела молодого иерея.

Первую ночь я провел в лихорадочном ожидании, но тень не явилась.

Прошло еще много ночей, ничем, кроме несносного, с шипеньем, свистом и воем, храпа Вертоградова, не ознаменовавшихся. Я начинал впадать в уныние и отчаиваться в осуществлении ласкаемой мечты.

Между тем Михаил Вертоградов, напротив того, воскресал духом и поправлялся телом. На ланитах его снова стал заигрывать алый румянец, и они, как повисшие паруса при благоприятном для плавания ветре, снова стали натягиваться и лосниться.

Но по мере того как возвращались к нему веселие и бывалый аппетит, характер его утрачивал мягкость и уступчивость, невинные забавы начинали постылеть и докучать, и бездействие, соединенное с одолевающей его тоской по прежней разгульной жизни, подвигало его на различные дерзновенные вспышки.

Наконец он дошел до того, что, забыв завет тени, объявил отцу Еремею о своем желании возвратиться в собственный дом свой, в Березовку.

Отец Еремей, обнаруживавший при всех его выходках мягкость, ласковость и снисходительность неистощимые, нашел это желание естественным и, выразив кротко скорбь

свою при мысли о разлуке с тем, кто в сердце его занимал место родного сына, обещал озаботиться нужными для отъезда распоряжениями, благословил неблагодарного, стремящегося покинуть гостеприимный кров, и удалился на покой.

– Ты со мной поедешь! – сказал мне Вертоградов так спокойно и уверенно, как бы дело шло о его собственном подьячнике, а не о твари, одаренной от господина разумом и волею.

– Не знаю, – отвечал я, выражая тоном голоса мое сомнение. – Не знаю!

– Я знаю! – сказал он надменно.

И, приказав мне поправить лампаду пред иконою Николая чудотворца, гордо завернулся в одеяло.

Это высказанное им намерение увезти меня с собою сильно заняло мои мысли. С одной стороны, перемена местожительства, как все новое, неведомое, манила меня, задыхавшегося в терновской нашей среде, но, с другой стороны, душе моей претило рабство, несомненно ожидавшее меня в службе у прихотливого патрона.

В этих сомнениях я уснул. Не могу определить с точности, долго ли я покоился сном, когда вдруг дикий, пронзительный вопль, раздавшийся над самым моим ухом, заставил меня воспрянуть, как внезапно стегнутого бичом козленка.

Да представит себе благосклонный читатель мой, если могу так выразиться, радостный ужас: привидение явственно, как живая плоть и кровь, явилось жадным очам моим!

Да, привидение, столь чаемое мною, явилось! Хотя лампа-

да угасла и звезды слабо мерцали из-за туч, но я видел каждую складку его во мраке белеющего саваноподобного, развевающегося покрывала и угрожающе поднятую десницу!

Невзирая на обуревавшие меня волнение и смятенное состояние духа, меня поразили тяжелая поступь и медленные осмотрительные движения бесплотного духа. Казалось, Ненила не только не освободилась от брэнной своей оболочки, но изумительно распространилась вширь и ввысь. Она не парила, подобно неуловимому, неосязаемому призраку, а передвигалась, как богато нагруженная ладья.

Вдруг тень, как бы угадав мои критические недоумения, быстро ко мне подступила...

Все помутилось в очах моих, я испустил крик ужаса, метнулся в сторону, ниспроверг попавшийся мне столик, купно с коим задребезжали стакан и графин, покатились пробка; я, поколебленный этим препятствием, не удержал равновесия, упал ниц, за мной следом споткнулось и бухнулось оземь что-то громадное, какое-то пухлое тело придавило меня, – я лишился чувств.

– Что такое случилось? – спросил входящий к нам поутру отец Еремей, попеременно обращая изумленные взоры то на подбираемые мною осколки стекла, то на мое, еще искаженное недавним ужасом лицо, то на Вертоградова, стонающего в глубине пуховика и подушек. – Что такое?

– Являлась! Опять являлась! – жалобно простонал Вертоградов. – Нет, я лучше не поеду... Опять являлась!..

Отец Еремей возвел очи горе.

– Я отслужу опять сегодня панихиду, – проговорил он печально. – Да успокоит ее душу моя грешная молитва!

Глава четвертая

Мать Секлетея. – Коса находит па камень

Спустя пять дней после вышеописанного приключения, в одно прекраснейшее осеннее утро я с вновь присмирившим моим патроном развлекались игрою в фофаны.

Я, сдерживая мятежно бунтующее сердце, покорно предавался давно опостылевшей забаве, напряженно прислушиваясь в то же время к долетавшему из приемного покоя зычному голосу отца Мордария, прибывшего, судя по тону его речей и по нередко рокотавшему смеху, в веселом расположении духа.

– Ну-ка, покрой вот эту кралю! Ну-ка! – говорил мой собеседник, несколько оживляясь.

Я равнодушно крыл или столь же бесстрастно объявлял свою несостоятельность.

– Лучше в мельники! – сказал он, наконец, с неудовольствием.

– Ну, в мельники, – отвечал я беспрекословно.

– Больших козырей и красных мастей вам! – вдруг раздался в открытое окно чей-то незнакомый, звонкий и веселый голос.

Вертоградов выронил карты из рук, а я вздрогнул от изум-

ления.

У самого окна нашего стояла, неслышными шагами, как кошка, подобравшаяся, улыбающаяся, уже зрелых лет монахиня.

– Благословите, батюшка! – умильно обратилась она к Вертоградову.

Он нерешительно сложил персты на благословение.

– Забавляетесь карточками, отец Михаил?

– Да-а... да-а-а...

– Что ж вы так, отец святой, удивляетесь на меня? Выто меня, убогую, не знаете, а я вас давно знаю. Вы всякому известны, всякому вы сияете, как солнышко с небеси!

Говоря это, она как-то особенно, многозначительно примаргивала правым оком, между тем как левое, черное, звездистое, сверкало и искрилось, подобно некоему микроскопическому горну.

– Что ж, вы долго еще поживете здесь в глуши-то, отец Михаил?

– Не знаю... Еще поживу... До зимы поживу...

– До зимы? И какая ж это вам охота, отец Михаил? Оно, конечно, отцу Еремею это хорошо, а вам-то одна скука. Вы здесь даже с лица спали. Красоту свою утрачиваете. Оно, конечно, красота – это тлен: сегодня была, завтра ее нет, а все жалко. Служитель храма господня благообразием своим обращает язычников в православную веру...

– Ах, я очень переменялся? – горестно воскликнул отец

Михаил, уязвленный ее замечанием касательно утраты благообразия.

– Поправитесь, батюшка, поправитесь. Вот милости просим в нашу святую обитель. Мы вас успокоим, ублажим. Мать игуменья мне так и приказывала: «Смотри, мать Секлетея, поступи ты до отца Михаила и скажи ты ему, что ожидаем мы его с христианской радостью»... Так и приказывала. А у нас, батюшка, истинная благодать в обители... И всего изобильно, – нечего бога гневить, способны принять ваше преподобие как вашему саиу подобает... Сестра Олимпиада, ты где?

Последние слова обращены были в сад, к кому-то, нами невидимому.

– Здесь, – отвечал несколько режущий слух молодой голос.

– Подойди-ка под благословение к отцу Михаилу! Подходи – ничего, хоть и в окошечко благословит!

Мать Секлетея ловко выдвинула молодую, хотя грубых, но ослепительно свежих и ярких красок послушницу, которую отец Михаил, при виде ее небрежно закинувший косы назад и с томностию погладивший себя по груди, охотно благословил.

– Вы из какой обители? – спросил он, обращаясь к матери Секлетея, зорко следившей за ним своим черным, бойким оком.

– Из Краснолесской, батюшка. Недалеко отсюда, – все-

го-то полдня езды. Удостойте, отец Михаил, удостоите, посетите!

– Посещу, посету, – отвечал отец Михаил.

– Когда же, батюшка? Когда же обрадуете?

– Скоро.

– Когда же?

Яркоцветная послушница Олимпиада вдруг пошатнулась, как будто стоявшая подле нее мать Секлетей поддала ей метким локтем в бок, хотя ясный лик матери Секлетей, сложенные на груди руки и веселая улыбка не допускали подобного предположения.

Одно можно было сказать с достоверностью: сотрясение это подействовало на послушницу Олимпиаду как взмах кнута на лошадь, которая своротила с дороги и своевольно начала в незаконное время пастись, – оно как бы призывало ее к своему долгу. Большие черные ее глаза поднялись на молодого иерея, затем прикрылись длинными ресницами, затем поднялись снова и этими эволюциями довольно искусно показали доброе к нему расположение их обладательницы.

– Когда же? – снова воскликнула мать Секлетей.

– Скоро, скоро...

– Что откладывать доброе дело?

Снова получившая сотрясение послушница Олимпиада повторила глазные эволюции, действовавшие на молодого иерея как духовая печь на всунутую в нее глыбу масла.

– Нет, уж вы доброго дела не откладывайте! – продолжала мать Секлетя, отражая на лице своем беспечную ясность и бесхитрость.

– Так приказываете дожидать вас, отец Михаил?

– Дожидайте, дожидайте!

Он окончательно уже разнежился. Его поводило как березовую кору на горячих угольях.

Вдруг, когда он возвел очи горе, принял томный вид и прижал руку к груди, очевидно желая этим произвести неизгладимое впечатление, рукав его подрясника зацепился за близ стоявший стул. Не в силах будучи или не успев овладеть собою, он вскрикнул и побледнел.

– Что вы, отец Михаил, что вы? – спросила мать Секлетя. – Чего вы встревожились? Ах, царь небесный! да чего ж это вы! Что вам показалось?

– Так, ничего...

– Чего люди-то не сплетут, боже мой! Вы знаете ли, отец Михаил, что везде теперь славят, будто это отец Еремей вас как младенца держит, а? Каково это, а? И что будто вы совсем уж ему отдались во власть... Вот еще сегодня мы слышали... Сестра Олимпиада, ведь сегодня мы слышали?

– Сегодня, – проговорила сестра Олимпиада.

– Что мне отец Еремей? Что мне отец Еремей? – в волненье воскликнул Вертоградов. – Не отец Еремей тут... Мне тень является!

– Тень? – недоверчиво спросила мать Секлетя, причем

даже ее левое око приморгнуло.

– Тень!

– Чья тень?

– Женина!

– Ах-ах! И как же это она является?

Вертоградов со всеми подробностями рассказал ей все, от первого до последнего явления призрака.

– Вот и он видел! – со вздохом заключил страдалец, кивая на меня.

– Ты видел, юнец? – обратилась ко мне мать Секлетя, устремляя на меня горящее око свое.

– Видел, – отвечал я.

– Подойди-ка поближе, голубчик, подойди-ка!

Я повиновался и с заднего плана вышел на передний.

– Ты чей? Отца дьякона сынок?

– Его.

– Маменьку-то еще не забыл, а?

– Нет.

– И не забывай, мое сердце, и не забывай! Молись богу, бог сирот любит... Олимпиада, помнишь его маменьку?

Вопрос этот произнесен был несколько странным, как бы угрожающим тоном, который подействовал не хуже сотрясения и тотчас же заставил Олимпиаду произвести уже вышеописанные эволюции черными очами, что мгновенно увлекло молодого иерея из таинственного мира теней и призраков в мир действительный.

– А ты, сестра, видела когда-нибудь тень? – томным голо-
сом, сопровождаемым не менее томным взором, спросил
он.

– Нет, – ответствовала сестра, опуская длинные ресницы,
как бы обожженная пламенем его хотя и томных очей, – нет,
не видала.

– Ты еще невинна, как... как лилия! – вздохнул он.

Лилия насторожила вопросительно-тревожно уши и во-
просительно взглянула на мать Секлетею, задумчиво гладив-
шую меня по головке, приговаривая время от времени:

– Сиротка, сиротка...

– Ты еще невинная лилия! – томно повторил отец Михаил.

Быстрый, но путеводный взгляд матери Секлетеи на сест-
ру Олимпиаду, и сестра Олимпиада тотчас же успокаивается
и дарит зрителей улыбкою.

– Сиротка... сиротка... – возглашает между тем мать Сек-
летея. – Расскажи ты мне, как же это тень-то являлась?

Я начинаю рассказывать и, увлекаясь повествованием, вы-
ражаю свое удивление по поводу увеличившихся размеров
духа Ненилы.

Неморгающее око матери Секлетеи уставлено на меня как
дуло огнестрельного оружия, между тем как другое, примар-
гивающее, как бы приглашает меня не стесняясь высказы-
вать все, на ум мне приходящее; время от времени она одоб-
рительно кивает мне головой, увенчанной клубуком и чер-
ным покрывалом.

А благочестивый разговор о лилиях становится все тише и, очевидно, занимательнее.

– Ну, и так оно тебя и придавило? – спросила мать Секлетя.

– Придавило, – отвечал я, содрогаясь при воспоминании о пухлой, навалившейся на меня массе.

Затем, несколько подумав, она вдруг обратилась к Вертоградову и, прервав его беседу с все более и более алеющей сестрой Олимпиадой, решительным тоном сказала:

– Отец Михаил! вам отсюда надо уехать! Не слушайте вы никого – уезжайте! Уезжайте, а то дождетесь вы напасти!

– А тень? – жалобно возразил отец Михаил.

– Что ж тень? Может, она оттого-то и является, что вы тут живете?

– Нет! Она грозила: «Если ты здесь до зимы не проживешь, так я тебя!..» Нет, она не пускает!

– Ах, отец Михаил! что это вы, господь с вами! Да ведь что тени говорят, то надо понимать обратно... Это все одно что сны и грезы: видите вы, к примеру говоря, всякую дрянь, нечистоту – это значит деньги, прибыль; увидите вы золото – печаль, разорение. Все наоборот! Тени всегда притчами! всегда притчами... «Не смей» значит «смей», «поражу» значит «помилую»...

Она говорила с такую уверенностью, с таким убеждением в истине высказываемого ею, что Вертоградов просветлел.

– Ну, так поеду! – воскликнул он.

– И отцы святые так учат, – продолжала мать Секлетея, как бы не заметившая действия своих слов, – и в святом писании так сказано... В притчах отверзу уста мои...

– Поеду! – снова воскликнул Вертоградов, – к вам в обитель поеду!

– Осчастливьте, отец Михаил, осчастливьте! Мы денно и ночью станем молиться... Мы вам отведем святую келию, где жила у нас праведная затворница...

Яркие солнечные лучи весело ударяли в окно, живописная сестра Олимпиада то набожно складывала уста сердечком, то, опуская ресницы, улыбалась; мать Секлетея, один дерзновенный вид коей подвигал на борьбу, – все это, взятое вместе, подействовало на Вертоградова как хмельный напиток. Он встал, потрянул, как пробудившийся лев, гривую и решил:

– Еду сегодня!

И обращаясь ко мне:

– Поди покличь ко мне отца Еремея!

Я, изумленный столь неожиданным своевољством, однако хотел повиноваться.

– Постой, постой! – сказала мать Секлетея, схватывая меня за руку. – Отец Михаил, вот вам письмоцо от матушки игуменьи – извольте!

Она проворно вынула из кармана письмо и подала ему,

– Прочитайте, отец Михаил, и скажите отцу Еремею, что хоть, мол, какое дело – нельзя не ехать. Что посылать отрока?

Лучше вы сами извольте к нему приступить!

– Пойдемте вместе! – сказал Вертоградов, начинавший уже смущаться.

– Пойдемте, пойдемте, батюшка! Извольте вперед!

Слабое перо мое не сможет описать отца Еремея, застигнутого врасплох. Вообрази себе, благосклонный читатель, поработенного, загнанного, но всецело сохранившего свои кровожадные наклонности тигра, который, прижмуривая приветливо налитые кровью глаза свои, лижет пылающим, пересохшим от клочущего в груди бешенства языком ненавистную руку победителя, и тогда ты будешь иметь некое понятие о состоянии его духа при появлении Вертоградова и матери Секлетеи.

Нетрепетная духом мать Секлетея бойко подошла под его благословение.

– Благословите, отец Еремей, благословите, батюшка!

Затем, облобызав троекратно его руку, обратилась к отцу Мордарию:

– Благословите, отец Мордарий, благословите!

Отец Мордарий, при появлении их отодвинувший от себя тарелку с закускою, торопливо благословил ее и поспешил к Вертоградову.

– Отец Михаил! – проговорил он, – давно я желал...

Вертоградов отвечал на его приветствие с изумившим меня величием.

– А где ж матушка? – спросила мать Секлетея умильно. –

Слышали мы, отец Еремей, о вашем сокрушении. Ох, ох! жизнь земная!

– Матушка сейчас выйдет, – ответил отец Еремей.

– Я хочу сегодня поехать в Краснолесскую обитель, – сказал Вертоградов.

С этими словами он подошел к столу, налил стакан наливки и быстро его выпил.

– Что ж, благое дело, – ответил отец Еремей. – Я давно туда сам собираюсь...

– Вот бы осчастливили-то нас, убогих! – воскликнула мать Секлетя.

Отец Мордарий лукаво ослабился и показал все свои крепкие, как жернова, зубы.

– Я нынешний день хочу ехать, – продолжал Вертоградов.

Наливка тотчас же ударила ему в голову; лицо его все побагровело, и глаза заметно помутились.

– Ну, сегодня-то трудно собраться: бричка, кажется, ненадежна, – спокойно и ласково ответил отец Еремей.

– Нынешний день хочу ехать! – яростно воскликнул вдруг расвирепевший Вертоградов. – Нынешний день! Сейчас! Сейчас!

Отец Еремей только потупился.

– Я прикажу осмотреть, – проговорил он.

– Да позвольте, отец Еремей, вы себя не беспокойте, – сказала мать Секлетя: – вот отец Мордарий может одолжить своих лошадок.

– С охотою! с охотою! – возопил отец Мордарий. – Садитесь, отец Михаил, и поезжайте!

– Хорошо, – проговорил отец Михаил. – Хорошо. Это хорошо. Я поеду.

– Отец Мордарий! прикажите! – сказала мать Секлетея. – Олимпиада, иди, садись в повозку.

Отец Мордарий высунулся в окно и зычным голосом крикнул:

– Пантелей! подъезжай!

Исправный Пантелей тотчас же подкатил под крылечко.

– Поеду, – говорил Вертоградов, – поеду. Где моя шапка? Тимош!

Я проворно явился с шапкою.

Он, пошатываясь, вышел на крыльцо, споткнулся, но подержан был выскочившею вслед за ним матерью Секлетеею и влез в бричку отца Мордария.

– Садись! едем! – сказал он мне.

Я колебался.

– Садись, садись, – шепнула мне мать Секлетея и по женской своей страстности щипнула меня при этом за руку, выше локтя.

Я вскочил в бричку. Пантелей уже взмахнул бичом...

– Пантелей, сдержи! – раздался голос отца Еремея. Пантелей сдержал, и отец Еремей поместился рядом с зятем, откинув меня к передку.

– Что ж это? теперь ног негде протянуть! – воскликнул

Вертоградов.

– Тимош, – кротко обратился ко мне отец Еремей, – по-
двинься на мою сторону. Хорошо теперь?

– В Краснолесскую обитель! – распорядился отец Морда-
рий. – Пантелей, не жалея коней! Валяй!

Бричка покатила, а за нею круглая повозка матери Сек-
летеи, куда вскочил и отец Мордарий.

Все это свершилось с чрезвычайною быстротою. Уносясь
по дороге к обители, я на мгновение увидел мятущегося у
ворот родителя моего, выбежавшую на крылечко иерейшу с
младенцем в руках, около нее увивающегося пономаря, Про-
хора, следящего за нами с высоты забора, – затем мы свер-
нули в кущи лесные, и Терны скрылись из глаз.

Глава пятая

Путешествие и прибытие в Краснолесскую обитель

Долгое время мы ехали в молчании, прерываемом только гневным, но смущенным бурчанием Вертоградова и кроткими, тихому стону подобными, вздохами отца Еремея.

Сытые кони иерея Мордария резво стремились по дороге, изобильно усыпанной опавшею листвою; стук колес и конский топот почти скрадывались глухим, мягким шуршанием. Дневное светило лучезарно сияло с безоблачной лазури небесной. Недавно еще шумящий, зеленый, густолиственный лес редел; в бричку к нам тихо, бесшумно слетали увянувшие листочки. Широкоразметные дубы еще стояли в прежней своей красе и величии; сосны и ели резко отделялись своею темною, суровою зеленью от пурпурно-золотистого осеннего убранства берез и кленов. Время от времени раздавался в чаще ветвей свист дрозда, пощелкивание дятлов в дерево и будивший эхо веселый, рокотанию пушки подобный, смех иерея Мордария.

При звуке помянутого смеха я, робко и украдкою поднимавший опущенные долу взоры, замечал, что отца Еремея поводит, как березовую кору на пламени очага.

Вдруг отец Еремей обратился ко мне.

– Что, малютка, – рек он ласково и грустно, – ты весел? Совесть у тебя чиста и спокойна?

И он, протянув свою пухлую, как сдобный мякиш, десницу, задумчиво погладил меня по подборadiю, как бы невольно тем выражая свои безропотно переносимые, христиански управляемые, но тем не менее, при явлениях окружающих его беззаконий, горько в груди бушующие чувствования.

Я же, вострепетавший от этой ласки, как от прикосновения скорпий, не прибрал слов на ответ и, замирая всем существом моим от отвращения, безмолвствовал.

– Творец да хранит тебя! – продолжал отец Еремей тем же задумчивым, грустным и ласковым тоном, – творец да благословит тебя на все благое! Достославно житие праведного, соблюдающего заповеди господни! Презирает он земные бедствия, не боится мучений загробных. Сон его не смущают видения, ни призраки, пробуждение его ясно и мирно. Но горе грешнику! Горе не противящемуся соблазнам! Дни его хотя и проходят в беззаконном веселии, но едва мрак ночной спустится на землю...

Вертоградов, с самого начала вышеприведенной речи уже возившийся на месте, как будто бы его кусали несносные насекомые или язвили острые шипы терновника, вдруг повелительно закричал Пантелею:

– Стой! стой! стой!

Пантелей, с изумлением оглянувшийся при столь диком крике, повиновался, и Вертоградов, торопливо выскочив из

брички, скрылся.

Взоры мои обратились на отца Еремея. Он был ужасен. Сытое лицо его исказилось свирепою злобою, побелевшие губы дрожали, на помутившихся глазах блеснули слезы бешенства, благочестиво сложенные жирные руки скорчились, ногти впились в пухлое тело...

Приветственные восклицания отца Мордария и матери Секлетеи, не замедлившие раздаться, привели его в себя.

Он мгновенно, если смею так выразиться, испустил из себя лучи благодати и, обращаясь к ожидавшему нового распоряжения Пантелею, сказал спокойно и добродушно:

– Погоди, погоди: я тоже вылезу и пройдуся.

Повозка матери Секлетеи тоже остановилась, и седоки ее уже окружали молодого иерея со всеми знаками почтительных, по пламенных чувствований.

– Не закусить ли, отец Михаил? – ласкающим голосом, как бы предлагая не самостоятельное вопрошание, а только скромное предположение, сказала мать Секлетей.

– Прекрасно бы закусить, прекрасно! – прибавил отец Мордарий, старавшийся, но не возмогавший достигнуть ни плавности речей, ни мягкости взоров, ни непринужденности угодливых движений и уподоблявшийся по неповоротливости скорее косолапому медведю, чем изворотливому лису.

– Давайте! – отвечал Вертоградов, бросая гневные, но смущенные взгляды на тихо и плавно приближающегося отца Еремея.

– Сестра Олимпиада! сестра Олимпиада! – крикнула мать Секлетея, – достань коверчик и все... Извините, отец Михаил, чем богаты, тем и рады... Не взыщите... Сестра Олимпиада, ты бы попроторней... Вот тут расстели – под деревцом... Юнец! (Это было обращено ко мне.) иди-ка сюда, помоги!

Сестра Олимпиада, вынув из глубины повозки яркоцветный ковер, на коем были изображены порхающие фантастические птицы и не менее фантастические плоды и цветы, сыплющиеся из корзин, с помощью моею разостлала его под указанным матерью Секлетеєю деревом.

Повозка матери Секлетеи принадлежала к числу тех «монастырских» повозок, о которых, может статься, благосклонный читатель не имел случая получить ясное и настоящее понятие.

То была по наружному своему виду обыкновенная неуклюжая колымага, в которой, казалось, могло вмещаться соответствующее ее размерам количество одушевленных и неодушевленных предметов.

Окинув внимательным, но тогда неопытным оком моим ее внутренность, я увидел только две пуховые подушки и скромный узелок с черствым деревенским хлебом и огурцами. Живо представив себе сокрушительные зубы отца Мордария, работающие над этим скудным запасом, я, внутренне улыбаясь, взялся за помянутый узелок с целью его перенести на разостланный под дубом ковер, но сестра Олимпиада

остановила меня.

– Куда? куда? – воскликнула она шепотом. – Ты на что берешь «видимое»?

– Это «видимое»? – спросил я, недоумевающий, но желающий скрыть свое недоумение, указывая на узел с хлебом и огурцами.

– А то какое же?

С этими словами она, приподняв плечом одну подушку, погрузила руки свои в отверзшуюся глубину и осторожно вытянула оттуда две бутылки, затем еще две, еще и еще; затем, к возрастающему моему изумлению, из таинственных недр показались копченые рыбы различных, великолепных размеров, породистые поросята в вяленом виде, массивный окорок, целые гирлянды колбас всевозможных сортов, пироги, пирожки, лепешки, сахарные варения, медовые печения, прекраснейшие фрукты, одним словом говоря, все лакомые яства и сласти, какие только всеблагое провидение указало смертному на питание телес и усладительное баловство вкуса.

– Что ж ты не носишь? – спросила сестра Олимпиада. – Носи же да расставляй все хорошенько!

– Это «невидимое»? – спросил я, мановением бровей указывая на извергнутые глубинами повозки сокровища.

– «Невидимое», – отвечала юная отшельница.

– Так у вас называется?

– Так.

– Почему ж так называется?

– Потому что называется.

– Да почему?

Черные и блестящие, как лакированный сапожок столичного щеголя, глаза ее, устремясь на меня, выпучились, как будто я предложил ей неразрешимую для ума человеческого задачу.

– Почему? – повторил я, – почему?

Тогда она, с возможною для ее нрава свирепостию, надменно прошептала мне в ответ:

– А тебе что это еще за дело? А ты как это смеешь почемучничать? Ишь орел какой выискался! Знай свое: делай что приказано! Уставляй бутылки на ковре. Уставляй кружком, а в кружке чтоб крест вышел. На крест поставь которые поменьше. Ну-ну, поворачивайся! Почемучник какой!

Я счел за лучшее пока более не «почемучничать», а отложить это до другого времени, и, обременив себя различными бутылками, направился под дуб, к разостланному для трапезы коври.

Расставляя бутылки по предписанному мне сестрою Олимпиадою образцу, «кружком» и «крестом», я мог бросить несколько беглых взглядов на лица усевшихся по окраинам ковра иереев и матери Секлетей, а также и несколько уловить смысл и направление их беседы.

Между тем как Вертоградов, подобно загнанному дикому тельцу, тревожно и угрюмо поводил глазами, отец Еремей

сколь плавно, столь же и печально повествовал о неожиданной и преждевременной кончине Ненилы, которое его повествование отец Мордарий, а еще более мать Секлетея прерывали по смыслу христианскими, но по выражению нетерпения и досады языческими словами утешения.

– Увяла, как злак полей! – говорил с грустью отец Еремей. – Последние ее слова были: «не заб...»

– Такова воля господа! – с живостию прерывала его мать Секлетея, причем одно ее око быстро примаргивало, а другое ярко вспыхивало, как искра при пахнувшем на нее порыве ветра. – Такова воля творца! А отчаяние – смертный грех!

– Отчаяние – смертный грех! – вторил Мордарий.

– И все я вижу теперь сны, – продолжал отец Еремей задумчиво, как бы про себя, – все я вижу сны... Вернее сказать, не сны, а какие-то видения...

При слове «видения» Вертоградов менялся в лице и устремлял испуганные глаза на нетрепетную духом мать Секлетею.

– И что вы, батюшка! – перебивала мать Секлетея. – Какие видения! Что это вы! Это вам приснилось... Мало ли что снится!

– Всякая всячина снится, а проснешься, и нет ничего! – вторил отец Мордарий.

– В прошлую ночь, – продолжал так же задумчиво отец Еремей, как бы не улавливая слухом их успокоительных замечаний, – она явилась ко мне. Я явственно слышал ее сло-

ва... Она подняла руку и сказ...

– Что это вы, отец Еремей! – воскликнула мать Секлетя. – В искушение вводите, ей-богу! Вы ведь ее поминаете?

– Она сказала: «Все меня...»

– Вы ее поминаете? – воскликнула с сугубым нетерпением мать Секлетя, причем ее моргающее око уподобилось налетевшей на огонь и вострепетавшей опаленным крылом бабочке. – Вы ее поминаете?

Отец Еремей не мог не ответить на столь пронзительное страстное вопрошание, а потому, как бы пробуждаясь от горестных своих мечтаний, обратил на нее поразительные кротостию взоры и тихо проговорил:

– Поминаю!

Затем, снова впадая в свою скорбную задумчивость, продолжал как бы размышлять вслух:

– Кто может проникнуть в чудесные и страшные тайны гробовые? Кто может...

– Ты что ж, хлопчик, стоишь, а? – обратилась ко мне мать Секлетя с столь благосклонным укором, что я, подпрыгнув с легким криком от подобного уколу острой иглы щипка ее, замер на несколько мгновений в недоумении и, только взглянув на длинные, как часто употребляемое орудие, слегка зазубренные ногти, уверовал в истину.

– Беги, неси скорее, беги, хлопчик! – продолжала она так же благодушно, – беги!

Я поспешил повиноваться. Находясь под впечатлением

только что мною полученного ущипления, я, подошед к сестре Олимпиаде и принимая из ее рук окорок, невольно проговорил:

– Ну, щипок!

Прекрасная отшельница поняла меня без дальнейших объяснений и, самодовольно усмехаясь, ответила:

– Это еще что! Разве такие-то бывают! Вот как мать игуменья... у! Мать игуменья, так она щиплется с вывертом!

– С «звертом»? Как же это с вывертом?

– Сестра Олимпиада! – раздался голос матери Секлетеи, – ты бы попроворней... а?

– Неси! неси скорей! – прошептала, встрепенувшись, сестра Олимпиада, – ьнеси!

«С вывертом! – думал я, со всевозможною быстротою исполняя возложенную на меня обязанность, – с вывертом!»

Разостланный под дубом ковер мало-помалу сплошь покрывался избранными яствами, и мать Секлетея, попеременно вооружаясь то различных величин ножами, то вилками, то ложками, то штопором, уже приглашала иереев «приступить», причем отличала Вертоградова всеми знаками особого внимания и почитания.

– Отец Михаил! – говорила она, – приступите! Отец Михаил! удостойте! Вот сладенькая! Вот рыжички! Отец Михаил!

– Где горькая? – мрачно вдруг спросил Вертоградов. И наполнив сосуд до краев, он залпом его опорожнил.

– Отец Еремей! отец Мордарий! приступите! – восклицала мать Секлетея.

– Приступим, приступим, – отвечал благосклонно отец Мордарий, откидывая одним мановением руки и пышную свою бороду в разные стороны и широкие рукава рясы, – приступим!

Между тем как отец Еремей задумчивым, тихим, горестно-кротким голосом заметил:

– Не о хлебе едином жив будет человек! Не о хлебе едином!..

– Отец Мордарий! Отец Еремей! – снова воскликнула мать Секлетея, на которую всякое благочестивое размышление отца Еремея, равно как и грустные его сетования, производили то же действие, какое производит на утомляющегося коня вонзаемые в чувствительные бока его шпоры.

– Еще горькой! – с сугубейшею мрачностью произнес Вертоградов.

И снова наполнив до краев сосуд, опорожнил его так же залпом.

– Рыбки-то, отец Михаил? Копченой-то? – умильно и настоятельно предлагала мать Секлетея. – А наливочки-то? Сестра Олимпиада, где ты? Поди сюда, родная, садись с нами, подкрепись пищею! Вот тут присядь, вот тут!

И благодушная мать Секлетея поместила юную отшельницу как раз пред лицом Вертоградова.

Столь приятный вид тотчас же возымел свое действие: мо-

лодой иерей выпрямился и, невзирая на черные тучи, омрачавшие чело его, на устах у него появилась пленительная своею томностию улыбка.

– Наливочки? – проговорил он, слегка вытягивая вперед крепкую выю свою и несколько прищуривая омаслившись глаза, – сладенькой?

Юная отшельница, зардевшись, потупилась.

– Сладенькой? – повторил Вертоградов еще умильнее и победоноснее, – сладенькой?

– Выпей, сестра Олимпиада, выпей! – вмешалась мать Секлетея, – греха тут нет... Выпей, выпей!.. Ну, хоть и трудно, а ты выпей! Отец Еремей! пожалуйста, прикушайте! Не обидьте меня, убогую!

– Напитахся слезами, упихся горестию, – тихо проговорил отец Еремей. – Пресыщенный скорбию, не возмогу...

– Отец Мордарий, а вы, батюшка?

– Прими благодарение, мать Секлетея, прими благодарение... Я вот еще наливочки... – отвечал отец Мордарий, на сокрушительных зубах которого мололись и кости, и мясо, и рыбы с одинаковою легкостию, – я вот еще наливочки... Сладка, каналия! Ну-ка, мать Секлетея, чокнемся!

– Да не искушуся! да не уподоблюся язычнику, упитывающему себя, яко скота бессмысленного! – шептал отец Еремей.

– Олимпиада! – зывал Вертоградов, потеряв некоторое время на безмолвный и выразительный язык глаз, – Олим-

пиада, выпей! Я разрешаю! разрешаю и приказываю...

Затем с томностью прибавлял тише:

– И прошу!

Юная отшельница долго не склонялась, наконец уступила и приложила алые уста свои к хмельному напитку.

– А ты, мать Секлетея? А ты-то, мать Секлетея? – повторял все более и более содельывающийся дружелюбным и общительным отец Мордарий. – Отец Михаил! окажите благое содействие, благословите мать Секлетею на честное чоканье!

– Пей, пей, мать Секлетея! Я благословляю! – воскликнул Вертоградов, – я хочу, чтоб все пили! Пей!

– Пей! – повторил отец Мордарий.

И оба протягивали к ней сосуды, наполненные сердцеvesелящими и умопомрачающими напитками.

– Головою я слаба, телом немощна! – отказывалась соблюдающая ясность своего рассуждения мать Секлетея, хотя распространявшийся из сосудов хмельной аромат видимо искусительно на нее действовал и заставлял одно ее сверкающее око вспыхивать, а другое моргать медленнее. – Головою слаб...

– Пей! пей! – заревел Вертоградов с бывалою своею неукротимостию. – Говорю, пей! хочу, чтобы все пили!

– Благое дело! благое дело! – рокотал отец Мордарий, – сотворим возлияние!

– За ваше здравие, отец Михаил! Да пошлет вам творец вседержитель всякого благополучия и удовольствия во всех

мыслях ваших и делах ваших! – сказала мать Секлетея.

– Еще пей! Еще пей! – ревел Вертоградов.

– Благое дело! Люблю! Люблю! Я это люблю, и конец! Конец, и люблю! – воскликнул отец Мордарий, уста которого после последнего «возлияния» начали с трудом раздвигаться, как бы склеиваемые застывающей смолою. – Я люблю. Я люблю. Восхвалим господа и возлием. И больше ничего! Восхвалим и возлием. И больше ничего!

Отец Еремей, представляя собою олицетворение сокрушения, воздвигаемое на замысловатых гробницах князей мира сего, оставался неподвижен, изредка испуская глубокие, как бы грудь его надрывающие вздохи.

– Пейте! пейте! пейте! – рычал Вертоградов.

Хотя мать Секлетея действовала лукаво, только малую часть наполняемого ей сосуда отпивая, а остальное искусно выплескивая за рамена свои, в траву, тем не менее роковые для сообразительности действий и для необходимого в политике хладнокровия напитки, производя должное затмение рассудка, распалили господствующие над ней страсти; подпав необузданности помянутых страстей, хитроумная жена скоро уподобилась утлой ладье, попавшей в водоворотную пучину; вместо того чтобы продолжать предначертанный ей по волнам путь, отражая нападения благодушною веселостию и почтительным дружелюбием, она закружилась и, презирая опасности крушения, раздражалась язвительными, ущипливыми и насмешливыми словами, а также расто-

чала различные вольные и надменные мысли, безумные высокомерные угрозы и зловещие похвальбы. Так, когда отец Еремей в ответ на лепет отца Мордарий, неотступно подносившего ему к подбородику наполненный наливкою сосуд и заливавший хмельною этою влагою широкорукавные его ризы, привел, кротко отстраняя упрямую, но уже бессильную десницу собрата, соответствующее случаю изречение из пророков, намекающее на посрамление грешников и на возвеличение терпящих праведников, она безумно воскликнула:

– Э! э! ничего! медведь какой страшный, а кольцо-то в губу вправляют!

И затем, устремив на отца Еремея разгоревшееся око свое, другим же лукаво примаргивая, подперлась фертом и, сопровождая каждую фразу свою глумливым присвистом, повторила многократно:

– А кольцо-то в губу вправляют! А кольцо-то в губу вправляют!

– Где кольцо? Где кольцо-о? – лепетал отец Мордарий, шаря перед собою и попадая перстами в расставленные яства. – Кольца нет. Потеряно. И конец. И конец-ц! Кто в меня камнями бросает? Кто в меня камнями... Кто?.. В бороду прямо, кто? Кто?.. в бороду?..

Утратившая последнюю меткость десница Вертоградова, направляя хлебный шарик в белоснежный лик сестры Олимпиады, попала в бороду отца Мордария, который и возомнил, будто бы в него кидают камнями.

– А кольцо-то в губу вправляют! А кольцо-то в губу вправляют! – повторяла мать Секлетея с прежним глумливым припевом и приморгом. – А кольцо-то в губу вправляют!

Отец Еремей был бледен, но безмятежен, кроток и ясен.

Снова пущенный в сестру Олимпиаду и снова попавший в ланиту отцу Мордарию хлебный шарик привел этого иерея во внезапное неистовство.

– Кто камнями? – завопил он, – Кто?.. Я оторву руки и ноги... Я повыверчу суставы!.. Я сот-т-тру-у-у!

И пылающий жаждой отмщения, сияющийся приподняться, да покарает мнимого врага, только, подобно колеблющемуся, но не могущему скатиться утесу, опирался то на одну длань, то а другую; затем, почувствовав свое бессилие, вдруг заголосил басом, так что несносный оглушительный гул пошел по всему лесу, жалобно причитая:

– Погубили меня! Погубили меня! Я пропал! пропал! пропал-а-ал!

– Замолчи! Замолчи! отец Мордарий, замолчи! – увещевала его мать Секлетея. – Как ты можешь безобразничать перед отцом Михаилом? Как можешь, а? Замолчи! утрись! слышишь? Замолчи! как ты можешь, а?

Но он, не внимая пламенным и торопливым ее увещаниям, продолжал буйно завывать, причем точил потоки слез, которые быстро превратили всегда беспорядочными волнами в разные стороны стремящуюся бороду его в пук пакли, обильно sprыснутый дождевою влагою:

– Пропал! пропал! Я пропал! Я сирота! сирота! Ох, я сирота! Ни батюш-ш-ки! Ни матуш-ш-шк-ки! Ни бр-ра-тца! ни сестри-ц-цы! Сирота – сирота-а-а!

И вдруг, понатужась, возопиял несказанно дико и оглушительно:

– Сирота-а! сирота-а-а!

– Замолчи! замолчи! – восклицала мать Секлетя, то впиваясь острыми своими перстами в тучные его телеса, то потрясая его рамена, то теребя озлобленно за косы и бороду, – замолчи, идол! у, окаянный!

– Порочить, пороч-ч-ч-ить? Меня, ме-е-еня! – возопиял он, стараясь, но не возмогая заскрежетать жерновоподобными зубами своими. – Меня поро-ч-ч-ч... Погоди! по-го...

Он снова забарахтался, свалился и, внезапно переходя от свирепости к унынию и чувствительности, жалобно затянул:

– Не порочь, не поро... Ты меня не пор-р-р-роч-ч-чь! Я прекло-прекло-няю коле-н-на... Не по-р-р-о-ччь...

Причем, сияясь преклонить колена, пал на четвереньки, источая обильные слезы, поглядел помутившимися очами кругом и, подобно внезапно подстреленному смертоносным орудием, рухнул на землю и опочил смерти подобным сном.

Вертоградов, вначале сильно встревоженный признаками буйства отца Мордария, увидя его лежащим без движения, ободрился и снова продолжал куры и комплименты свои, кои принимались скромною сестрою Олимпиадою с подобающими умильными усмеханиями и потуплением черных очес.

– Сестра Олимпиада! – говорил томно Вертоградов, – ты, как ангел, ничего не вкушаешь? Я страшусь, что тебя похитят на облаках... Унесена будешь на небо, между тем как мы будем на земле препровождать время... Но я лучше желаю препровождать время с тобою... Пойдем гулять по лесу... Пойдем цветочки собирать... пойдем...

Он приподнялся и протянул ей руку; но, отягченный винными парами, мог только обратиться к ней как бы умирающее око, пошатнулся, сел, затем лег и, подобно отцу Мордарию, погрузился в крепчайший сон.

Отец Еремей уже не возводил очей горе, не выпускал вздохов, не облегчал себя изречениями из пророков, но, как бы подавленный ужасным видом совершающегося вокруг него беззакония, долго сидел нем и безгласен, а когда хмель поборол и Вертоградова, он, устремив на мать Секлетею пристальные, взоры, с пастырскою строгостию сказал:

– Зять мой близок сердцу моему, как родной сын; но, кроме того, мне *поручено* блюсти его.

При первых же словах его мать Секлетей вздрогнула и воспрянула, подобно боевому коню, почуявшему запах пороха. Тотчас же подперлась она снова фертотом, сбочила голову, увенчанную черным монастырским шлычком, на сторону, тонкие уста ее сжались язвительнейшим образом, око одно заискрилось, другое заморгало сильнее, алые кружки на ланитах вспыхнули еще ярче, и сколь резким, столь же и глумливым голосом она воскликнула в ответ:

– Бог не выдаст, свинья не съест!

И затем присвистнула.

Кроткий терновский пастырь видимо изменился в лице, но отвечал с невозмутимостью.

– Истинную правду вы изрекли, мать Секлетя: уповающие на господу не погибнут. Сказано: благо есть надеяться на господу, нежели надеяться на человека! – ответил отец Еремей.

– Бог не выдаст, свинья не съест! – повторила мать Секлетя с сугубейшею страстию. – Бог не выдаст, свинья не съест!

И снова присвистнула.

Затем, откинув назад голову, причем черная шапочка съехала набок, обнаружив беспорядочные пряди седоватых волос, разразилась икотоподобным смехом, преисполненным горького сарказма.

Отец Еремей, устремив на глумящуюся жену свои пастырские взоры, кротко и терпеливо ожидал окончания ее хохота, и когда, наконец, она несколько утихла, обратился к ней, как к нераскаянной, с сугубою милостию и любовью:

– Скорблю я, – сказал он, – что вы, мать Секлетя, так поспешно уехали из дому моего: я хотел вам доверить некоторые тайны...

– Ты хотел тайны доверить? – прервала мать Секлетя с тою же необузданностию. – Как бы не так! знаем мы тебя, голубчика! «Доверить хотел»! Ишь доверчивый какой! Добро-та ты моя пастырская! Ты думаешь теперь: «Она пьяна!» Ан

нет, она не пьяна! Она все соображает, в ловушку не попадет! Да, да, она все соображает, только что языка удержать не может. Душа рвется пороекошничать. И пускай! Мало я перед вами запечатанная-то стою? Это все мне чего стоит, ты как думаешь? Я как червь пресмыкаюсь, а ведь я тоже человек! Егозишь, егозишь, подличаешь, подличаешь, да и самое тошнит. Ты чего глаза-то заводишь! Наябедничать хочешь! А я твоих ябед не боюсь, мне на них только наплевать! Коли на ябеду-то пойдет, так я и тебя за пояс заткну, – ты ведь трус. Через трусость ты вот и зятка-то из лап выпустил. Я бы на твоём месте и Мордаришку этого, пьянюшку, и меня так бы потурила со двора, что только бы след наш пылью завеяло. Да! А зятка-то я бы на твоём месте крепонько связала, – что ж он? только с виду-то буен, а на деле кисель-киселем! Я бы его и поучила... А ты что? Ты все одними подкопами своими, подземными ходами думаешь продержаться? Нет, брат: так плохо! Не продержишься этим одним! Отвага надобна, красавчик ты мой, отвага! Вот ты мастерил, мастерил, подкапывался, подкапывался, а я где ни взялась, за чуб ухватила и швырь! ты и отлетел... Так-то! Твоя трусость тебя и погубит, – ты попомни мое слово! Вот ты теперь сидишь и что из себя являешь? Глянуть на тебя, так свят муж, – только пеленой обернуть, да и в рай сади! А я вот буйствую! Ты всю злобу-то в нутро заключил – почитай, все нутро-то от натуги этой почернело, – а я ликую, как беспардонная... душа моя гуляет и потешается, язык мой мелет, что хочет... И все-та-

ки мой верх будет! Потому я отважна. Я вот все начистоту выкрикиваю, – подите, кому охота, ябедничайте – не боюсь! Потому, я хоть и виновата буду, да мать игуменья помилует меня за мою отвагу. «Секлетея, скажет, виновата, да зато ее можно в огонь и в воду посылать – она у меня верное копье!» А такими-то, как ты, умная голова, дорожить ничуть не станет, потому вы – предатели! Так-то, тетка Арина, так-то! Нечего губы-то жемочком складывать! Споем-ка мы лучше с тобой песенку, повеселим свое сердце! «Хотел тайны доверить!» Ишь ты, доверитель! Тайны не надо доверять, – ни-ни-ни! Есть и у нас тайна, и кабы я тебе ее доверила, так у тебя бы душа в пятки ушла, сердечный ты мой, вот что! Потому тайна эта не кого другого, а тебя, миловида, касается... Да! Знаешь стишок: «Ничто же есть покровенно, еже не откроется, и тайно, еже не уведано будет»? А знаешь, так и хорошо, – умница! Только знать бы, да и помнить, а ты не помнил... И уж рука-то у тебя – ух, какая владыка! Неумерен, голубчик, неумерен, и к тому же жаден... ближних забываешь... Ну, а за это ближние-то тебя под ножку стараются... Что ж! резон! Ты не кичись, что ты осторожен: и старый лис, случается, сам себе на хвост наступает! Ты хоть бы в нашу обитель одну-единственную ризочку уделил от своего избытка! Нет, ни единой! Ну, мать игуменья и обижается и вот поучит тебя обхождению... Да! Что, знаешь, котик, чье мясо съел, а?

Отец Еремей, доселе слушавший вышеприведенный

длинный монолог более со вниманием, чем с тревогою, при слове «ризочка» побелел как мел.

– Не разумею вас, достойнейшая мать Секлетя, – проговорил он с великим усилием и отирая холодный пот с чела слегка дрожащею рукою, – не разумею! Речи ваши не ясны... Не могу принять, что вы меня укоряете за презрение к ближним, ибо сердце мое постоянно для ближних открыто и горит к ним любовью. Я богат только испытаниями, которые, по благословенной воле своей, посылает мне всевышний, и не в состоянии чувствовать ближних моих, как бы того желал, но готов бы с радостью разделить с ними убогие крохи мои по-христиански...

– Ах ты, убогая кроха! Ишь какой псалом пропел! Нет, друг ты души моей, старого воробья на мякине не проманешь! Мы ведь свету-то божьего повидали, не из одной печи хлеб едали! Я, чтобы тебе было то известно, родом из православного града Курска, а мы, курячки, народец господень исправный: головка-то у нас не на одну поставку для шапки имеется, а тоже и для соображеньца! Так-то-с! По морю-то житейскому нам тоже не впервой плавать – таки кое-что произошли: сиживали и на мели, хлебали и водицы пучинной... Нет, ты этих псалмов мне не воспевай: это коли из села какой-нибудь Иван, так он бы на веру принял, а мы сами с усами! Не воспевай, не воспевай: я на это добро и сама мастерица. Я как захочу, так я так воспою, что всякая тварь на колени падет... Только я теперь гуляю, и затаю я свою

песенку стародавнюю...

И она несказанно высоким, неописанно тонким, режущим как нож голосом, покивая главою, поводя раменами, при-моргивая и подохивая, запела:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду и кланяться:
Не оставьте вы, родители,
Моего вы да прошеньица!
Не возил бы меня чуж-чуженин
На чужую на сторонushку,
Ко чужому сыну ко отецкому,
Не пасся бы он, ох, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешеньки,
Еще есть три разные болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством не уступчива.

Отец Еремей не только не прерывал этого пения, но при-слушивался к нему, повидимому, с великим сочувствием, как человек, которому знакомая гармония, внезапно раздав-шись, вдруг привела на память дни невозвратной юности; перенесенный воспоминанием в эту исполненную надежд и упования эпоху жизни, слабый смертный как бы застигнут врасплох, и хотя суровый рассудок повелевает ему: «Оставь сетовать о минувшем, которого воротить не можешь!», чув-

ствительное сердце его не перестает тоскливо биться, и пленный слух жадно ловит звуки, давно-давно не слышанные, но навеки незабвенные.

Когда же мать Секлетя окончила, прищелкнула перстами и, изменив минорный тон на плясовой, с гиком и визгом подхватила:

Под младцом травка не топчется,
Лазорев цветочек не ломится,
На нем синь кафтан не тряхнется...

Он, в то мгновение, когда певица переводила дух, проговорил:

– Вы из Курска родом, мать Секлетя! Из Курска!

И смолк, как бы подавляемый потоком вдруг нахлынувших о граде Курске воспоминаний.

– А что? Или и ты оттуда же? – спросила мать Секлетя.

– Да, да!.. да... – тихо продолжал отец Еремей, как бы не внимая обращенному к нему вопросу, а погружаясь все глубже и глубже в бездну сердце стесняющих, но сладостных воспоминаний – Да... да... Садочки там, цветки всякие... Жители столь благочестивые... храмы божий благолепные... Да!.. Да!.. приязнь... беспечальное житие... юность...

– Полно тебе кружева-то плести! – прервала мать Секлетя вышеприведенные, как бы вырывавшиеся из души терновского пастыря, отрывочные слова. – Полно кружева-то плести! Какие это у тебя там «садики», какие «юности»? Ведь ты туляк. Ты думал, не знаем? Всё мы знаем, всю твою

подноготную! Ведь туляк? Ах ты, гусек лапчатый! и туда ж расшибается: «садики!», «юность!»

– Губернии близки, смежны, – кротко, как бы не возражая, а только на вид представляя, ответил отец Еремей: – вы вспомнили место своей родины, а я тоже, многогрешный...

– Вспомнил? Ты, надо полагать, с самых пеленок Котофей Котофеич был...

– Я тоже, многогрешный, не камень, а живая плоть и кровь, – смиренно продолжал отец Еремей. – Я вспомнил дни беспечального отрочества моего и невинных моих забав и игр... Я вспомнил родителей, вспомнил...

Он внезапно смолк, с глубоким вздохом возвел очи горе, потом закрыл их и столь живо явил подобие упомянутого материю Секлетеею Котофея Котофеича, что я бы в то мгновение ничуть не изумился, если бы внезапно двуличневая лиловая с алым ряса исчезла, на месте ее появилась бы серая или же пятнистая мягкая шкурка, а вместо медоточивых речей раздалось ласкательное мурлыканье.

– Ишь, очесами-то чудотворничает! – воскликнула мать Секлетее. – Знатно, сударик, знатно, да только этого-то товару у нас у самих все закрома полнехоньки. Говори-ка лучше дело, по чести. Ты все держишь в голове: «Она пьяна!», а я тебе сказываю: ан нет, не пьяна и все до щенту соображает. Да! и соображает и помнит. Ты что там заводишь о ближних-то да о христианских крохах? Ну-ка, покраснобайничай еще, да попространнее, попонятнее! Крохи! Крохи эти один

призрак, а ты лучше переложи-ка на православные рубрики... Что же ты завертелся, словно тебя жаром посыпали?

– Заря вечерняя уже скоро воспыхает, – мягко проговорил отец Еремей, – и время, я полагаю, нам продолжать путь. Мать Секлетее, не позволите ли сестре Олимпиаде убрать остатки трапезы и утолить ими голод меньшей братии нашей?

– Ты к чему это ведешь-то? – спросила буйная мать Секлетее.

– Пусть они удалятся в мире, – отвечал отец Еремей, окидывая благословляющим оком, – пусть они удалятся в мире, а мы побеседуем...

– А! так бы и говорил, а то все с вавилонами! Что ни слово – то вавилон! Олимпиада, убирай да позакупорь бутылки – слышишь? Ведь ты у меня росомаха росомаховна... погоди! дай еще рюмочку малиновенькой выпью!

Пока сестра Олимпиада вращала своими зеркальными очами, отыскивая между многими стоящими тут бутылками «малиновенькую», отец Еремей с некоторою стремительностью подвинул матери Секлетее и искомое и сосуд.

– Ну, вот добрый! – оказала мать Секлетее, повидимому тронутая таким вниманием терновского пастыря, – ну, вот добрый! Я буду помнить твою доблесть, буду...

С этими словами она наполнила до краев сосуд, причем по неверности хотя пламенно сверкавшего, но уже неясно различающего предметы ока обагрила и ковер алою влагою,

и выпила медленно, с наслаждением проглатывая по капле.

– Не осуждаешь? – спросила она терновского пастыря, внезапно переходя от буйства к смирению.

– Сказано: не осуждай, да не осужден будешь! – мягко и благосклонно отвечал ей терновский пастырь. – Я не осуждаю никого! Дух бодр, но плоть немощна...

– Ох, плоть, плоть! – задумчиво повторила мать Секлетя, грустно подпирая ланиту рукою. – И потерпела ж она, горькая эта плоть наша! И вспомнишь, так дух захватывает!

Терновский пастырь испустил глубоко сочувственный вздох и с тихой скорбью проговорил:

– Все мы обречены на испытания в сей юдоли плача и вздыхания! Юдоль сия...

– Врешь! все врешь! – горестно, но без буйства перебила мать Секлетя. – Чем тут «юдоль» виновата? То-то ведь и обидно сердцу, что одна юдоля, а разная доля!

– Божие предопределение, мать Секлетя. Провидение в неисповедимых путях своих...

– Перестань! Все это сама знаю досконально, – знаю, а все-таки обидно, что вот меня целый век за чуб трепали! Понимаешь?

– Небезызвестно мне, что вы претерпели многие страдания, мать Секлетя! За великие подвиги ваши господь сподобит вас венца славы своей и...

– Перестань! Сама все это знаю досконально!

– Покоримся...

– Перестань! Я покоряюсь, да ведь и тряпка трещит, как ее рвут, а я человек! Понимаешь? Ты это пойми. Берут тебя живого и... Дай-ка еще чуточку малиновенькой! где она?

На этот раз терновский пастырь не только пододвинул малиновенькую, но даже взял ее в десницу, сам ею наполнил сосуд и преподнес изливавшей перед ним душу собеседнице, которая, проглотив, как пилюлю, любезный ей напиток, продолжала еще с сугубейшим жаром:

– Ну, была я живой человек...

– Вы с молодых лет ваших, мать Секлетя, в Краснолесской обители подвизаетесь?

– С молодых подвизаюсь – с пятнадцати! Родитель-то у меня самодур был и к тому же выпивал. Сидит это он раз под оконцем хмельной и видит, идет мимо монашка, и очень ему с пьяных-то глаз показалась. «Хочу, говорит, чтоб у меня своя монашка была!» Взял да и отвез меня в обитель. И кланялась я, и просилась, и молилась, – «хочу, чтобы у меня своя монашка была и грехи мои отмаливала!» И конец! Вот и засадил меня в обитель... А матери игумении тогда надобна была служка... «Давай, – говорит родителю, – давай я ее наставлю!» И наставила ж! Косточки во мне нематой не осталось! Не осталось прежнего моего образа и подобия, измола она меня, испорошила и свою из меня куколку слепила. Я не то что семь мытарств прошла, их бессчетное число!

Чем далее, тем тон ее речи все более и более переходил в минорный, а под конец она, как бы устыдясь своей чувстви-

тельности, прикрыла лицо рукавом своего черного монашеского одеяния.

– Господь зачтет праведным претерпенное! – сказал отец Еремей тоном пламенной веры. – Наградит... сторицею воздаст... Вы служили старшим с кротостию и смирением, и господь вознесет вас за добродетели ваши... поставит вас во главе... поставит во главе...

Он смолк на несколько мгновений, а затем снова повторил с мягким, но многозначительным ударением:

– Поставит вас во главе паствы...

– Чего попусту искушаешь? – уныло перебила мать Секдетя. – Какие нам, сиволапым, «паствы», да «во главы»! Нам посылушки да потаскушки, – вот что нам!

– Судьбы божий неисповедимы, мать Секлетя, – отвечал терновский пастырь, как бы вдохновляемый свыше, – судьбы божии неисповедимы... Господь возносит смиренных... Многие из святых апостолов были простые рыбаки, и господь сподобил их соделаться ловителями душ... Все возможно господу – если только мы, рабы господни, будем пребывать в мире, любви и согласии. Манования господни низвергают хребты гор и воздымают глубины долин превыше утесов – и его преосвященство власть имеет великую, дарованную ему от зиждителя миров... Господь милосердно склоняет слух ко взывающим к нему с верою, – и его преосвященство не отвергает прошений, приносимых ему священнослужителями из его паствы испытанными... Я вот, еще не дол-

гое время тому назад, удостоился видеть успешное действие моего грешного ходатайства... Я со всем моим усердием готов, мать Секлетя, стараться о преуспении повышения вашего...

– Что ж, ты меня игуменьей, что ли, поставишь? – перебила мать Секлетя с прежним унынием, но несколько оттененным теперь ирониею. – Речи-то твои королевские, да дела-то нищенские будут. Нет! Уж как я не пирог, то я лучше и пирожиться не стану.

– Все возможно для господя, мать Секлетя! – возразил терновский пастырь с прежним вдохновением. – Все в руках вседержителя! Он, творец милосердный, ниспосылает добрые мысли представителям своим на земле, указывает им достойных и, стараниями служителей своих, творит...

– Отец Еремей! не оплетай ты меня! – прервала мать Секлетя с видимым волнением различных чувствований, – не оплетай ты меня, не морочь!

Терновский пастырь смолк.

– Ведь ты только морочишь? Ну, что ж теперь молчишь, словно воды в рот набрал! Ведь морочишь?

Вместо ответа терновский пастырь возвел очи горе, как бы призывая небо в свидетели столь жестокого обвинения.

– Да говори же! – воскликнула мать Секлетя со страстию, – говори, мучитель! Чего ты меня пилатишь-то!

– Не смущайтесь, сестра Олимпиада, – обратился терновский пастырь к юной отшельнице. – Убирайте остатки тра-

пезы...

Мне же он дал знак удалиться, безмолвный, одним мановением пухлой своей десницы.

Но я, лицемерно возведши очи к небу, показал вид, будто бы слезу за облачком, появившимся на ясной лазури небес, и помянутого мановения не заметил.

– Убирай, убирай! – крикнула мать Секлетя. – Чего ты буркалы-то уставила? Живо! Поворачивайся!

Затем, обращаясь к терновскому пастырю, прибавила. – Да ты на эту тетёху вниманья не обращай: она ничего не смыслит!

– Убирайте, сестра Олимпиада, убирайте, – хотя так же кротко, но настоятельнее проговорил терновский пастырь.

– Эх, не томи! – воскликнула мать Секлетя. – Говорю ж тебе русским языком: ничего не смыслит. Говори, говори... Хоть обморочишь, знаю, а все-таки послушать любо... А уж кабы вправду-то ты мне благодаянье такое... Что ж! ведь оно, точно, разные чудеса бывают у нас... Вон мать Аполли-нария у нас кадушки мыла да хлев чистила, а теперь мать Аполли-нария превыше лесу стоячего, превыше облака ходячего... Уж кабы ты мне такое благодаянье, так я бы тебе верой и правдой отслужила... я бы тебе... Уж ты был бы доволен!

Обращая речи эти, исполненные мольбы и страсти, к терновскому пастырю, мать Секлетя в то же время проворно делала нарезки на остатках окорока, вяленого зайца, жаре-

ного поросенка, копченых рыб, ватрушек, пирогов и прочего, внушительно взглядывая на сестру Олимпиаду при каждом нарезе.

Отец Еремей безмолвствовал, очевидно ожидая нашего удаления.

– Уходи, уходи теперь! – крикнула мать Секлетея, покончив нарезы и откидывая от себя нож.

Отец Еремей снова сделал мне знак торопиться, и на этот раз знак столь повелительный, что я счел за лучшее тотчас же повиноваться и, нагрузив себя елико возможно, отправился следом за сестрой Олимпиадой к повозке.

Солидные остатки монастырских яств – «невидимое» – исчезли снова в таинственных недрах сего нового рога изобилия, и на поверхности бездны снова появилось скромное и постное «видимое» в смиренном холщовом узелке.

Возница матери Секлетеи, испитой, почерневший юноша, как бы умышленно засушенный и выкопченный, уныло грыз кусок черствого серого хлеба, сидя около повозки и бесцельно глядя в пространство. Около него помещался возница отца Мордария, тоже не отличавшийся ни румяным цветом лица, ни особой бодростью и живостью движений, преждевременно состарившийся, но крепкий, сохранивший достаточный запас могучих сил, подобный громадной сосне, которая хотя и осуждена произрастать на неблагоприятной для нее почве, в расселине какого-нибудь каменистого утеса, однако зеленеет и крепко держится.

Сей последний, куривший столь короткую трубку, что дым се входил ему непосредственно в нос, при моем приближении, придерживая помянутую трубку передними зубами, спросил:

– А что, наши опочили?

– Опочили, – ответил я.

Он кивнул курчавою своею головою, как бы желая выразить: «так и следует!», и, сплюнув в сторону, снова начал пускать себе в нос, заражая притом и окружающий воздух, зловоннейшие клубы табачного дыма.

Возница матери Секлетеи только взглянул на меня своим безучастным, угасшим взором, не переставая грызть серый хлеб, и снова так же бесцельно устремил очи в пространство.

Сестра Олимпиада, усевшись между тем на подножке повозки так, что кузов совершенно скрыл ее от взоров матери Секлетеи, если бы сия последняя вздумала их обратить в эту сторону, кивком главы подозвала меня и повелительно сказала:

– Пооди, сорви мне лопухов! Пять сорви! Вон там, – видишь? Да живо! Ну, живо!

Имперский тон юной отшельницы сильно уязвил меня, но любопытство, на что ей понадобились лопухи, одержало верх над поднявшимся чувствованием собственного своего достоинства, и я, облегчив свою возмущенную душу мысленным восклицанием удачной клички, данной ей матерью Секлетею: «тетёха», поспешно вырвал пять больших лопу-

хов, спокойно их ей представил, а сам остановился около, как бы в ожидании дальнейших ее распоряжений.

Она тщательно разложила поданные мной листья на своих крепких, как гранит, коленях, и вдруг из ее рукавов, из складок, покрывающих ее девственный стан, из глубоких, как кладезь, карманов посыпался дождь кусков печеной, жареной копченой и вяленой снеди.

– Как же это вы?.. – спросил я. – А нарезки-то? (Спешу объяснить непосвященному читателю, что вышепомянутые нарезки делаются у нас хозяевами для ограждения собственности их от покушений коварных слуг и вообще лиц, подчиненных их власти, в надежде, что неопытная рука хищников не возможет воспроизвести принятых ими иероглифов, что, в случае преступления восьмой заповеди, оставляет утешение отплатить должным возмездием за беззаконие.)

Юная отшельница, в алых устах которой различный провиант исчезал, как бы опускаемый в бездонную бездну, ответила мне презрительно:

– Дурень!

Глубоко оскорбленный этим столь неприятным названием, я, однакоже, приняв подлый вид веселого раболепства, стал искать объяснения.

– Так вы, значит, умеете как мать Секлетея нарезывать? Умеете? – спросил я заискивающим голосом.

– Да я ее нарезок не трогала! – ответила она.

– Откуда ж вы?..

Недоумение мое заставило ее улыбнуться.

– А вот отгадай-ка, откуда! – сказала она с торжествующим видом.

Я уже начинал предполагать, что и она, подобно повозке, чудесно преисполнена «невидимого», и зорко оглядывал ее с пышновлаоой главы до широких пят.

Она же, польщенная, повидимому, моим удивлением, засмеялась и, раздирая белым зубом копченую рыбу, пояснила:

– А зачем же я за трапезой-то сидела?

– Как?.. за трапезой?.. – воскликнул я.

Мне живо представились ее скромно тогда потупленные взоры, стыдливый румянец, разлитый по девственным ланитам, застенчивые движения, робкие, чуть слышные ответы – я обомлел!

Я скорее бы заподозрил в подобном проступке изображение парящего серафима, с поднятыми горе очами и крылами, которым я не раз восхищался в терновском нашем храме, чем эту, блистающую юностью и алеющую невинностью, удаленную от мирских соблазнов деву!

Она же, все более и более польщенная моим изумлением пред ее талантами, еще благосклоннее на меня взглянула и сказала:

– Это еще что! когда большая компания, так всякий утянет, а вот как никого нет, так тогда трудно... А все-таки цапаю!

– И не ловитесь? – спросил я.

– Нет, – отвечала она, – никогда не ловлюсь!

Но по смущению, объявшему ее при моем вопросе, я понял, что она не признается в неудачных подвигах, желая явить, по свойственной всем художникам и художницам слабости, свое искусство не помраченным, а во всем блеске и сиянии.

– А если бы поймались? – спросил я, лукаво изворачивая вопрос.

– Я не поймаюсь! – ответила она раздражительно. – Чего пристал?

– Ну, другие если поймаются, что им бывает?

– Отдерут... да что ж такое, что отдерут? Это все равно: либо за то, либо за другое, а уж драть будут – так уж лучше за это.

– Как все равно отдерут? – спросил я. – Коли я ни-в чем не виноват, так за что ж меня драть?

Увы, любезный читатель! говоря это, я с отличною ясностию сознавал, что подобные казусы ежедневно и повсеместно в наших краях случаются.

Я возражал не потому, что меня поражал изумлением подобный, на взгляд философа, непоследовательный образ действий, а потому, что я тщился уяснить себе склад и строй жизни Краснолесской обители, дабы уведать мне, насколько то возможно, вступая в новый для меня мир, какие там меня ожидают опасности и испытания.

– Ишь ты, какой нежный! – отвечала мне юная отшельница. – Не виноват, так уж и драть его нельзя! Захотели, так и разневиноватого выдрали, – вот тебе и сказ!

– И часто? – спросил я.

– Часто, – ответила она, тщательно обгладывая утиную ножку.

– И больно?

– У-у-у! – ответила она, откидывая обглоданную косточку и принимаясь за кус ветчины. – У-у-у! Нигде так больно не дерут, как у нас! У нас и *жигачами*, и *лихачами*, и *шипучками*, и *скородками* – у нас погляди-ка, так рот разинешь!

На лице ее при этом рассказе выразилась благородная гордость.

– Как же это «жигачами»? – спросил я. – Какие это «жигачи»?

– Жигачи – это крапива, – ответила она.

– А «лихачи»?

– А лихачи это жгутики такие – тоненькие-претоненькие – так и свистят! Только и слышно зык-зык, зык-зык...

– А «шипучки»?

– А шипучки это тоже такие тоненькие, маленькие прутки, – они на болоте растут.

– А «скородки»?

– А скородки это с шипами, – так и впиваются! У нас еще есть *соляночка* и *разварняшка*.

– Какая же «соляночка»?

– А это выпорют да посолят.

Я не возмог удержать пугливого восклицания, что заставило ее самодовольно улыбнуться.

– А «разварняшка»? – спросил я, снова овладев собою.

– А это когда пареными хлещут. Запарят этак кипяточком, и лоза такая мякенькая станет... Как ножом режет!

Я в немом удивлении взирал на юную повествовательницу: красота ее, деревянная, так сказать, декоративная, ожилилась – даже некое вдохновение озарило крутое, гладкостию и бессмыслием подобное мрамору, чело; она с торжествующим видом поглядела на меня своими выпуклыми зеркальными очами, как бы говоря: «Знай нашу доблесть! Ха-ха-ха!»

Белоснежный барашек, пасущийся на злачной долине, перекусив тупым зубом своим стебель прекрасного цветка, не возмог бы заблестеть невиннее; питомица влажных лугов, юная кобылица, сокрушив резвым копытом гнездо с птенцами луговой чайки, не возмогла бы огласить окрестности более беспечальным ржанием!

– А то еще у нас есть *голодушка!*

– Какая ж это «голодушка»?

– А это голодом донимать: посадят в келью на целый день, выголодается она там, а ввечеру принесут ей кушанье – принесут, дадут понюхать, да и унесут! Ха-ха-ха! Иную так лихорадка станет бить, а кто – так кричит, рвет себе тело. Ха-ха-ха! Раз такая вышла у нас беда!.. пошли мы перепелов ло-

ВИТЬ...

– Перепелов? – прервал я изумленный.

– Да, перепелов. Мать игуменья до страсти любит этих перепелов. Целые бочонки у ней стоят. Нажарят и прильют маслом. Просто оторваться нельзя – все бы ел да ел! Ну, так пошли мы за перепелами...

– Эй, сестра Олимпиада! – раздался голос матери Секлети.

Сестра Олимпиада с быстротою и легкостью, какой нельзя было ожидать от ее деревянности и достаточной грузности и которая, очевидно, приобретена была ею частыми упражнениями, соскочила на землю. В единое мгновение ока весь провиант с колен исчез в карманах, рукавах и складках, обнимающих стан, и она, скромно потупив голову, сложив руки, как бы только оторванная от молитв, поспешила на зов начальства.

– Иваська! Пантелей! Идите, волочите их! Олимпиада, помогай! Бери за голову! – распорядилась мать Секлети. – А ты, эй ты! чего стоишь как кукла заморская? (Это было обращено к автору записок сих.) Иди, помогай! Вот этого сперва тащите!

Она указала перстом на бесчувственного отца Мордария, которого все мы общими силами тотчас же начали воздвигать.

Но соединенные старания наши не произвели желаемого действия: брэнная оболочка отца Мордария, казалось, нали-

та свинцом.

Пастырь терновский присоединился к нам – и это было тщето!

Мать Секлетя, наскочив, как дикий коршун, на беспомощного Мордария, щипала его и даже, увлекшись страстностью своего характера, пронзала безжалостно булавкою, но одинаково безуспешно.

– Берите его за ноги и волочите! – крикнула она, видя бесполезность и тщету сих, всегда действительных, средств.

– Я поближе подъеду, – сказал Пантелей.

Но деревья росли густо, и подъехать возможно было лишь шага на два ближе.

Что исполнив, Пантелей поплевал на руки и, обхватив исполинские ноги отца Мордария, повлек его, между тем как мы тянули кто за рясу, кто за руку, причем мать Секлетя, изрыгая проклятия, теребила бесчувственную жертву хмеля за бороду и даже ударяла по обширным, как лесная прогалина, ланитам, а сестра Олимпиада, поддерживавшая косматую главу его, не раз упускала это отуманенное вместилище мозга на траву.

Наконец, достаточно исцарапанный и истерзанный, отец Мордарий был свален в принадлежащую ему бричку, которую он и занял так плотно, как бы то был умышленно на него сделанный футляр. Хмель как бы распространил его вдоль и поперек.

– Ну теперь поднимайте отца Михаила! – повелела мать

Секлетея. – В нашу повозку!

С несравненно большею бережливостию, а потому и с несравненно большими трудами мы перевлекли юного патрона моего на указанное место. Мы сначала перекатали его, со всевозможною осмотрительностию, на разостланный ковер, затем, подняв его на вышепомянутом ковре, перенесли и сложили во всепоглощающую монастырскую повозку.

Когда это было благополучно окончено, мать Секлетея, хлопнув себя по бедрам, сказала:

– Убила баба лося, так ей довелось!

На что отец Еремей кротко и благосклонно улыбнулся.

– Ну, отец Еремей, полезай! – пригласила юркая отшельница терновского пастыря. – Садись по правую его сторону, а я по левую, – садись, вот тебе и подушечка под бок!

С этими словами она с легкостью молодой сороки впрыгнула в колымагу и крикнула:

– Сестра Олимпиада! садись в бричку – живо! И хлопца с собой посади!

Отец Еремей, не утрачивая свойственной ему плавности движений, поместился на указанное ему место справа, а сестра Олимпиада и я устроились, как позволяли неумолимые законы равновесия, на окраинах брички, наполненной отцом Мордарием.

– Ну, Иваська, с богом! – воскликнула мать Секлетея. – Катай, катай! Уж скоро примерковать начнет!

Унылый, как навеки простившийся с утехами и радостями

жизни, Иваська взмахнул кнутом, и бодрые монастырские кони побежали рысью, пофыркивая и помахивая хвостами и гривой.

– Эх вы, соколики! – воскликнула мать Секлетя. – Ги-ги-ги! По всем по трем, коренной не тронь! Пылай-гори-неси! Пускай вскачь! Пускай вскачь!

Последние слова сопровождались энергичными ударами пят, которые в пылу увлечения сыпались на Иваськову спину даже и тогда, когда он пустил коней вскачь.

Мы последовали за повозкой тихой рысцой, но и при этом условии я едва держался: каждый толчок грозил мне опасностью очутиться на дороге во прахе.

Описывая ежеминутно руками моими полукруги в воздухе, я невольно чувствовал зависть к практической непереборчивости средств для самоуспокоения, какую выказала сестра Олимпиада, равнодушно и безмятежно придавившая всею тяжестью своею плеча ниц лежащего отца Мордария, на обширном пространстве коих она удобно воссела и снова принялась за прерванное отъездом утоление аппетита.

Последнее обстоятельство тоже начинало меня смущать, ибо я, отправившийся в нежданное путешествие, не успев подкрепить сил своих пищею, уже чувствовал не только сильный голод, но и легкую тошноту, и чавканье юной спутницы, треск костей, запах снеди были для меня несносны. Плоть немощна, любезный читатель, и я, хотя смущаясь, хотя укоряя себя за малодушие, не раз глубоко вздохнул, на-

деясь привлечь на себя внимание и получить какую-нибудь кроху от избытка.

Надежда эта была тщетная: сестра Олимпиада не обратила на мои вздохи ни малейшего внимания.

Я чувствовал, что голова у меня начинает кружиться, и счел за лучшее громко охнуть.

– Что ты? – спросила, наконец, моя спутница.

Я поглядел на нее выразительными взорами.

– Ты что? – повторила она сурово.

Взоры мои стали еще выразительнее.

– Сиди смирно! – проговорила она.

– Я есть хочу! – воскликнул я горестно. – Я еще ничего не ел!:

И я, после вырвавшегося у меня восклицания, покрылся краской стыда, потупил очи в землю и уже чувствовал прикосновение протянутой с ветчиною или рыбою благодетельной руки...

Но рука не протянулась. Я долго замирал, не поднимая очей моих, уповал, чаял... но, слыша все один и тот же однообразный легкий треск ее исправно мелющих зубов, наконец решился взглянуть...

Читатель! юная отшельница равнодушно уничтожала свои припасы, нимало, повидимому, не намереваясь поделиться ими со мною.

Приведенный в негодование столь постыдным бессердечием, я уже настоятельнее и внушительнее воскликнул:

– Я есть хочу!

– Ну и хоти! – ответила она, обращая на меня свои черные зеркальные глаза. – На всякое хотенье есть терпенье!

– Мне тошно! – воскликнул я. – Дайте мне корочку хлеба.

– Ах ты, мужлан! «дайте»! Не может сказать: «пожалуйста»?

В это время меня тронули за плечо. Я поспешно обернулся и увидел загорелую рабочую десницу, протягивающую мне ломоть черного хлеба и луковицу: несообщительный на вид, но человеколюбивый Пантелей сжалился надо мною и уделил мне от скудного своего запаса.

– Переходи ко мне на козлы, хлопец, – сказал этот сострадательный смертный, – а то ты, пожалуй, слетишь.

Я радостно перебрался на предложенное мне место на козлах и с жадностью запустил зубы в хлеб.

Мы между тем мало-помалу настигали все ближе и ближе повозку матери Секлетеи, так как она, промчавшись безумно с версту, поехала умеренной рысью. Гиканья матери Секлетеи тоже смолкли, и, вместо удалых возгласов, она с приятностью звонко пела:

На дворе день вечеряется,
Солнце красно закатается,
Толпа в поле собирается...

Я окинул взором видимое пространство. Дневное светило уже скрывалось за лесистыми холмами, пронизываясь сквозь

почти обнаженные кущи тысячами золотистых игл. Багряная полоса далеко протянулась, бросая алый отблеск на темнеющую землю. Мы ехали уже по чистому полю. Дорога слегка пылила. Сжатые нивы были тихи. Ни единого звука, кроме тархтенья повозки и брички да голоса матери Секлетеи, не было слышно. Вечер был погожий, но пронимающая до костей осенняя свежесть заставляла вздрагивать и незаметно леденила члены.

– Дрожишь? – спросил Пантелей, бегло глянув на меня сбоку.

И, привстав на козлах, вытянул полу своей серой свиты и распространил ее так, что и я возмог под нее укрыться с головою.

Вынужденный этим обстоятельством прижаться к плечу моего благодетеля, я почувствовал невыразимую отраду и вместе с тем столь же невыразимую грусть, каковые чувствует воин, обнимающий своего собрата по потерянной битве.

«Ты тоже голодал и холодал, – думал я, прилаживая око свое к круглой дырочке, которую неумолимое, всеразрушающее время произвело на грубой ткани его серой свиты и сквозь которую мелькал мне абрис его бесстрастного, как бы из темной стали вылитого лица с тонким носом и энергичски очерченными устами. – Ты тоже голодал и холодал и, мучительно искушаемый, взирал на пиршествующих, – на тех, о коих благочестивый царь Давид восклицает: „Яко несть восклонения в смерти их и утверждения в ране их: в трудах

человеческих не суть и с человеки не приемлют ран. Сего ради удержа я гордыня их до конца: одеяшася неправдою и нечестием своим. Изыдет яко из тука неправда их: преидоша любовь в сердца“».

Мерное, хотя быстрое покачиванье брички по гладкой полевой дороге скоро погрузило меня в дремоту. Скоро время и пространство перестали для меня существовать. Иногда, при сильном движении рамен Пантелея, служивших мне опорой, я приподнимал отягченные сном вежды, бессознательно созерцал несколько мгновений яркую звезду, сверкавшую сквозь дырочку защищавшей меня от холоду серой свиты, прислушивался к звонкому, немолчно раздававшемуся пению матери Секлетеи, затем мало-помалу вежды мои смыкались, и я с трудом шевелил губами, повторяя за неутомимой певицей:

Голова моя теперь при старости,
А рассудок мой при слабости,
Нога за ногу запинается,
Рука за руку заплетается...

Однажды, внезапно пробужденный резкою плясовою нотой, я привскочил, сбросил с головы свитку, огляделся во все стороны, и, пришед в себя, следил некоторое время за едущею впереди монастырскою повозкою, и с внезапно вспыхнувшим любопытством ждал окончания судьбы воспеваемой матерью Секлетеєю чечетки.

Уродилось у чечетки сем дочерей:
Дарья да Марья, Арина да Марина,
Степанида, Салмонида,
Седьмая Катерина, –
Ой, да чечетка моя,
Белая лебедка моя!
Добыла чечетка семь зятьев:
Ивана да Романа, Николая,
Ермолая, Андрея, Алексея,
Седьмого-то Матвея, –
Ой да чечетка моя,
Белая лебедка моя!
Уродилось у них по семи ребят...
Двое избу метут,
Двое по воду идут,
Двое в луже лежат,
Двое каши кричат.

Невзирая на интерес, внушаемый мне этим семейством, мысли мои снова начали путаться, сон смешался с действительностью. Видения в луже лежащих и каши просящих чечеток приняли фантастические размеры и образы... Меня начал душить кошмар, представляющий мне мириады каких-то темных созданий, не походящих уже на пернатых, но не имеющих и подобия человеческого, которые, беспомощно пресмыкаясь во прахе, издавали жалобный гул, напоминающий и бляение отдаленных стад и отчаянные стоны че-

ловеческой толпы, между тем как на возвышенных холмах, почти сплошь усеивавших землю, восседали тысячи каменных, деревянных и железных, равнодушно созерцающих общее бедствие Олимпиад, на крепких зубах которых с громopodobным треском молотились целые горы копченых рыб, вяленых поросят и прочее тому подобное.

Меня пробудил голос Пантелея, который мне говорил:

– Просыпайся! Приехали!

Причем мощная его десница слегка потрясла меня, посадила прямо и несколько притиснула.

Я протер глаза, пришел в себя, глянул на небо, осмотрелся кругом, прислушался...

Мы ехали по опушке большого леса. Сжатые поля, проселочные дороги, теряющиеся в густо разросшихся кустах, узкие тропинки, вьющиеся по ближней горе, далекая степь, катившаяся впереди повозка матери Секлетеи, гривы сытых монастырских коней – все это блистало, как алмаз, под пеленою легкого мороза при ярком сиянии луны. Направо, за кущами высоких деревьев, воздымалась остроконечная колокольня, сверкал золоченый крест, поблескивали круглые куполы, вырезывались темные силуэты зданий обители. Тишина совершеннейшая повсюду безраздельно царствовала, и в тишине этой стук колес и топот коней отдавался с необычайною отчетливостью.

Сестра Олимпиада, которую я оставил спокойно и удобно восседавшею на обширном пространстве рамен отца

Мордария, снова с подобающим смирением помещалась на окраине брички; воспрянувший же от хмельного забытья отец Мордарий являл собою подобие холма, подверженно-го первым ударам землетрясения: он испускал какие-то глухие, зловещие звуки, напоминающие подземное клокотание, вздрагивал, колебался, на некоторое время совершенно утихал и затем снова подвергался сугубейшему волнению, яростно зевал, неистово плевал, злобно запуская персты в гривоподобные власы свои и бороду, подкидывал их вверх, как будто они мучительно отягощали его, разметывал полы риз своих, – одним словом, видимо находился в крайне возбужденном, гневном расположении духа.

Мы подъехали к каменной высокой ограде. Громадные ворота были на затворе. Разноцветная фольга, украшавшая образ богородицы и лики шестерых святых угодников, вделанные в надворотные своды, мертвенно блистала под лунными лучами. Из-за ограды раздался задорный лай звонкоголосых псов.

Мать Секлетея проворно, как сорока, выскочила из повозки и ударила в ворота, которые не замедлили раствориться, поглотить всех нас и вслед за тем снова замкнуться на затворы и замки, бряцавшие и шелкавшие с каким-то, как мне почудилось, мрачным свирепством.

Двор обители был обширен и тщательно усыпан песком; направо и налево тянулись фигурные цветники, красовавшиеся под узкими келейными окошечками здания, походив-

шего на некую исполинскую мышеловку. Далее, в глубине, воздвигались еще здания, образующие арку, сквозь которую я мог разглядеть каменные, сияющие при блистании луны, ступени возвышающегося за стройным рядом тополей храма и сверкающий бок колокола.

У помянутого здания с аркою мы высадились и стали в ожидании. Отец Еремей, троекратно совершив крестное знамение, как бы забылся, устремив задумчиво благоговейные взоры на сверкающий в высоте крест; патрон мой, иерей Вертоградов, охорашиваясь, круто повертывался во все стороны, озирался несколько припухшими, но победоносно блистающими очами, закидывал косы назад, встряхивался, чистился, – воображение мое нарисовало мне часто виданную сельскую картину, когда щеголь-селезень, в виду плывущего вдали чужого утинога стада, начинает производить на струях свои кокетливые эволюции, причем наглое его око заранее разгорается удовольствием предстоящей встречи с незнакомыми, но равно интересными для него кряквами. Отец же Мордарий свирепо копошился на месте, как будто стоял не на гладкой каменной плите, а зарыт был по пояс в муравейник.

Мать Секлетя и сестра Олимпиада мгновенно исчезли, как духи. Несколько из близу, но неизвестно откуда выходящих голосов усмирительно подействовали на лающих в своих конурах псов тихим, угрожающим шепотом: «Цыц! цыц! Цыц – у-у-у!» В келейных окошечках замелькали огоньки и

засуетились быстро движущиеся фигуры; время от времени раздавалось звяканье связки ключей; под аркой промелькнуло несколько смятенных существ, которые в беге своем ударились о ее стены, как испуганные, наобум залетевшие куда-нибудь летучие мыши.

Наконец окно над нами отворилось, а вслед за этим распахнулись двери, и на ступенях показалась мать Секлетея с ярко пылающей свечой в деснице; за нею, невинным и благочестивым видом, а также и красотой подобный полчищу херувимов, стоял отряд юных отшельниц с смиренно потупленными взорами и с пылающими светильниками.

Ослепленный Михаил Вертоградов двинулся вперед, остановился, снова двинулся... Робкие отшельницы подошли под его благословение, затем под благословение следовавшего за ним отца Еремея, а за отцом Еремеем – отца Мордария. Несколько минут мелькали в воздухе сложенные на благословение иерейские персты и наклоняемые головы, увенчанные остроконечными черными шапочками, – слышалось только: «Во имя отца и сына и святого духа» и звуки целования благословляющих десниц.

– Пожалуйте, пожалуйста, – сказала мать Секлетея, – пожалуйста, – вот преподобная мать игумения!

Кто бы узнал еще недавно столь необузданную в словах, столь дерзновенную в мыслях жену? Движения, хотя быстрые, были плавны, голос отличался такую ровностию, как будто бы она говорила по нотам. Только несколько сбивша-

ся набок шапочка да еще алевшие пятна на ланитах напоминали только что утихшее бушевание страстей.

– Пожалуйте, пожалуйста! – повторила она еще раз и распахнула двери во внутренний покой, преисполненный сияния от теплившихся там пред богатыми иконами лампад и на пороге коего появилась высокая и величественная, как монумент, фигура, закутанная в черную мантию и покрытая с головы до ног черным покрывалом.

В ответ на иерейское хоровое приветственное благословение она, сложив руки на груди и низко наклонив голову, тихим и как бы от поста угасшим голосом ответила:

– Аминь!

Затем она отступила от порога в сторону, живо напомнив мне прекрасную картину жен-мироносиц, которую я не раз любовался в терновском храме нашем: те же правильные складки, то же смиренное склонение телес, затем, высвободив или, лучше сказать, как бы из волн подъяв из черной, волнующейся на ней ткани белоснежную, нежную, как масло, руку, знаком попросила иереев войти.

Отец Еремей плавно, мой патрон переваливаясь, а отец Мордарий ежась переступили порог, и тотчас же двери за ними сомкнулись.

– Ну, вы теперь у меня повертывайтесь! – грозно прошептала мать Секлетя, обращаясь к сонму херувимоподобных дев. – Вы двое бегите, ловите кур... Ты засвети фонарь, в погреб пойдем... Ты ступку приготовь... Живо, живо! По-

врачивайтесь! Где мать Евдокия?! Сюда ее!

По мере того как она грозно вышептывала свои распоряжения и приказания, означенные киваньем ее главы, девы, подобрав смиренные свои монашеские одеяния наподобие одежд канатных плясуний, с быстротою молнии исчезали,

– Ах, царь небесный! – воскликнула мать Секлетея, – профимиамы-то и запамятовала!

С этим восклицанием она, подобно бурному порыву степного урагана, устремила в боковые неосвещенные покои, остальные послушницы понеслись за нею, как легкие листки, увлекаемые вихрем, и я, забытый, как ни на что не нужный мешок, остался один в обширной, мрачной, высокой храмине, где теперь теплилась только громадная лампада пред образом спасителя мира, увенчанного терновым венцом.

Глава шестая

Краснолесская обитель

Долгое время оставался я одинокий, напрягая слух, ежеминутно ожидая благодетельного появления живого существа, которое бы, так сказать, прибрало меня к месту.

Но ожидания мои были тщетны. Никто не появлялся. До слуха моего непрестанно доносился резвый топот многочисленных ног, как будто бы где неподалеку метался из стороны в сторону уstraшенный табун жеребят, раздавался звон посуды, бряцанье ключей; смешанный глухой шепот многих взволнованных голосов уподоблялся отдаленному шуму мельничных колес, среди которого время от времени прокатывалось нестройное глухое гудение, как будто вдруг ударили по сотне испорченных, не издающих явственных звуков арф.

Я подошел к окну, из которого взор мой мог обозреть часть высокой монастырской ограды, ярко сиявшей при блистании луны и теряющейся в густых деревьях монастырского сада; значительно уже поредевшая листва казалась, под легкой пеленой изморози, как бы посеребренная. По блистающей тропинке между деревьями беспрестанно мелькали торпящиеся черные фигуры в остроконечных шапочках или же в покрывалах, обремененные какими-то ношами. Между помянутыми фигурами я не раз узнавал юркую, мятущуюся

мать Секлетею.

Неоднократно задав себе вопрос, куда стремятся матери и сестры вглубь опустелого сада, и ни разу удовлетворительно не решив его, я оставил наблюдения и, уныло присев на скамью, приклонив усталое тело мое к стене, задумался о безотрадном своем положении.

К печальным этим мыслям не замедлили присоединиться роем налетевшие воспоминания трудно пережитых минут, что, вместе взятое, снова привело меня, наконец, к роковым размышлениям о сотворении мира и грехопадении первых человек.

Долгое время я поводил глазами по стенам и потолку высокой, мрачной храмины, как это случается с людьми, не обретающими желанного разрешения задачи, поставленной их разуму, но вдруг взоры мои нечаянно упали на входные двери храмины, и я внезапно был призван из мира заоблачного в мир действительный.

На пороге стояли две юные отшельницы. Увидав меня, они как бы замерли на месте.

– Спит?... – шепнула одна.

– Это его служка! – шепнула другая. – Иваська говорил, что у него служка... Спит?

Они подкрались ко мне и жадно заглянули мне в лицо. Я успел во-время сомкнуть вежды.

– Разбужу! – шепнула одна.

– На что? – шепнула другая.

– Он порасскажет...

– Дождись, порасскажет! Архиерейский порассказал?

Забывла?

С напоминанием об «архиерейском», повидимому, связано было нечто роковое, ибо обе умолкли на несколько мгновений, как бы подавленные прошедшею, но все еще чувствительною катастрофою.

– Скорей! Еще застанут того и гляди... – шепнула напомнившая об «архиерейском», и, по всем признакам, благоразумнейшая.

Почуяв, что они отошли, я осторожно приоткрыл левое око и увидел обеих у дверей, ведущих в сияющую блеском риз и лампад храмину, поглотившую иереев. Они поочередно прикладывали ухо к дверным скважинам.

– Ничего не услышишь, пойдем! – шепнула, наконец, благоразумнейшая, отличавшаяся необычайною быстротою глаз.

– Погоди... погоди... – настаивала другая, смуглая, обладательница низкого лба и выпуклых губ.

– Пойдем... я уйду!.. захватят!

– Погоди. Вот слышу, слышу!

– Что?

– Говорят!

– Да что говорят?

– Не слышно, что. Погоди!

– Уйду! Оставайся одна!

– Нет, нет, погоди! И я пойду, и я...

Низколобая, наконец, повиновалась, последовала на концах пальцев за быстроокою, но на пути вдруг, как бы внезапно сунутая невидимой рукою, очутилась около меня и тихонько меня толкнула в плечо.

– Что ты! – воскликнула шепотом быстроокая.

– Ничего! Он маленький, глупый... у него можно спросить, – шептала низколобая скороговоркою. – А если донесет, так мы отопремся: скажем, что мы его и не видали.

– Забыла голодушку? забыла шипучку?

Низколобую передернуло. Она вздохнула и как будто сделала шаг к дверям, но неожиданно снова обернулась ко мне и вторично толкнула меня в плечо.

Быстроокая ахнула и проворно надвинула черную свою шапочку на самые глаза, так что виден остался только круглый подбородок и характерный, вздернутый, поразительно малый носик.

Я между тем глядел на них вопросительно и даже несколько сурово, с искусно, как я мнил, скрытым любопытством.

– Что, спал? – спросила меня низколобая дружественным тоном. – Нехорошо тебе тут? Бедненький! сидя спит! Озяб, а?

– Нет... не очень... – отвечивал я, смущенный этими выражениями сочувствия, хотя корыстность их и была мне понятна.

– Бедненький! Ты уж давно у него?

– У кого?

– У отца Михаила?

– Нет, недавно. Да ведь я не служка.

– А кто ж ты?

– Я только так...

– Как так? Ведь тебя отец дьякон отдал в служки?

– Когда отдал? Кто сказал, что отдал? – воскликнул я.

– Тс... тс! Не кричи, не кричи! – зашептали они обе, пугливо оглядываясь.

– Кто сказал?

– Никто, никто! мы так это... Мы не знаем! Что ж, или тебе худо у него?

– Я не хочу идти в служки! – ответил я с волнением.

Произнося это гордое «не хочу», я сознавал как нельзя лучше, что подобное слово в моих устах не более как кимвал звенящий, и сердце мое, сначала забившееся негодованием, мучительно сжималось.

О вы, дети, мужи и старцы, побывавшие в положении бесильного мячика в деснице любящих вас, или ненавидящих, или же равнодушных, вы только поймете, коль ужасно это помянутое мною сжатие сердца!

– Бедненький! – снова произнесла низколобая, с сугубейшею дружественностию и участием. – Бедненький! Озяб, спать хочется! Ох, бедненький!

И она даже погладила меня сперва по одной, затем по другой ланите нетерпеливою рукою, заглядывая мне в лицо са-

мым наизаискивающим образом.

– Что ж ты такой гордый? Отчего говорить с нами не хочешь, а? – спросила она: – отчего?

– Я говорю, – отвечал я, все более и более смущаясь.

– Расскажи нам, как вы живете. Правда, что *он* петь песни любит? Правда, что он дорогими подарками дарит? Что он нашей Олимпиаде дал? Ты нам скажи: мы ведь никому в свете и не пикнем! Ну, скажи нам, скажи!..

Между тем как эта умильно и пылко меня расспрашивала, быстроокая, до той поры безмолвствовавшая и сторожившая, но, очевидно, внимавшая каждому слову, вдруг приблизилась к самому моему плечу и неожиданно всунула мне в руку что-то твердое, металлическое, как бы монету.

Изумленный, я вопросительно взглянул на ее вздернутый носик и круглый с ямочкой подбородок (так как глаз все не видать было из-под насунутой шапочки), а затем взглянул на полученное мною.

Я не ошибся: то была монета, или, как в наших краях именуется, «медяк», ценностью в две копейки.

– Мы после тебе еще дадим... мы после тебе больше дадим, – прошептала со страстию низколобая. – Мы тебе, увидишь, сколько дадим! Ну, что ж *он* дал Олимпиаде, а?

– Не знаю, не видал, – отвечал я, желая обратно вручить медяк и протягивая его с этою целию той, которая меня им наделила.

– Мы после еще тебе дадим... мы тебе еще... ей-богу, еще

дадим!.. – прошептала низколобая. – Ты не сомневайся! мы, ей-богу...

Ее осторожная соучастница, не произнесшая еще ни одного слова, тоже шепнула:

– Мы после дадим еще... Мы и крестов дадим... серебряных крестов дад...

Внезапно раздавшиеся тяжелые шаги заставили их обеих ахнуть и исчезнуть с быстротою молний небесных, оставив меня с полученным медяком в простертой к ним деснице.

В то же мгновение двери, ведущие во внутренние храмины, сильно распахнулись, и свирепая фигура отца Мордария вырезалась неуклюжими линиями и углами на блестящем фоне белых стен, сияющих иконами в дорогих окладах и пылающими пред ними лампадами.

Помянутый иерей ринулся было к выходу, но, заметив меня, остановился и, подозрительно взглядываясь в лицо мое, мрачно и грубо спросил:

– Ты чего тут сидишь, а? За мной велено присматривать, а? За сколько подрядился, предатель, а?

Он бешено схватил меня за руку повыше локтя и потрянул так, что в глазах у меня потемнело и сжатый в деснице медяк звонко покатился по каменным плитам.

Вид катящегося пенязя послужил ему несомненным доказательством моего предательства. Ярость его вспыхнула, подобно сухому стогу соломы, в который всунули пылающую головню. Он некоторое время не возмогал подать голоса, а

только, широко раскрыв огромный зев, напоминавший бездонный овраг, обросший густым чернолесьем, бешено глядел на меня выкатившимися из орбит своих шарообразными очами, подняв ужасные размерами, не уступающие двухпудовым гирям, кулаки над моею злополучною головою и, подобно выщепомянutoму загоревшемуся стогу соломы, пылал, грозя ежеминутно обрушиться и похоронить в своем пепле все окружающее.

Затем, совершенно наклонясь надо мною и отуманивая меня спиртным дыханием своим, он, задыхаясь, проговорил:

– Иуда искариотский!

Уязви он меня сравнением с духом тьмы, искусителем рода человеческого, он не возмутил бы меня в такой степени, ибо, невзирая на мое неодобрение поступков падшего ангела как в отношении праотцев наших, так и в отношении последующих поколений, я не могу ему отказать в известной доле мужества, в некотором, так сказать, величии преступления, что, как известно, не лишено для невинного отроческого возраста своего очарования. Я хотя с осуждением, но не без интереса представлял себе блестяще-чешуйчатого, сверкающего очами змея, мягко извивающегося и манящего яблоком слабых смертных. Я тут видел возможность борьбы, подвигов, победы...

Но при представлении лобызавшего меня, дабы предать за большее или меньшее количество сребреников, кровь застывала у меня в жилах от отвращения, и дыхание спиралось

в груди, как бы от невыносимого смрада.

Услыхав столь душепретящее название, я вострепетал, изумление при неожиданном обвинении и робость, свойственная твари в моем положении, сковывавшие язык мой, уступили место бурному негодованию, и я, мгновенно поднявшись с места, со страстию воскликнул:

– Я не Иуда искаротский!

Истина, надо полагать, сильно зазвучала в моих словах, потому что раздраженный отец Мордарий, в единое мгновение ока чудесно смягчившись, опустил ласкательно свою тяжеловесную десницу мне на плечо и сказал:

– Ты непричастен!

Затем, не снимая десницы с плеча моего и тяжестию ее пригнетая меня, он погрузился в мрачную задумчивость.

Простояв некоторое время неподвижно, я, наконец, начал, елико возможно, протестовать: покашливал, вздыхал, переминался на месте, двигал раменами и употреблял прочие почтительные, но выразительные приемы для освобождения. Однако-же все вышепомянутые ухищрения остались безуспешны: отец Мордарий не замечал моих движений, как не замечал непрестанно приотворяемых дверей и в них различных типов физиономий, обрамленных черными шапочками, которые, сверкнув на мгновение горящими любопытством взорами, стремительно исчезали.

Неизвестно мне, долго ли бы еще длилось оцепенение грузного иерея, если бы не раздался вдруг сдержанный, но

и в сдержанности своей пронзительный голос матери Секлетеи.

При первом его звуке отец Мордарий подпрыгнул, как бы ужаленный, кинулся к выходным дверям, как бы опасаясь упустить стремящуюся на него добычу, и, можно сказать, принял в свои объятия юркую мать Секлетею.

– Что это, преподобный, на людей уж метаться стал? – шутливо обратилась к нему эта нетрепетная духом жена. – Видно, головку-то ломит? Погоди, дай срок, не свали с ног, опохмеленье будет! Ну, пропускай! Чего ты остолбенел?

Сила ярости не только лишила отца Мордария дара слова, но как бы помутила его рассудок, отняла сообразительность, парализовала движение членов, обратила его из живого человека в каменное изваяние. Глаза его, налившиеся кровью, неподвижно-тупо устремились на мать Секлетею, гигантские кулаки сжались...

Но мать Секлетея казалась беспечнее молодой коноплянки, порхающей по цветущим кустам, и, отталкивая небрежно иерейскую массу, загораживающую ей вход, сказала по-прежнему шутливо:

– Чего ты буркалы-то выпучил? Пускай!

Она, говоря это, натиснула его своим маленьким, мускулистым, сухим тельцем, покачнула и этим натиском как бы возвратила ему свободу движений и дар слова.

– А! – зашептал он, и шепот его уподоблялся десятку купно шипящих паровозов – А! Так вот меня как! Так вот как!

Так теперь меня уж под лавку! Теперь я уже не надобен! Теперь я пошел вон! А! вот оно что! А! прежде и «пояс вышьем» и «благодарны будем», а теперь... Теперь уж не надобен! Я вам кто такой дался? Или я дурачок? Я иерей, я служитель храма господня! Я...

– Дурень ты! – безмятежно перебила его мать Секлетея: – Арина ты бессчетная!

Отец Мордарий снова «остолбенел», как выразилась красноречивая мать Секлетея. Этот вторичный прилив ярости был еще сильнее. Иерей вострепетал всем существом своим; кулаки его судорожно сжались, подъявшись над мелкою фигуркою издевающейся над ним жены, и замерли в воздухе, грозя ежеминутно, сокрушительно опустясь, превратить в прах дерзновенную.

Но мать Секлетея, под этими сокрушением грозящими естественными орудиями, прошла беспечно, как под цветочными арками, приблизилась к дверям во внутреннюю храмину, протяжным, как бы угасшим от страдания голосом протянула обычное: «Во имя отца и сына и святого духа», немедленно получила в ответ из внутренности храмины тихое, певучее и томное «аминь», приостановилась, смерила все еще неподвижного отца Мордария презрительным взором, покивала на него главою и, проговорив: «Борода-то с ворота, а ум с прикалиток!» – отворила двери храмины и скользнула туда, как змея в нору.

Тогда я, все это время не без тревоги державшийся в уг-

лу, в тени, бросаемой отцом Мордарием, быстро подкрался к выходной двери и, не замеченный свирепым, но все еще оцепенелым иереем, обратился в бегство, во избежание новых с его стороны буйств.

Сбежав со ступеней лестницы и очутившись во дворе, я, однакоже, остановился и, оглядываясь кругом, задал себе затруднительный вопрос:

«Куда же идти мне?»

Во дворе раздавался глухой гул, подобный шуму прорвавшегося оплота потока: то были возгласы и шептания смятенных отшельниц, снующих во все стороны.

Так как все они устремлялись в одном направлении, то и я, по свойственной мне любознательности, с подобающею осторожностью, стараясь держаться в тени от здания, устремился в ту же сторону, то есть к саду монастырскому, блиставшему под пеленой мороза за аркою.

Помянутый сад был обширен. Росшие тут деревья отличались необычайно великими размерами и образовывали даже в эту осеннюю пору столь густые и столь искусно расположенные чащи, что убегающий кары законов мог бы тут обрести убежище несравненно удобнеее, чем в каких-нибудь диких, непроходимых дебрях лесных. Скрывающемуся в вышепомянутых дебрях предстоит сколько удобств, столько же и препон: он тут рискует встретиться с кровожадным зверем, не уверен, что не заблудится в бесплодных терниях, может, в случае преследования, очутиться запертым, как в тюрьме,

в той или другой безвыходной чаще, между тем как в описываемом мной саду вы могли на пространстве в несколько десятков шагов довести преследующих вас до изнеможения, но в руки к ним не попасться: таково было тут обилие заворотов, поворотов, лазеек, уголков и ямок.

Очувившись в лабиринте тропинок и сообразив, что путаницей этой руководствоваться и путеводить себя невозможно, я, однако, не пожелал следовать широкою дорогою, прямо ведущею к благолепному храму, озаренному лунным сиянием, а бродил наудачу, пока одна из узеньких, скрытых под навесом ветвей стезей не вывела меня, совершенно неожиданно, к другому, ветхому и, судя по обвалившимся кускам штукатурки, по окраинам ступеней, покрытых мхом и даже поросших кустами черной смородины, по густой чаще окружающих его слив, вишен, орешника, бузины и калины, распространивших свои беспорядочные ветви на просторе, упраздненному давно храму.

Обойдя кругом помянутый храм и увидав позади его еще сугубейшее запустение и еще непроницаемейшую гущу деревьев и сорных зелий, я уже хотел повернуть обратно к арке, как вдруг меня поразили чуть заметные золотые искорки света, падавшие, сквозь сеть переплетавшейся растительности, на душлистый ствол засохшей яблони.

Несколько мгновений я оглядывался в недоумении, но сомневаться было невозможно: свет падал из окна упраздненного храма.

Первым моим движением было броситься к окну или, говоря точнее, к тому месту, где я предполагал окно, но бурьян, кустарники и молодые деревца заслоняли его столь сплошной плетеницею, что я, уязвляемый и царапаемый сверху, снизу и со всех сторон, вынужден был отступить.

Благосклонный читатель, может статься, уже успел заметить, что мною достаточно владеет бес упорства и что препятствия, вместо того чтобы пугать меня и сталкивать с пути, заставляют только неуклоннее по нем стремиться. Так случилось и тут.

Ощупав уязвленные и пораненные места, извлекая иглы и тернии, я, с большею только разборчивостию, но с такою же ревностью, начал продираться к окну, из которого истекал свет. Мужественно претерпевая непрестанные уколы и царапины, я подвигался к цели, но с величайшим трудом и несказанною медленностию.

Вдруг я опустил деятельно работавшие руки, как бы пораженный ударом смертоносного кинжала: меня ужаснула мысль, не святотатствую ли я, не чудотворный ли это свет?

Не ведаю сам, долго ли бы я пребывал в нерешимости и чем бы разрешились мои вышеписанные сомнения. В волнении чувствований я стоял неподвижно, как вдруг около меня раздался тихий, но резкий возглас:

– Чего ж стала? Иль дорогу уж позапаятовала?

Обьятый священным трепетом, я, вероятно, бы упал, если бы падение могло совершиться среди колючей раститель-

ности, обнимавшей меня со всех сторон наподобие того, как крепкий футляр обнимает хрупкий сосуд.

Пришед несколько в себя и сотворив крестное знамение, я, замирающий всем существом моим, робко, но не колеблясь, двинулся по тому направлению, откуда слышан был мною глас.

Я не сомневался, что то был «глас». Продираясь между тернистых, иглистых, сучковатых, шероховатых кустов, как между четырехсторонних терок, я припоминал себе все древние и новые чудесные видения и явления, о которых слышал. То, что глас обращался ко мне, как бы к лицу женского пола, нимало не смущало моей веры, ибо я достаточно уже мог по слышанным повествованиям убедиться, что некоторые неправильности слога, неясность, запутанность всегда в таких случаях испытуют слабого смертного.

Я, трепеща, задавал себе вопрос, что представится моим взорам, и не ослепит ли меня чудесное явление, и как я повергнусь ниц среди окружающих меня сплошных, как спина ежа, шипов, когда вдруг я попал в некое, как мне показалось, глубокое корыто и очутился в глубокой темноте.

То, что я принял за корыто, был узкий проход, подобие крытой аллеи, но столь темной, что ее можно было принять за подземную галерею, какие мы видим при пещерах, ископанных святыми угодниками, с тою только разницею, что здесь не было ни духоты, ни сырости, ибо воздух приникал и сквозь сплошной покров ветвей; тоже не приходилось здесь

сгибаться, ни подвигаться ползком, как то часто случается в галереях пещерных: человек высокого роста и достаточной тучности мог здесь пройти беспрепятственно. и даже удобно, ибо стенки были гладки, как будто заботливая рука постоянно тщательно их сравнивала.

Я остановился и соображал, куда направить стопы свои – вправо или влево, когда пахнувшая мне в лицо струя благовоний положила конец колебаниям; я двинулся в том направлении, откуда исходили ароматы, по мере того как я шел, все сильнее и сильнее поражающие мое обоняние.

Прошед шагов полтора, причем мне казалось, что проход ведет не прямо, а полукружием, я уперся в небольшую низкую дверь, какие устраиваются иногда в храмах преимущественно для священнослужителей и причта и именуется у нас «краженками».

В нащупанной мною «краженке» находился ключ, который повернулся в замке так тихо и легко, как будто бы попертывался не в дубовом дереве, а в чистом елее, и помянутая «краженка» распахнулась бесшумно, как обделанная в мягкий бархат.

Пройдя благополучно через погруженный во мрак упраздненный храм, я достиг узкой тропинки, скрытой густой, растительностью и приведшей меня к полурастворенной двери какого-то деревянного здания.

После минутного колебания я распахнул дверь.

Неискусное, слабое перо мое отказывается выразить

изумление, объяввшее меня при виде представившегося мне зрелища.

Освоившись с опьяняющими ароматами, а также с ослепительным блеском, причинившим боль глазам моим и заставившим быстро сомкнуть вежды, я увидел обширную храмину, посреди коей возвышалось нечто столь сверкающее, столь яркое, что моему воображению тотчас же представилась неопалимая купина.

Сотворив дрожащею десницею крестное знамение, я уже чаял сподобиться видения, робкие взоры мои уже искали по углам храмины реющих семикрылых серафимов, мне уже чудился хвалебный хор ангелов...

В треволнениях часы летят быстро и я, мню, довольно долгое время провел в смятенном чаянии чуда.

Но смертный со всем освоивается, ко всему привыкает, и мало-помалу я хладнокровнее обвел испытующими взорами сияющую храмину.

Предмет, напомнивший мне неопалимую купину, походил на роскошный пиршественный стол, на котором пылало в высоких подсвечниках великое количество восковых свеч. Белоснежный убрus, покрывающий помянутый стол, блестел, как иней при лунном сиянии; кубки, чаши, амфоры из драгоценных металлов, радужные хрустали, пирамиды румяных плодов искрились и сверкали, подобно алмазам, между тем как в углублении темным пурпуром переливалось пышное ложе.

Ступив с порога, я почувствовал, что ноги мои утонули в некоем пуху: пол храмины был устлан роскошнейшим ковром, столь толстым, что ножки уложенных алыми атласными подушками кресел скрывались в нем почти до половины.

Из этого покоя я пробрался в другой. Одинокая толстая восковая свеча, ярко пылая, освещала небольшое сравнительно пространство, беспорядочно заваленное разнородными кулями и бутылками, оставляя стены в полутьме, а углы и потолок в совершенном мраке. Благовония смешивались здесь с запахом бакалейных припасов, которые я не замедлил открыть, дерзнув проникнуть в темные закоулки.

В неопытном детском уме священные предания столь легко и тесно смешиваются с легендами сказочными, с повествованиями волшебными и фантастическими, что явления, прямо противные логике, кажутся отроку возможными и в этих отраслях как бы естественными – чудесами, умствования не подлежащими.

Однакоже, несмотря на все вышереченное, я, блуждающий любознательно в этой храмине, обращенной в складочное место прихотливых и изысканных припасов, удовлетворивших бы самого брашнолюбивого из слуг Маммона, неоднократно погружался в тревожную задумчивость, которую заключив тяжелым и глубоким вздохом тоскливого недоумения, снова продолжал исследования.

В ту минуту, когда я поставил себе один из наинеразрешимейших вопросов, слух мой был внезапно поражен звука-

ми нескольких голосов из первого покоя, затем шумом размещавшихся особ, затем звоном сосудов и смехами, между которыми я, казалось мне, различал знакомое гоготанье патрона моего, Михаила Вертоградова.

Подобно ночному татю, неслышными стопами прокрался я к двери и узрел восседающую за столом мать игуменью, образ коей теперь напоминал уже не подвижничество, не посты и молитвы, но противное всему вышеисчисленному. Она быстро передвигала по столу сверкающие, звенящие сосуды, которые мать Секлетая, с свойственными ей ловкостью и проворством, наполняла сердце веселящими напитками. Патрон мой, Вертоградов, окруженный сонмом юных прислужниц, напоминал скорее языческого упитанного бога вина, чем благочестивого пастыря.

Приняв все видимое мною за злое бесовское наваждение, сотворив троекратное крестное знамение и прочитав мысленно «Да воскреснет бог и расточатся врази его», я ждал исчезновения помянутого наваждения, но ничто не исчезало, а, напротив того, преуспевало в буйстве и веселии.

Огромных размеров золотой крест, блеснувший на груди матери игуменьи, заставил меня усомниться, не была ли предо мною живая плоть и кровь, ибо, хотя бес, по неизреченным своим лукавству и коварству, готов и может воспринять образ всякого богоспасаемого мужа или жены, а следственно, мог в точности взять на себя образ преподобной матери игуменнии, а также и мгновенно усвоить бесовской своей

природе ужимки сестры Олимпиады и юркость матери Секлетеи, но ведомо, что крест святой страшен нечистому бесу и от лица его враг рода человеческого бежит в смятении и ужасе.

Убедившись вышеизложенными соображениями в естестве созерцаемых мною пиршествующих, скоро уподобившихся беспорядком своим престарелому Ною, упившемуся соком виноградным, я...

Но да не уподоблюсь я нечестивому детищу оного Ноя и да наброшу на всю наготу сию непроницаемое покрывало.

.....

Наконец смолкли смехи, дикие возгласы и неистовые крики, прекратился звон сосудов и стук трапезных орудий, свет погас – все стихло. Мощный храп, еще в общем шуме и гаме возвестивший мне об успокоении патрона моего, раздавался теперь одиноко под темными сводами.

Я осторожно вылез из своего убежища – из-за кучи старого хлама, сваленного у стены, – и стал пробираться к «краженке», надеясь обрести ее не на замке, ибо струя свежего воздуха была чувствительна и давала основание думать, что удалявшиеся жены не только не замкнули ее, но даже оставили полуотворенную.

Я пробирался ощупью; меня окружал совершеннейший мрак. Я уже добрался, задевая за оставленные в беспорядке скамьи, до «краженки», когда вдруг она распахнулась, и я имел только время отпрыгнуть в сторону пред упитанной,

тяжело дышащей, как после усиленного бега, фигурой, которая, с тяжеловесностью быка соединяя верткость змеи, быстро направилась к нише, где на пышном ложе храпел патрон мой.

Вскоре раздались и загробные, уже известные мне и читателю, заклинания Ненилы, нарушившие сон Михаила Вертоградова, завопившего столь дико и зычно, что я мнил: ветхая храмина не устоит и разрушится.

Вдруг к его реву присоединился пронзительный дискант, за ним другой, за другим третий. Все они исходили с разных сторон, снизу. Казалось, некое фантастическое стадо, опочившее в таком же беспорядке, какое представляла пиршественная утварь, мгновенно очнулось и возметалось.

Чья-то находчивая десница, обретши зажигательные спички, лихорадочно зажигала их, но освещала ими только часть бледного, испуганного образа, ибо хрупкие эти запалки ломались и гасли вследствие быстроты и порывистости движения. – Вот бумага! – пролепетал чей-то дрожащий голосок, звуки которого я едва возмог уловить среди несмолкаемого рева Михаила Вертоградова.

Вслед за тем вспыхнувшая бумага осветила на мгновение незнакомые мне, запечатленные ужасом образы и огромную, окутанную белым, наподобие савана, покрывалом, фигуру, стремящуюся к выходу.

Пронзительный вопль нескольких голосов огласил снова потонувшие во мраке своды:

– Мертвец! Тень! Привидение!

Призрак между тем, с чисто плотскою разрушительностью ниспровергая встречавшиеся по пути препятствия, уже достигал выхода, когда я, сам ясно не сознавая, к чему и почему, подставил преградою его стремлению попавшуюся мне под руку скамью, а затем, проворно выхватив ключ из «краженки», распахнул ее, выскочил из храма, снова захлопнул, кинул ключ у порога и пустился бежать по темному проходу, который не замедлил вывести меня на одну из садовых тропинок, где я остановился и перевел занявшийся в груди дух.

Глава седьмая

Богомольцы

Собрав несколько расстроенные мои мысли, я огляделся; невдалеке от меня, всего шагах в десяти, расстилалась широкая аллея, ведущая к монастырскому зданию, таинственно и мирно почивавшему в ночной мгле.

Все было тихо вокруг и безмолвно. Только ночной петел заявит о течении ночных часов, и крик его резко пронесся в холодном воздухе темной осенней ночи.

Побродив у здания и не обретающий нигде приюта, я, погрузившись в головоломные размышления о явлениях окружающей меня жизни, направил стопы свои к монастырскому благолепному храму, на холодных ступенях которого и присел.

Члены мои, усталые и прикрытые сколь несложным, столь же и ветхим одеянием, ныли и коченели; немилосердный голод мучил, тяжелая дремота одолевала и, наконец, одолела.

Меля пробудили тихие печальные голоса.

Я скоро распознал тот сдержанный, звучащий безнадежным унынием говор, который неоднократно слышал в родных Тернах, когда на ступенях церковного крыльца собирался народ и, в ожидании начала богослужения, передавал простые и горькие события своего трудного рабочего жития.

Вглядевшись, я различил фигуры двух, судя по голосу,

молодых женщин. Они сидели несколькими ступенями ниже меня. У одной лежал на коленях время от времени слабо стонавший ребенок.

– А вы откуда? – спрашивала одна.

– Да я, как и вы, тоже издалека, – отвечала другая, видимо продолжая начатый разговор. – Я из Ольшановки, коли знаете; знаете?

– Нет, не слыхала. Вы шли или ехали?

– Шла.

– Долго?

– Десять дней шла.

– А я вот только на четвертую неделю добралась сюда. Пройду два шага, да и мочи уж нет – сажусь... Вас погода не захватила?

– Захватила, да еще в чистом поле – ни кустика, ни деревца! Целый день дождь поливал. Я уж думала, что девочку и живую не донесу.

– Давно она у вас хворает?

– Скоро год. Истомила меня! Уж как теперь ей не поможет, так и не знаю, что делать, как быть. Уж я ее и к своим, ольшановским, и к чужим знахаркам – не пособили!

– Не всякую, видно, болезнь и знахарки-то знают: меня тоже чем-чем ни поили, а вот все-таки пропадаю...

Верить им нельзя!

– Как подступит к самому-то сердцу, так верил бы всему на свете!

– Это правда...

Девочка застонала сильнее. Мать принялась ее качивать.

Несколько минут длилось молчание.

– Уж, пора бы, кажись, к заутрене ударить? – сказала ольшановская жительница.

– Да, пора бы, кажись, – отвечала ей ее собеседница.

– А я-то и глаз не сомкнула, все боялась, не успею к первой свече.¹¹

– Сколько я уже этих первых свеч-то перевидала, а все не легчает! – уныло заметила ей в ответ собеседница. – Уж хоть бы смерть пришла! Заодно бы уж пропадать!

– У вас что болит?

– Ноги, руки, все тело! Совсем сил нету. Весь дом запустила, ребятишки оборвались. Совестно на людей глянуть, что живешь, только хозяину руки связываешь!

– Давно так?

– Другой год.

На несколько минут они смолкли.

Ночь между тем уступала место рассвету; окружающая нас мгла светлела, белела.

При неясном еще свете я мог, однако, разглядеть теперь лица обеих собеседниц. То были лица еще молодые, являвшие признаки красоты и ума, но столь поблекшие и измучен-

¹¹ В наших краях существует поверье, что обремененный недугом, приходя во храм до зажжения свечей, получает облегчение страданий. (Прим. автора.)

ные, запечатленные столь горькою заботою и тоскою, что самое наиледовитейшее сердце должно было, казалось, сжаться при виде их если не сочувственно, то по крайней мере тревожно.

– Я вот слышала, что в Заводях есть лекарь, – снова начала женщина с ребенком. – Знаете вы Заводи? Большое село, богатые паны живут?

– Знаю.

– Так вот у этих панов, сказывали, есть лекарь, и хорошо будто лечит. И, говорят, милостивый: ничего не берет. Я, коли теперь здесь не будет девочке легче, пойду к нему. Уж испробую все! Уж так и быть, я...

– Не ходите! – перебила ее собеседница.

– Отчего?

– Незачем!

– А говорят...

– Что говорят! Я сама у него была.

– Что ж?

– Что? Да не то он сам плох, не то надо мной насмеялся.

– Дал лекарства?

– Дал.

– Не помогло?

– Нет.

– Нет? – повторила вопрошавшая и глубоко вздохнула.

– Я и в другой раз к нему ходила, – продолжала первая.

– Ну, что ж?

– «А! говорит, не помогло? Как, говорит, мне тебя, любезная, жаль! Да ты, говорит, все ли исполнила, что я тебе наказывал, а? Не работала ты? говорит. Лежала ты спокойно? говорит. Не ела ты ничего такого вредного – ни шей, ни тюри? говорит. Не работай, говорит, не морись, лежи спокойно, в рот не бери вредного кушанья, ешь все хорошее, да чтобы в хате было тепло и не душно...»

И она рассмеялась столь тихим и вместе столь горьким смехом, что меня мороз подрал по коже.

Слушавшая ее вздохнула, и разговор снова смолк на несколько минут.

– Так и сказал: «Старайся, говорит, милая, чтобы ты все это исполнила», – продолжала снова повествовавшая: – «чтобы тебе еда хорошая, чтобы тебе покой...»

И тот же тихий, горький смех, не уступающий в безотрадности наигорючейшим рыданиям, пронесся в воздухе.

В эту минуту предрассветную мглу рассекли какие-то, как мне показалось, гигантские летучие мыши, из которых некоторые торопливо взлетели на ступени храма, а две, отделившись от стаи, понеслись к колокольне.

Скоро загремели ключи, спали тяжелые затворы, распахнулись массивные церковные двери, с высокой колокольни загудел колокол, призывающий верных к заутрене.

Беседовавшие женщины поспешили в храм. Я вошел вслед за ними.

Внутренность величественного здания быстро вспыхнула

сияющими точками, пылание которых заставляло сверкать дорогие оклады, украшавшие лики святых угодников и чудотворцев.

Юные, зрелые и преклонного возраста отшельницы, одни в островерхих черных шапочках, другие – покрытые черными волнующимися покрывалами, быстро двигались во всех направлениях, все еще несколько напоминая стаю спугнутых летучих мышей, беспорядочно носящуюся в пространстве.

Вышеописанные мною поселянки, беседовавшие на ступенях храма, упав на колени, горячо молились пред богатою, усеянную драгоценными камнями иконою чудотворца.

Сколь живо запечатлелись в моей памяти эти две колено-преклоненные фигуры! Я вижу каждую складку их убогих одежд, резко оттеняемых окружающим блеском и благолепием, вижу каждую черту их скорбных лиц, помню тоскливо-безнадежные их взоры, отчаянно и вместе покорно обращенные к безмятежно сверкающему в своих окладах угоднику, слышу горький шепот, вылетающий из трепещущих уст: «Помилуй! помилуй! помилуй!».

В храме между тем все мало-помалу пришло в стройный церковный порядок: отшельницы уже не носились стаею, но, благочестиво опустив смиренную главу, потупив кроткие очи, как медленно несомые невидимым облаком, проплывали по обширному зданию, с пылающими свечами в десницах; «великий постриг», мрачно закутанный в свою погребальную мантию, проходил уничиженно, но вместе с тем

строго, как праведный судья, мимо достойных кары преступников; цветущие крылошанки серафимоподобным, но и напоминающим довольно земную дисциплину отрядом являлись и занимали свои хоровые места; там и сям, под величественными сводами около стен, у колонн, по углам, непрерывно щелкали ключи, освещался налоепоподобный столик, и на нем являлись кипы восковых свечей, или склянки со святою водою, или груды металлических, в миниатюре представленных, человеческих ног, рук, сердец, венчиков, крестов, образков и колец.

Поселянки, еще коленопреклоненные, молились, когда преклонных лет грузная монахиня, в великом постриге, с лицом, как бы исклеванным хищными пернатыми, которая появлялась то у того, то у другого из упомянутых налоеобразных столиков и, так сказать, парила над ними, приблизилась к молящимся и внушительно заметила:

– Свечи уж отперты!

Поселянки встрепонулись, поспешно приподнялись и несколько мгновений как бы сбирались с мыслями.

– Свечи уж отперты! – с вящею внушительностию заметила им великопострижная. – Вот сюда. Идите за мной! Я путеводящая.

Они повиновались и последовали по ее тяжелым стопам к ближайшему столику, обремененному пуками желтых, белых и с золотистыми звездочками восковых жертвоприношений. За столиком сидела другая, столь же грузная, но

более благообразная великопострижная, которая тотчас же бойкою, добродушною скороговоркою спросила:

– Каких вам?

– Уж вы возьмите беленьких, – наставительно сказала путеводящая. – Мать Евлампия! подавай им беленьких! Лишнего тут немного, а господу богу приятнее. Сказано: не жалея для отца небесного, и воздаст тебе сторицею! Ты, мать Евлампия, вот этих-то подай им, пятикопеечненьковых, беленьких. Ишь, как снег белоснежны! Это господу, творцу милосердному, приятно...

Мать Евлампия, проворно передвинув желтые и белые пачки, подала требуемое путеводящей, заметив тою же бойкою и добродушною скороговоркою:

– Господь услышит вашу молитву, родные... Господь любит приношение православное... Пожалуйте, – заключила она, протягивая свою пухлую, обширную десницу.

В этой, можно сказать, чудодейственной деснице два, вероятно, трудно-трудно нажитые рубля исчезли, а взамен их из нее посыпался целый дождь микроскопической медной монеты, как бы внезапно, по воле матери Евлампии, рождающейся и стремящейся из жирных складок ее дланей. Отставляла она мизинец – катились серебряные пяточки, отставляла средний перст – сыпались полушки, поднимала указательный – являлся град копеек.

– Пять да пять – десять, – считала мать Евлампия: – да еще пять, да еще копеечками пять – двадцать пять. Полушечка,

другая... А Николаю чудотворцу не поставите?

– Как не поставить! – вмешалась путеводящая. – Кому ж и ставить, как не великому чудотворцу нашему?

– Ну, вот еще свечечка... Держи, родная! А вот и тебе две... другую-то поставь угоднику Митрофанию. А ты Варваре великомученице не поставишь, родная, а? Ты ей поставь, голубушка, ты ей поставь: она за тебя господу богу молитву вознесет!

– Не на что, – проговорила поселянка с ребенком на руках.

– Ах, ах, ах! – воскликнули вместе и путеводящая и мать Евлампия: – жалеешь для господи-то? для творца-то небесного? Ах, ах, ах!

– Нету... нечего... – тоскливо проговорила поселянка.

– Ведь сторицею воздаст господь! – убедительно настаивала мать Евлампия. – Ведь сторицею... Мать Мелания, ведь правда, сторицею воздаст?

Мать Мелания, коей исклеванный образ выражал твердую уверенность, подтвердила:

– Сторицею, сторицею!

– Да ведь не на что! Ведь нету... – с сугубейшею тоскою возразила поселянка. – Ведь нечего... Ведь нету... Ах! Ведь голодаем!

– Поголодай для господи! – строго наставительным тоном прервала мать Мелания, поднимая как бы в предостережение могущей быть кары жирный, с алым оттенком перст

свой. – Не можешь ты для господа, для славы вседержителя поголодать? А ты знаешь, как жили два брата да как один-то брат все ел да пил – о душе своей не заботился, – что ему на том свете-то было, а?

– Да ведь девочка у меня... девочка!.. – проговорила по-селянка.

Измученное лицо ее все передергивалось, и две слезы быстро скатились по впалым ланитам.

– Что ж девочка? – строго спросила мать Меланин. – Девочке твоей господь поможет за твое усердие. Небесная-то манна лучше для нее всякого меду... Ну, купи дешевенькую, поставь: все лучше!

– Вот тебе, родная, вот! – подхватила приемистая мать Евлампия, ловко, единым мановением всовывая новую свечку посялянке. – Христос с тобой... Вот и тебе – бери, голубушка! – обратилась она к другой посялянке. – Ишь, ты болезная какая! Иди, ставь скорее. Помогли тебе творец милосердный... Иди, родная... Вон икона-то, видишь?

– А сдачу-то? – спросила посялянка.

– Сдачу? Я ведь дала тебе сдачу.

– Нет.

– Нет? Уж не знаю, голубушка! Я дала тебе... Ну, уж пускай господь нас рассудит! Вот тебе еще раз, два, три... ну, иди с богом! Вон икона-то, вон налево, где решетка-то золоченая... Вон-вон, там... вон...

– Нет, нет! прежде вот сюда! прежде вот сюда! – перебила

путеводящая мать Мелания, схватываясь за обеих поселянок цепкими, как гарпуги, перстами и увлекая их к другому на-лоеподобному столику, на котором блестели металлические жертвоприношения.

– Мать Иосасрата, нам вот для исцеления недугов... – обратилась путеводящая к восседающей за этой торговлей великопострижной матери, черной, сухой и вместе как бы маслянистой, казавшейся слепленной из черной смолы.

Последнее предположение сильно подтверждалось тем, что вся она как-то чудесно растягивалась, подобно повиснутому тягучему веществу, что черты ее образа, при всяком ее повороте, то представлялись достаточно резкими и выразительными, то, как-то дивно слипаясь, сглаживались в один темный ком; что персты ее, не уступающие клейкой птичьей жерди, обладали волшебным даром единым своим прикосновением присасываться как к предметам ее торговли, так и к взимаемой за них плате.

Так, окинув приведенных пред лицо ее поселянок внимательно-деловым взором, она погрузила только персты свои в груды металлических вещиц и затем, приподняв их, представила огромный выбор колец, ручек, ножек, сердец, образков и крестиков, которые казались инкрустованными в ее темных телесах.

– Вот, – проговорила мать Иосафата протяжно и несколько гнусливо: – вот от ног, вот от рук, вот от живота, вот от головы...

– Почему? – спросила поселянка с ребенком на руках, указывая на микроскопический оловянный крестик.

– Пятачок, мое сердце, – отвечала мать Иосафата: – всего пятак. И уж как помогает-то! Просто как рукой снимет!

– Подешевле нету? – спросила тоскливо поселянка.

– С господом богом-то не торгуйся ты, грешница! – с благоговейным ужасом воскликнула путеводящая мать Мелания.

– Есть подешевле, – сказала не без укора и негодования мать Иосафата: – вот!

И, прикоснувшись к одной из многочисленных груд металлических изделий двумя своими волшебными перстами, представила три крестика, прильнувших к перстовым оконечностям.

– Ах, грешница, грешница! – шептала между тем мать Мелания.

– Почему? – спросила смущенная поселянка.

– По четыре! – с суровой непреклонностью отвечала мать Иосафата.

Поселянка мучительно задумалась.

– Ах, грешница, грешница! – повторяла мать Мелания.

– Что же, берешь, что ли? – спросила мать Иосафата с сугубейшею мрачностью.

– Беру, – ответила поселянка, меняясь в лице.

– А ты, родная, чем болеешь? – спросила мать Мелания, обратиться к другой поселянке с материнскою заботливостью

и участием.

– Вся больна, – отвечала поселянка.

– Ну тебе, значит, и ручку, и ножку, и сердце, и колечко...

Я тебе сама выберу, родная...

– Да не на что! – проговорила поселянка.

– Выберу, выберу, родная, для тебя, – повторила мать Мелания, как бы недослышав этих тихих слов.

– С шнурочком аль без шнурочка? – спросила мать Иосафата.

– Пожалуйте с шнурочком, – ответила поселянка.

– С шнурочком-то, конечно, лучше: сейчас и наденешь на младенца. Девочка?

– Девочка.

– Постой, я ей надену. Во имя отца и сына и святого духа... как зовут-то?

– Катерина.

– Благословляется раба божия, младенец Катерина...

И, с ловкостью арабских героев, мать Иосафата единым мановением десницы закинула шнурок на тоненькую шейку больной девочки, затем протянула руку к поселянке, получила две медные монеты, тряхнула их и потребовала:

– Еще копейку!

– Да ведь четыре? – повторила поселянка.

– Четыре с грошом, – мрачно-негодующим тоном ответила мать Иосафата: – четыре с грошом, да грош за шнурочек: шнурочек священный, не простой... следует пятак... Да вот

у тебя пятак и есть...

Поселянка подала пятак.

– Сколько, мать Иосафата? – спросила путеводящая мать Мелания, уже тем временем успевшая навесить на больную шесть металлических изделий.

– Ножку тоже взяли? – спросила мать Иосафата.

– Взяли, – ответила мать Мелания.

Затем, оборотясь к поселянке, она прибавила:

– Давай, я за тебя расплачусь, родненькая. Где деньги-то? Ишь ты, чуть ведь стоишь... Давай...

Поселянка покорно, как бы машинально, исполнила требуемое.

– Пять да пять – десять! – начала считать мать Иосафата – да семь, да три, да еще три, да две, да еще семь – сорок шесть. Вот вам сдача!

И она на оконечностях перстов представила покупающей сдачные монеты.

– Бери, бери, родненькая, не разроняй! – заботливо заметила мать Мелания. – Ишь, руки-то у тебя совсем высохли. Погодите-ка! Тебе, мое сердце, каких надо средств-то? Ведь свяченых? Или ты сама освятить попросишь?

– Свяченых, – отвечала поселянка.

– Ну, так за свяченые еще надо тебе три копейки эти набавить.

– Да, да! – подтвердила мать Мелания. – Да! Зато ведь уж свяченые! Уж, значит, так подействуют... Как, рукой сни-

мет!

– Что ж, вы дадите другие? – спросила недоумевающая поселянка.

– Какие другие?

– Свяченые.

– Это и есть свяченые, – холодно ответила мать Иосафата.

– Уж конечно свяченые, – прибавила мать Мелания: – уж конечно... Увидишь: как рукой снимет! Ну, пойдете теперь вот сюда.

И, снова зацепив обеих поселянок гарпугоподобными перстами, повлекла их далее.

– Как тебя зовут-то? – спросила она.

– Ганна, – отвечала больная поселянка.

– Ганна? Так и записать тебя надо в поминанье... А тебя как зовут, родная?

– Одарка.

– А девочку Катерина?

– Катерина.

– Ну, всех и запишем. Вот сейчас и запишем за здоровье...

– Мать Мелания! – раздался гнусливый голос матери Иосафаты: – мать Мелания! воротите-ка их! Грех вышел!

– Спаси, господи, и помилуй! – прошептала мать Мелания, на которую, казалось, обращенное к ней восклицание подействовало, как действует на пугливую лань звук охотничьего рога. – Спаси, господи, и помилуй! Что такое? Пойдем, пойдем, родные!

И она снова привлекла поселянок пред лицо матери Иосафаты.

Мать Иосафата с несказанными мрачностью и гнусливостью рекла:

– Пятачок фальшивый!

Мать Мелания ахнула и сотворила крестное знамение.

– И двугривенный фальшивый! – рекла с теми же невыразимыми мрачностью и гнусливостью мать Иосафата.

И с этими словами представила на оконечностях темных перстов своих обе помянутые монеты, ярко блестящие, – те самые, которые сданы были при покупке свечей.

– Ах-ах-ах! Спаси, господи, и помилуй! Матерь божия, заступница милосердная... – горестно восклицала мать Мелания, осеняя свою утесоподобную грудь крестными знаменьями. – Ах-ах-ах! Николай чудотворец, предстатель ты наш великий! И двугривенный фальшивый? Пресвятая великомученица Варвара! моли бога о нас...

– И двугривенный и пятак фальшивые! – повторила мать Иосафата, простирая дальше персты свои с прильнувшими к их оконечностям монетами.

– Свечи покупали, – начали было растерявшиеся поселянки.

Но мать Иосафата прервала их:

– Я не про свечи говорю, а про фальшивые деньги! За эту фальшь-то знаете куда посылают, а? Знаете, что ль?

– Во святом-то храме! – простонала мать Мелания. – Пре-

святая богородица! защити и спаси! Святые ангелы и серафимы, укройте под крыло ваше...

Мать Иосафата тряхнула перстами, и монеты упали перед поселянками на окраину столика.

– Пусть господь судит вас, а не я! – торжественно проговорила мать Иосафата. – Давайте деньги!

Поселянки поглядели на нее несколько мгновений.

Смолоподобная мать Иосафата застыла совершенно. В чернобурые ее очеса можно было кидать камешками, и они бы не смигнули, а все бы продолжали, казалось, отливать тем же грязновато-свинцовым цветом.

– Ох-ох-ох! – проговорила мать Меланин. – Уж отдавайте вы скорее! Святые угодники! спасите нас грешных! Уж отдавайте вы, родненькие, поскорей!

Поселянка Ганна безмолвно вынула из тряпицы последний рубль и подала.

Смоляные персты матери Иосафаты приклеились к поданной ассигнации, замок звонко щелкнул, персты опустились в бездны ящика с медью и затем на оконечностях своих представили сдачу.

– Мать Иосафата! – сказала мать Мелания: – вычти к стати уж и за поминанье, а то мне некогда ждать: сейчас фимиамы потребуются.

– Я вас, родненькие, и запишу и помяну, уж вы будьте спокойны, – прибавила она, обращаясь благодушно к поселянкам. – Ганну и Одарку? И младенец Катерина? Помню, пом-

ню... Господи вас благослови!

И она поспешно удалилась, пробуждая своими тяжелыми стопами эхо во всех углах величественного храма.

– За написанье – три; за поминанье – три; за здравных – пять! – считала мать Иосафата.

И по мере того как она считала, три перста ее загибались и свертывались, защемляя добычу, между тем как остальные, два расправлялись, вытягивались и, наконец, отпали от сдачи, сократившейся в самое ничтожное число копеек и грошей.

– Сколько ж это вы? – проговорила поселянка Одарка.

– Сколько следует! – кратко и сильно ответила мать Иосафата. – Идите с богом! Чего же вы стали? Грешницы вы, нераскаянные вы души! Вы сюда, во храм святой, чего пришли? Молиться или нет? Ох, что ж это за беззаконие такое наступило! Все только о житейском пекутся, о прахе заботятся!.. Господи! спаси и помилуй! Припадите к стопам всевышнего с чистою верою, с упованием... Или окаменели вы? Идите!

Это последнее слово, сказанное повелительно, казалось, привело дотоле стоявших неподвижно поселянок в себя. Они тихо побрели в противоположную сторону благолепного, все более и более освещающегося, все ярче и ярче сверкающего драгоценными металлами и камнями, здания.

Не успели эти юные жены сделать десяти шагов, как их настигла «малопострижница» средних лет, приземистая, сытая

и гладкая, как только насыщенная, отпавшая от крови, пиявица. Невзирая на замечательную округлость своих форм, обещающих немалую увесистость, она двигалась неслышно и быстро, как некий гигантский пузырь.

– Голубушки! голубушки! – шептала она, дотрагиваясь гладким тупым указательным перстом до исхудалых рамен поселянок: – эй, послушайте, голубушки!

Поселянки остановились.

– Коли вам потребуется деньжонок, так вы мне скажите, голубушки: уж я вам, так и быть, дам... Помню заповедь господню: ближнему твоему помогай последнею крохою... Я вам помогу. Надо жить, голубушки, по-христиански, надо ближнему помогать!.. Я знаю, все говорят: «Сестра Гликерия все одно что младенец», да мне это ничего! Младенец я, так и младенец: зато никого уж не обижу! Надо по-христиански, голубушки, надо по-христиански! Не то что язычники и язычницы, бусурмане окаянные... Им тьма кромешная за их дела, адские муки, огонь вечный... Да, да, голубушки! А я уж вам помогу... помогу... Вот подите-ка сюда! Вот сюда, голубушки, сюда!..

Она повернула их и направила к выходной двери, близ которой направо открывался, между нагроможденною церковною утварью, столь узкий и извилистый проход, что поселянки остановились в недоумении.

– Идите, идите, голубушки! Пробирайтесь! – ободрительно шепнула сестра Гликерия. – За мною, милые, за мною!

И с беспрепятственностью скользкой пиявицы, она быстро извилась по змееподобному проходу и юркнула в некое подобие четверугольной конуры, откуда, проворно выставив увенчанную остроконечной шапочкою голову, умильно поманила киваньем перстов и приморгиванием очес поселянок.

– Ну, сколько же вам надо, милые? – спросила она, когда, наконец, поселянки благополучно достигли конурки.

Поселянки переглянулись.

– Говорите, говорите, сердечные, не бойтесь. Чего меня бояться? Я точный младенец. Все говорят: «Сестра Гликерия точный младенец!» Что ж делать-то! Сердце уж такое, душа уж такая... Одна мягкота, одна мягкота! Увижу муху в паутинке, я и ту выну: лети себе, господь с тобой!.. Так сколько же вам, милые, надо?

Поселянки оставались, повидимому, в нерешимости.

Наконец одна из них сказала:

– Мне бы три злотых...

– Три злотых, милая? Тебя как зовут-то?

– Одарка.

– Хорошо, Одарка, я тебе три злотых дам. Уж бог с тобой, дам...

Затем она обратилась с меньшим дружелюбием к другой:

– А тебе, сердечная, сколько? Эх ты, какая худенькая! Как тут не пожалеть-то! Поневоле сердце тает... Сколько?

– Полрубля.

– Хорошо, полрубля тебе дам, милая.

Сестра Гликерия юркнула в конурку, позвякала там монетою и не замедлила снова появиться, подкидывая на длани своей кучку мелкого серебра.

– Вот, – сказала она, ясно улыбаясь и глядя на поселянок светлым взором: – вот вам!

– Спасибо... спасибо... – проговорили поселянки.

– Господа бога благодарите, милые, а я что? Я прах! Мне не кланяйтесь – ему, творцу вседержителю, подобает поклонение!.. А я не могу уж не помочь, коли вижу кого в беде! Я не могу! Уж у меня душа такая... Да, одна мягкота, одна мяг-кота... Ты мне что ж, Одарочка, в залог-то оставишь, а? Платочек этот, что ли, а?

И она, дотронувшись до рамен поселянки, как бы с ласкающей приязнью, экспертскими перстами ощупала доброту платка.

– Платочек-то неважный, – продолжала она, – совсем неважный... Ну, да уж для тебя так и быть! Уж у меня душа такая... Ты сколько за него заплатила?

– Это еще мать в приданое дала, – ответила поселянка. – Он три рубля заплочен...

– Да уж бог с тобой, я его возьму. Давай! Видно, с сердцем-то своим не совладаешь! Ох, не совладаешь! Уж как душа у тебя мягкая... А ты что, сердечная, оставишь? Может, нитки, полотно есть?

– Нету, – ответила несколько угрюмо другая поселянка, – у меня только рубашка на перемену.

– Покажи, покажи, милая... Тонкая, может? Расшитая?

– Не тонкая и не расшитая.

– Ах-ах-ах! Ну, да ничего! У тебя вот это что на руке-то висит? Шугайчик, что ль? У, какой! словно крапива жжет! Сермяжный! Ну, да я возьму. Ведь не пропадать же тебе с голоду!

– Два рубли стоит... совсем новый... – проговорила поселянка...

– Ну, где там новый, милая, где там!.. Только по христианству и беру... Только потому, что уж крепко мне жаль тебя... только потому, что сердце к тебе лежит... Уж давай, давай – так и быть! Как тебя зовут-то, милая?

– Ганной.

– Ганною? Молись женам мироносицам, каждое утро клади семь поклонов и читай: «Святые жены мироносицы! подайте исцеление от болезней...» Так уж я возьму... уж я возьму, так и быть! Давай, милая!

Ганна безмолвно подала ей свою грубую белую корсетку.

Сестра Гликерия, схватив залог, пощупала его, погладила, подкинула, понюхала. Не ведаю, какие соображения помешали ей лизнуть его, но в твердой пребываю уверенности, что поползновение лизнуть было очень сильное...

Ганна же, получив деньги, прислонилась к выступу стены, закрыла глаза и как бы забылась.

Как раз над ее головою висела страшная картина истязаемых варварами мучеников, но весь ужас изображения изрубленных членов, раскиданных внутренностей утрачивал вою силу пред этим простым, безропотным мужицким лицом с закрытыми глазами.

– Плохонькая штука, плохонькая, – говорила сестра Гликерия: – ну, да уж бог с тобой... бог с тобой... А ты, Одарочка? Что ж ты? Давай же!

И сестра Гликерия, игриво перебирая перстами, как бы приманивая домашних пернатых к воображаемому корму, с улыбкой ожидания глядела на Одарку.

– Дайте мне... – начала было Одарка.

– Вот три злотых, милая, вот они! – прервала сестра Гликерия с прежнею ясною игривостию, подкидывая на скользкой своей длани три легковесные монетки. – Вот они!

– Дайте мне рубль.

– Рубль? – повторила сестра Гликерия, как бы не доверя своим ушам. – Рубль? Что это ты, голубка моя, что это ты? Это ты шутишь, а? Рубль! Просила три злотых, а теперь рубль!..

– Мне бы рубль...

– Зачем тебе рубль? Ну, зачем тебе рубль, скажи?

– Надо. Девочка больная, так, может... Мне рубль надо...

А то лучше и не закладывать...

– Ну, уж я тебе, так и быть, дам четыре злотых... Уж так и быть, дам...

– Мне рубль.

– Эко ты затвердила: рубль да рубль! – воскликнула сестра Гликерия, видимо начиная приходить в волнение. – Даю четыре злотых, – чего ж бы еще? Ведь это тот же рубль, – малости недостает, так, пустяков!.. Бери четыре злотых...

– Нет...

– Ну, хорошо: бери четыре злотых с половиною! Это уж так, для твоего убожества... Ну, бери же, милая! чего ж еще стоишь?

Сестра Гликерия взволновалась. Ланиты ее покрылись густою алою краскою, уста сжались, очи забегали, как захлопнутые в мышеловке мыши, рамена ее подергивало, всю ее поводило.

– Ну, хорошо! Я дам тебе еще десятку. Теперь довольно? Ну, скажи ж спасибо сестре Гликерии!

– Мне надо...

– погоди, погоди! Я тебе еще платочек дам. Тебе ведь без платочка-то нельзя, ведь время-то не летнее – осеннее, ведь холода пошли... Как же тебе без платочка-то? Невозможно! Девочка у тебя больная – еще девочку навеки захолодишь! погоди-ка, я вот тебе покажу!

Сестра Гликерия юркнула в конурку, и тотчас же снова появилась, пытая под тяготою ноши, обремененная целою охапкою всевозможных головных и шейных платков, которые она с лихорадочною торопливостью начала раздергивать перед Одаркою.

– Вот, милая, вот! – говорила она, между тем как уста ее сжимались в умилительную, но судорожную улыбку, а глаза заискивающе, но вместе с тем пытливо и тревожно взглядывали. – Вот этот – а? Тепленький! В нем будет словно в гнездышке! Уж в нем девочку свою не заходишь! Возьми этот, послушайся ты моего доброго совета! Или вот этот: тоже теплень! Просто лето! Ах-ах! Как это между платками попало? Не приложу ума, как это попало! Как нарочно для тебя! Гляди-ка, видишь?

И сестра Гликерия с благодушною улыбкою игриво подняла на перстах мелкое, очевидно с детской шейки, ожерелье и неоднократно потрясла им пред очами Одарки.

– Как нарочно для тебя, милая! Ну-ка, примеряй-ка на девчоночку! Примеряй-ка, примеряй! Ведь это из Воронежа, от святого Митрофания угодника! Да, да, как нарочно для тебя! Сам господь, видно, тебе это посылает. Видно, уж сам господь милосердный!

И сестра Гликерия, схватив и приподняв головку девочки, быстро окружила ее шейку ниткою низок.

Девочка тихо, едва слышно застонала, и в то время как сестра Гликерия тормошила ее, мне несколько раз мелькнуло ее испитое, желтое, прозрачное, измученное личико, с глубоко ввалившимися, совершенно потухшими глазами.

– Вот, вот! – воскликнула сестра Гликерия. – Ну, это сам господь тебе послал! Это уж сам господь... Так вот тебе три злотых...

– Четыре с половиною, говорили...

– Ах, да! четыре с половиною... Ох, разорила ты меня!

Ну, вот четыре с половиною...

– А платок-то?

– Какой платок, милая? Да ведь ты снизки взяла! Ах, ты, чудная какая!

– Нет... как же это? Нет... Ей-богу, я не...

– Ведь от святого угодника Митрофания! Да ты у кого хочешь спроси... Ведь от святого угодника Митрофания! Ну, чего ж ты на меня глядишь? Эх, с вами связываться-то беда! Все мне попрекают: «Сестра Гликерия, чего ты связываешься с этим народом? Смотри, не рада будешь!» Оно и точно. Да что ж делать! уж у меня сердце такое – одна мягкота!

И сестра Гликерия с видом безнадежной грусти махнула рукою, кивнула главою, а вслед за тем, быстро кинув Одаркин платок в свою охапку, приняла очевидное намерение направиться в свою конурку.

Но Одарка успела удержать развевавшийся конец своего платка, что заставило сестру Гликерию вдруг свернуться, сжаться, а затем она нервно вся закопошилась, как будто бы в самом деле она была пиявица и ее посыпали солью.

– Так вот ты как за мою добродетель! – возопила она. – Вот ты как за мое милосердие! Что ж это ты морочишь меня, а? Ах, царь небесный, царь небесный! Да уж Христос с тобой! Сказано: «Отыди от зла и сотвори благо!» И отыду... и отыду... На, бери любой! Бери, бери, а судит пусть нас гос-

подь!

И с этим последним восклицанием сестра Гликерия, отделив от своей охапки пук платков одинакового, наискромнейшего размера, с волнением начала их развертывать пред Одаркою.

Велико количество платков было у сестры Гликерии. Глядя, как развевалась их плохонькая ткань, я задавал себе многие любопытные вопросы:

Чьи убогие плечи, например, покрывал вот этот бурый, выцветший платок? Судя по скромной окраске, он, вероятно, покрывал плечи старого человека.

И как этот старый человек стоял пред лицом сестры Гликерии? И что тогда думала беспомощная старуха?

А вот этот, хотя редкий как сито, но яркоцветный, несомненно украшал, в виде чалмы или же в виде коронки,¹² молодую голову.

Была эта молодая голова одинокая или несла тяготу семейных забот? С какими чувствами развязала она свой незатейливый убор?

Голос сестры Гликерии, раздавшийся хотя попрежнему под строгою сурдиною, но с достаточною резкостью, вывел меня из мира мечтательных предположений и догадок.

– Бери же, бери! – настаивала сестра Гликерия. – Что ж не берешь?

¹² В наших краях замужние повязывают платок на голову тюрбаном или чалмою, а девушка – узенькою короною, вроде кокошника. (Прим. автора.)

– Уж очень мал... Куда ж мне его? Очень мал... – проговорила Одарка.

– Мал? Этот-то мал! Да он больше твоего! Давай-ка, смеяю!

С этими словами сестра Гликерия с быстротою коршуна вцепилась в Одаркин платок, завладела им и стала мерить.

– Самую каплю поменьше, самую каплю... Самую-самую каплюночку... – говорила она, изумительно искусно передегивая и растягивая по объемистому платку Одарки измятый, пестрый четверугольник. – Бери! Бери, да поминай сестру Гликерию!

– Нет... – проговорила Одарка: – нет, нельзя... Нет, уж лучше я обойдусь... Лучше не надо...

Она положила полученные деньги на стоявший поблизости и составлявший, вместе с другою церковного утварью, стенки прохода в конурку вышедший из употребления налой, но сестра Гликерия поспешно отступила.

– Полно, милая, полно! – сказала она внушительно, но кротко, оглядываясь и как бы поджидая подкрепления и выручки. – Помни: всевидящее око господне над нами! Помни: нелицеприятно судит творец небесн...

– Что тут такое? – вдруг раздался, подобный ржанию дикого коня, голос. – Что тут такое?

Из-за ближнего ряда темных колонн, поддерживающих своды храма, выдвинулась как бы некая, только разнящаяся несколько в архитектуре, колонна, окутанная черным по-

крывалом, и стала около Одарки.

– Ах, мать Серафима! – воскликнула сестра Гликерия.

– Что такое? – повторила мать Серафима.

Каждое слово ее сопровождалось икотою, изумительно напоминавшею ржанье табуна.

– Ах, мать Серафима! – воскликнула сестра Гликерия, видимо облегченная ее появлением, – посудите вы... Вы только посудите, мать Серафима! Вот пожалуйста, поглядите!

Мать Серафима придвинулась еще ближе, а я, по инстинктивному чувству самосохранения, поспешно подался вглубь храма, ибо в матери Серафиме, вместе с колонноподобной архитектурой, чудесно сочеталась каменная неподвижность монумента с необузданною дикостию четвероногих питомцев степей.

– Поглядите, мать Серафима, какой я ей платочек дала! А рна не хочет...

– Не хочет! – повторила мать Серафима, как бы готовясь или обрушиться на злополучную Одарку, или свирепо лягнуть ее. – Не хочет? А не хочет, так и не надо! Ты, сестра Гликерия, всех разбаловала!

– Ох, знаю, грешна я, мать Серафима! Да никак с собой не совладаю, с сердцем-то своим не справлюсь – одна мягкота... Одна мягкота, а они этого не чувствуют, мать Серафима, они совсем этого не чувствуют... Ведь говорю ей: бери, милая...

– Ты много слов тратишь, сестра Гликерия. Одного слова

довольно!

– Ох, грешна, мать Серафима, грешна... Ох!

И, как бы подавленная и смущенная своею греховностью, сестра Гликерия быстро повернулась и исчезла с платками в глубине своей конурки.

Одарка, казалось, хотела что-то сказать, но мать Серафима, как бы закусив внезапно удила, ринулась на нее и заставила ее умолкнуть и отступить.

– Здесь не стоят! – воскликнула мать Серафима.

Широкие ноздри ее раздулись, покрывала развевались; мне, одаренному чрезвычайно живым воображением, даже явственно почудился страстный храп, яростное фырканье и ретивый стук копыт, еще не смиренных ковкую; даже помешалось мне, что из-под ниспадающих складок черного монашеского одеяния неоднократно сыпнули искры, выбитые дикими копытами из гладких каменных плит церковного помоста.

– Да как же мне теперь... – начала было Одарка.

– Здесь не стоят! – повторила мать Серафима.

И мне почудилось, что она, как пришпоренное дитя степных табунов, буйно устремляется вперед, готовая растоптать все растущее и живое, встречающееся по пути.

– Дайте хоть какой-нибудь платок! – проговорила Одарка: – хоть чем-нибудь покрыть девочку...

– Здесь не стоят! – снова фыркнула мать Серафима.

Последнее это восклицание уподобилось столь дикому

ржанию, что я, невзирая на великую мою любознательность, с резвостью антилопы перелетел в не освещенную еще часть храма.

Уже слабо, едва внятно, донесся до меня тихий голос Одарки:

– Девочку пожалейте!

– Здесь не стоят! – глухо прокатилось издали грозное ржание.

Несколько успокоившись, я снова вышел из тени и снова увидел обоих поселянок.

Они тихо направлялись к чудотворной иконе. Гаина шла с тем же выражением тупой тоски; Одарка, показалось мне, тихо плакала.

Они уже достигали ступенек, устроенных перед возвышением, на котором сияла ярко освещенная икона, когда внезапно, как бы изрыгнутая каменными плитами церковного помоста, перед ними воздвиглась новая черная фигура, вооруженная орудием для сбора. Позванивая пронзительно колокольчиком, она с резким писком пропела:

– На построение! на обновление!

Две горькие копейки скатились в кошель, напоминавший своим видом гнездо звонкоголосой иволги, и поселянки двинулись далее.

Но едва они выбрались из этой новой Сциллы, как немедленно же попали в новую Харибду: не успели они ступить двух шагов, им преградила путь еще фигура в черном, под-

ставляющая дощатый четырехугольник, покрытый белым полотном, и протяжно, нараспев взывающая:

– На ризу для святителя и великого чудотворца Николая! Еще две горькие лепты были внесены.

– На оклад пресвятой великомученице Варваре! – пророкотало басом справа.

– На погорелый храм божий! – прозвенело дискантом слева.

Проходивший в эту минуту отряд крылошанок оттеснил меня далеко в сторону, таким образом разлучил с поселянками, и я потерял их из виду.

Без сна и отдыха проведенная ночь, голод, холод, а также страхи и волнения, какие я переиспытал в продолжение этого времени, начали между тем оказывать свое злоторное действие: все более и более мысли мои затмевались, голова кружилась, и ноги подкашивались.

Благовоние дымящихся камильниц, запах горящего воска одуряли меня; сверкание лампад, блеск пылающих свечей, сияние золотых и серебряных окладов с переливающимися в них драгоценными камнями ослепляли мои усталые глаза. Меня инстинктивно тянуло к дверям.

Я скорее выполз, чем вышел из храма, и снова присел, изнеможенный и одурелый, на церковных ступенях.

Пахнувшая мне в лицо струя свежего воздуха не замедлила оказать благотворное свое действие: я несколько оправился и пришел более или менее в себя.

Но мыслить, осуждать, соображать я не мог. Происшествия и таинственные видения ночи, равно как и только что наблюдаемые сцены, как-то вдруг странно смешались, затуманились и ушли на дальний план.

Глава восьмая

Первый день в обители

Подпершись рукою, я тупо обозревал двор и строения Краснолесской обители, машинально улавливая слухом несшиеся со всех сторон различные звуки.

Удары церковного колокола торжественно гудели, и благовест отдавался в окрестных горах; первые лучи утренней зари алели, разгораясь все ярче и ярче, и серебристая пелена изморози, облекавшая монастырский двор, сад, крыши и куполы, как бы тихонько сдергивалась невидимую десницею.

Толпы верных непрерывными вереницами беспорядочно стремились с разных сторон монастырского здания к заутренней службе.

Вглядываясь пристальнее, я, однако, заметил, что к храму притекали три совершенно различные волны верных, не только между собою не сливающиеся, но и не соприкасающиеся.

Так, мужички и мужички шли от левого крыла монастырского странноприимного помещения, отличавшегося не только запыленными, но даже во многих местах побитыми стеклами в оконницах и вообще являвшего признаки небрежения и запущенности; верные в кумачных щегольских рубашках, вычурных душегрейках, непоношенных чуйках, сапогах со скрипом и прочих тому подобных атрибутах боль-

шего или меньшего достатка стремились от правого крыла, далеко превосходящего левое опрятностью; князи же мира сего, богатые дворяне и купцы, текли от пышнозданного фасада.

Верные из левого крыла шли, понутив голову; на изнуренных их лицах, опаленных зноем только что отбытого тяжело-го рабочего лета, лежала печать безустанно грызущих забот и горьких недоумений; они шли как бы на последнюю попытку и, идя, казалось, вопрошали себя, вонмут ли молению их власти небесные и не свершится ль в их томительном житии какая-нибудь облегчающая перемена, какой-нибудь освежающий переворот чудодейственным вмешательством пресвя-тых угодников?

Верные из правого крыла стремились оживленнее, увереннее. Этим, казалось, святое небесное заступничество на земле не было жгучей потребностью; они скорее имели вид людей запасливых, ведающих жизненные перевороты и невзгоды, а потому застраховывающих себя на будущее и в положенные сроки более или менее аккуратно вносящих свой процент молитв и поста.

Верные из пышнозданного фасада текли медленно, и на их изнеженных, раскормленных или закормленных лицах благочестие выражалось несравненно более яркими чертами.

Дворяне и дворянки вздыхали тихо, возводили очи горе, шептали: «Господи!» и общим видом своим напоминали

изображения мучеников и мучениц, писанные не талантливо, но достаточно искусною кистью. Купцы и купчихи пугливо вскидывали выпученными глазами на отверстые двери храма, осеняли себя раскидистым крестным знаменем, от плеча до плеча и от лба до желудка, ахали громогласно, сжимали уста сердечком, восклицали: «Ох, грехи!» и пухлыми дланями тискали животы свои, как будто вышепомянутые грехи были ими нечаянно проглочены вместе с разварной осетриною, засели в холмообразном чреве их и начали теперь производить там острые схватки и мучительные колики.

Течение всех вышереченных верных к заутрене задерживалось в аллее, которую образовали ряды налоеобразных, обремененных металлическими крестиками, складниками, кольцами, сердечками и прочими чудноисцеляющими средствами, столиков, мгновенно, как бы мановением какого чародея, воздвигшихся от первой ступени до самых дверей храма.

Вдруг внимание мое было привлечено стуком колес, раздавшимся из-под монастырской арки, и, оглянувшись, я увидел бричку отца Мордария, выезжающую из-под свода и направляющуюся к воротам обители.

Я вскочил, не рассуждая, невольно, быстро пересек пространство, отделявшее меня от ворот, и остановился у будочки, увенчанной крестом и во внутренности своей вмещающей две освещенные цветными лампадами иконы, под ко-

ими находились объемистые кружки для приношения лепт.

Закаленное лицо возницы, приютившего меня во время путешествия в обитель под полу своей свиты, являло обычную безмятежность; он равнодушно понукал сытых, но лукавых иерейских коней.

В бричке восседали иереи Мордарий и Еремей.

Создатель! в каком виде были сии твои священнослужители!

Отец Мордарий уподоблялся некоей огнедышащей горе, уже испытующей действие подземного огня: он извергал потоки глухих, но тем не менее ужасных ругательств и целый дождь яростных плевков.

Отец Еремей сидел неподвижен и безмолвен, но лицо его цветом своим напоминало золотистые плоды юга – померанцы, все черты заметно исказились как бы мучительным недугом, а мягковолнистая, патриархальная борода торчала во все стороны, как клок сена, от которого только что отогнали голодных коз.

Когда бричка подъехала уже к самым воротам и дряхлая привратница, кашляя, задыхаясь и восклицая: «Господи помилуй!», всем своим бессильным существом налегла на тяжелую дубовую массу, внезапно, как бы из-под земли, выюркнула мать Секлетей и с криком: «Погоди, я сама отворю пречестным отцам!» одним толчком штыкообразного плеча своего далеко откинула старицу и, распахнув ворота настежь, с тоекратно низким поклоном, сопровождаемым ис-

полненными как бы смиренности, но на деле исполненными язвительнейшего сарказма улыбками, медовым голосом сказала:

– Счастливого пути, преподобные отцы! Не забывайте своими святыми молитвами нас, смиренных и убогих!

При первых звуках ее голоса отца Еремея всего перекосило, но он не встрепенулся, не шевельнул бровью; он только приподнял десницу и, сложив три перста, с брички осенил ее крестным знамением, присовокупив обычным в таких случаях пастырским тоном:

– Господи благослови!

Но отец Мордарий!

Мятежные чувствования до такой степени овладели им, что он завертелся в бричке, как волчок, пущенный мастером в этом искусстве шалуном школьником; он закричал, заплевал, завизжал, заскрежетал зубами, зарычал; замелькали и его страшные каблуки, и космы длинных щетинистых волос, и мощные, выразительно стиснутые кулаки... Затем он выставился из брички, как бы намереваясь низринуться на дерзновенную, и мгновенно в этом положении замер, с широко отверстым ртом, с свирепо выпученными глазами, окруженный ореолом всклокоченных косм...

Бричка выехала за ворота.

– Счастливого пути, отцы пречестные! – повторила мать Секлетя.

Это вывело его из оцепенения. Отец Еремей должен был

ухватить его за полы рясы...

– Цыгане!.. Цыгане!.. Конокрады!..

То не был крик, а какое-то яростное хрипение. Мать Секлетея, с проворством юной серны пробежав за отъезжающей бричкой несколько шагов, опять крикнула;

– Счастливого пути, отцы прелестные!

– Погоняй! – повелительно раздался голос отца Еремея: – погоняй!

Возница махнул кнутом, лошади рванулись вперед, но отец Мордарий, презирая в ярости своей все опасности, сначала повис на воздухе, подобно некоему гигантскому хищному ястребу, и в таком положении несколько мгновений барахтался и парил, бешено силясь вырвать полы свои из рук отца Еремея, затем, брыкнув сильными пятками своими, рухнул на дорогу, перевернулся на земле, воспрянул и пустился обратно, жаждущий сокрушить...

Но мать Секлетея быстро прихлопнула ворота и засунула их тяжелыми, болтами.

Несколько мгновений он бешено ударял в крепкое древо, сокрушая плоть свою и не чувствуя этого в одурении гнева.

– Счастливого пути, отцы преподобные! – время от времени между тем повторяла мать Секлетея, сопровождая эти повторения своим легким смехом.

Последний удар, раздавшийся в ворота, был столь силен, что нанесший его, по всем вероятностям, должен был тотчас же сам упасть от сверхъестественного усилия.

Все затихло, а спустя еще минуты две послышался стук отъезжающей брички.

Мать Секлетея, осторожно приотворив калитку в правой части ворот, просунула туда свою голову и еще раз крикнула:

– Счастливого пути, отцы пречестные!

Но бричка все удалялась. Мать Секлетея выюркинула за калитку и опять, звонко как свисток, послала им вслед:

– Счастливого пути, отцы пречестные!

Затем, сияя довольством, как бы облегчив душу свою и обновив телеса, легкой рысцой направилась к храму.

Невзирая на дикое буйство отца Мордария, у меня не оставалось и искры сомнения в том, что он и отец Еремей удалились с какого-то таинственного сражения побежденные, подписав самую для себя позорную и горькую капитуляцию и даже не удержав за собою оружия.

Что касается собственно буйного отца Мордария, то он занимал меня сравнительно очень мало. Он был для меня не более не менее как только объяснительным аксессуаром в исторической картине или тем герольдом трагедий, который, входя в сияющих латах, громогласно оповещает: «Повелитель! принц бежал!» или: «Ваше высочество, неприятельские силы приближаются!» и получает в ответ мановенные руки, дающее знак удалиться.

Меня занимал терновский пастырь.

Голод, усталость, бесприютность и разные другие личные мои заботы и недоумения, сильно меня волновавшие, вдруг

утратили свою жгучесть, словно отлетели. Вместо того чтобы уныло вопрошать себя: «Что со мной будет? надолго ли меня завезли сюда? когда дадут мне есть?» – я вопрошал: «Что он теперь думает? что такое вышло? что ему сделали?»

И я представлял себе его искаженное пожелтевшее лицо, его опущенные долу очи, его безмолвную злобу.

Что означал бешеный вопль отца Мордария: «Цыгане! конокрады!» Имеет ли это какую-либо связь с явлениями прошлой ночи? И какую именно?

Что случилось с моим патроном Вертоградовым?

Затем беспокойство о собственной моей участи весьма естественно взяло верх.

Что же ожидает меня в ограде этой исполненной таинственных и страшных сил обители?

В подобных головоломных размышлениях, соображениях и самовопрошаниях часы пролетели быстрее, чем я ожидал.

Сильный аромат роскошной ухи, внезапно пахнувший из монастырской кухни, мгновенно смешал весь строй моего мышления и сосредоточил все интересы на насущной потребности брэнной моей оболочки.

Инстинктивно я кинулся по направлению одурявшего меня съестного аромата, но, сделав несколько торопливых шагов, остановился и, бросая вокруг себя томные, безнадежные взоры, воскликнул в сердце своем:

«Кто даст мне? К кому обращусь?»

Но как бы в ответ на беспомощную мою жалобу, из глу-

бины монастырского сада показался мой патрон.

Мне достаточно было окинуть его одним беглым взглядом, дабы убедиться, что последние происшествия возыме-ли на него действие не подавляющее, а, так сказать, окрыля-ющее.

Он, освещаемый золотыми лучами солнца, шел слегка пе-реваливаясь, изгибаясь, понюхивая хотя не душистый, но громадных размеров цветок малиновой георгины и вообще всеми движеньями своими и жестами являя свое естество дев соглядатая, героя и сердцеда.

Уразумев, что обстоятельства сложились для меня благо-приятно, я, не колеблясь более, пошел к нему навстречу.

Он обратил ко мне сдобную физиономию свою с очевид-ною благосклонностью и в веселии сердца своего сказал мне:

– Мы здесь теперь пороскошничаем!

– Слышите, как уха пахнет? – заметил я, помахивая рукой в ту сторону, откуда неся помянутый аромат.

– Что уха! – ответил он с небрежным удальством, впрочем не без примеси томности, и снова нюхнул малиновую геор-гину.

Но прежде чем он ответил, я уже сообразил по пылающим его ланитам, по замасленным уголкам уст, хранящим при-знаки жирных яств, по отпущенному шитому гарусом поясу на подряснике, что он уже не только достаточно, но с избыт-ком упитал бранные тела свои.

Однако, видя его сердечное веселие и из веселия того ис-

ходящую снисходительность и благодушие, я, не впадая в уныние, сказал ему:

– Я со вчерашнего дня ничего еще не ел! Я есть хочу!

– Есть хочешь? – спросил он, как бы не совсем понимая, зачем мне есть, когда он сыт и нюхает малиновую георгинау.

– Хочу! – отвечал я не без волнения, ибо начал уже чувствовать колики и тошноту.

– Что ж, можно и есть! – снисходительно промолвил он.

– Кто ж мне даст? – спросил я. – У кого мне попрос...

Я не закончил, ибо с патроном моим вдруг содеялось нечто изумительное; его начало поводить, он то страшно закатывал круглые глаза свои, то их жмурил; он то широко, умильно улыбался, то сжимал пухлые губы в бутончик; затем он весь, так сказать, всколебался и нюхнул малиновую георгинау с силою, заставившею отделиться и рассыпаться ее лепестки.

Я оглянулся и понял причину свершавшегося.

По боковой садовой дорожке, скромно опустив очи долу, сложив руки, отягченные четками, на груди, шли две молодые отшельницы.

Приблизившись, они смиренно, но не без умильных ужимок остановились пред лицом юного героя и приветствовали его низким, чуть не до земли достающим, поклоном.

Он же, как бы внезапно подернутый маслом и медом, сделал к ним еще шаг и, деликатно сложив короткие персты свои на благословение, оставив мизинец завитушкою, бла-

ГОСЛОВИЛ ИХ.

– Какие прекрасные цветы цветут у нас! – с двусмысленным ударением сказал он, нюхая уже несколько засаливавшуюся от прикосновений его сдобного образа малиновую георгину и глядя в упор на юных отшельниц.

Они же, прилично обстоятельствам зардевшись, еще ниже потупились и скромно, но не без примеси языческой суетности улыбнулись.

– Вы из какого эдема появились? – спросил с медлительным и наитомнейшим вздохом юный красавец после нескольких секунд безмолвия.

Отшельницы рдели и безмолвствовали.

– Из какого вы эдема, говорите! – повторил юный иерей.

Тон его был повелителен, но повелительность в нем была особая: с подобною сторающие от любви герои языческих романов взывают к похитительницам их спокойствия:

«Дражайшая! умертви меня, ибо чаша моих страданий переполнилась и я за себя уже не ручаюсь!»

– Мы из келии, – ответила, наконец, храбрейшая.

– Ах! как бы я желал поселиться в этой келии! – воскликнул мой патрон, являя вступившей с ним в речь круглые, великих размеров, глазные белки свои, помавая густогривую главою и прижимая малиновую георгину к жирной груди. – Ах! как бы я желал!

Видя, что разговоры эти угрожают долгим продолжением, а между тем слабое тело мое все мучительнее и мучитель-

нее заявляет права свои, я вдруг решился на отчаянную меру и, обращаясь к безмолвствующей отшельнице, внушительно шепнул ей:

– Отец Михаил приказал меня накормить. Где у вас кормят? Отведите меня туда!

Она вскинула на меня глаза и, как бы не нашед в моей смиренной персоне ничего для себя ни занимательного, ни внушительного, тотчас же обратила их на моего патрона.

Я же, от терзаний голодом чрева моего становящийся все дерзновеннее и дерзновеннее, снова повторил уже громогласнее:

– Отец Михаил приказал меня накормить!

Тогда храбрейшая, видимо отличавшаяся стратегическими свойствами, сказала безмолвствующей:

– Отведи его к матери Евфимии.

И увидя, что безмолвная ее сестра не спешит повиноваться данному распоряжению, она обратилась к юному герою и, снова потупив очи, как бы от невыносимого для них сияния его образа, тихо, как тонкая струйка, текущая по ковру незабудок, прожурчала:

– Позвольте туда его отвести?

– Позволю! Я все позволяю! – пролепетал, как бы захлебываясь неким нектаром, юный герой.

Безмолвствующая, отдав ему низкий, но несколько порывистый поклон, которого он, поглощенный другою, не удостоил ответом, не без раздражения прошептала мне:

– Иди!

И направила стопы свои к кухне.

Я, хотя обессиленный, но подгоняемый терзающим меня голодом, не отставал от нее.

Вдруг она, оглянувшись и увидав, что на дорожке сада и также и на всем освещенном воссиявшим дневным светилom дворе обители никого нет, замедлила шаги свои и, ласково обращаясь ко мне, спросила:

– Вы уж давно у отца Михаила?

– Нет, недавно, – отвечал я.

По тону ее голоса, по взорам ее и улыбке я уже предчувствовал, что мне предстоит обольщение.

– Вот житье хорошее! – продолжала она. – Вы свою душу пасете...

И видя, что я безмолвствую, она прибавила:

– Вы что больше всего любите?

Поняв, что вопрос этот относился к съестным продуктам, я ответил:

– Все равно, я все буду есть, что дадут.

– Я не про еду говорю, – возразила она: – я про другое...

Любите вы золотые крестики? Настоящие золотые, а?

Я инстинктивно почувствовал, что под неопытными ногами моими открывается какая-то мрачная пропасть соблазна, и потому вместо ответа обратил на нее вопрошающие взоры.

Она же, истолковав эти вопрошающие взоры по-своему, улыбнулась мне, как улыбаются изощренному доке, проник-

нув его хитроумие, и сказала:

– Ну хорошо, хорошо... Вот как познакомимся, так вы тогда увидите, что я не такая, как другие наши, я не выдаю никого... Вы после вечерень, как стемнеет, выходите в сад и гуляйте, – я вас сама найду, – выйдете?

– Зачем? – спросил я в сомнении.

– Тогда скажу, зачем. Уж жалеть не будете!

Я, находящийся в сомнении, снова безмолвствовал.

– Я не такая, как другие наши, я не смутьянка, – продолжала она. – Уж я никогда не выдам... Так выйдете? Жалеть не будете!

– Выйду, – ответил я.

– Только никому не говорите, слышите? Никому, никому! Они все будут выпытывать, а вы никому... Слышите? Они все такие, что вас в яму впихнут... Им как бы только подвести человека... Ехидницы, больше ничего! Так вы никому?

– Никому, – ответил я.

– Ну, хорошо! Увидите, что я вам скажу! увидите! Вот сюда – вот двери!

Она распахнула дверь и ласково впихнула меня во внутренность кухни.

Сильнейший запах разнородных жареных и вареных рыб ошеломил меня. Я очутился в облаках горячего пара, сквозь жгучие волны которых фантастически мелькали человеческие фигуры и кухонная утварь. Шипенье на сковородах и в котлах было столь резко, что, мне казалось, оное вдруг на-

чинает происходить непосредственно у меня в ухе.

– Мать Салмонида! накормите...

Но звонкий дискант моей юной путеводительницы внезапно был покрыт мощным рыканьем:

– Какого это еще ирода накармливать? Нечем мне накармливать! Все сырь одна, а тут лезут...

– *Ego* служку! – пронзительно вскрикнула моя путеводительница.

Рыканье чудесно перешло в ласковое урчанье.

– Где ж он?

– Вот.

– Поди сюда, поди сюда! на лавочку, в уголок! Поди, поди, голубчик!

Мощная влажная голая по плечи рука, пропитанная всевозможными рыбными эссенциями, обхватила меня за талию, препроводила, сквозь клубы паров, в дальний уголок и посадила на скамью у стола...

(Затеряны листки из записок.)

Глава девятая

Замечательные черты обительского жития и нравов

В первое время пребывания нашего в обители я употреблял все изощрения ума моего на отыскивание средств укрыться от бдительных, зорких и чутких в черных островерхих шапочках или же в длинных мрачных покрывалах аргусов, коварно устраивавших мне повсюду засады и наперерыв старавшихся обольстить меня сладкими яствами и серебряниками, да искушуся и предамся в их руки; но, не замедлив увидеть мою неспособность служить им искусным наперсником и клеветом, помянутые аргусы скоро презрели меня и бросили, возымев к твари, обманувшей их ожидания, самые враждебные чувствования.

Перешед из положения неоперившейся пташки, преследуемой хищными ястребами, в несравненно более удобное положение обительского пария, я вздохнул свободнее и проводил многие часы, спокойно прогуливаясь по монастырским владениям, упражняясь в изучении нравов и обычаев моего местопребывания и питая себя как душеспасительными, так и противными тому размышлениями.

Патрон мой совершенно перешел в то свое прежнее блаженное состояние, в каковом находился, когда впервые по-

сетил Терны в качестве жениха благолепной Ненилы.

Восстав от сна и придав некоторыми искусственными средствами вящую неотразимость природным красотам своим, он спешил к матери игуменье на утреннюю трапезу, за-долго до окончания коей ланиты его начинали ярко пылать, и он, слабо ударя жирной дланью по столу, с блуждающей улыбкою на пухлых устах и с приветливою ласковостию в помутившихся взорах, давал обещание прислуживающей матери Секлетее и разносящим брашна отшельницам купить Москву, или бессмертие, произрастить цветы и плоды на камнях, полететь со стадом диких гусей, не уступая им в легкости и неутомимости, в теплые страны за море, отслужить обедню на греческом языке и прочее тому подобное.

Мать игуменья обещаний никаких не давала, но ланиты ее тоже разгорались каким-то особым бледноалым огнем, жесткие стальные глаза начинали сверкать и щуриться, уста, представляющие подобие белесоватого шрама, раздвигались усмешкою.

– Секлетеея! – говорила она вызывающим голосом: – чья эта Краснолесская обитель, а?

– Ваша, мать игуменья, собственная ваша! – отвечала мать Секлетеея поспешно. – Чьей, же ей еще быть? Ваша!

– Только я, если захочу, не могу ее сжечь, а?

– Можете, мать игуменья, можете! Коли угодно, так сейчас же сожжете так, что и камня на камне не останется!

– Гм!.. Это ты правду говоришь, а? По чистой совести так

ты думаешь, а?

– По чистой совести, мать игуменья! Вот как бог свят, по чистой совести!

– А с вами я ничего не смею сделать, а?

– Ваше преподобие! с нами-то? Да вы с нами все можете сделать!

– Будто могу? а?

– Можете, матушка игуменья!

– А ну-ка, попробую. Подойди ближе. Подходи, подходи!

Нетрепетная духом мать Секлетея хотя и подходила твердым шагом, однако несколько менялась в лице, и ее моргающее в минуты оживления око подергивалось как бы некоею плевою.

– Ну-ка, гляди мне прямо в глаза. Ну, прямо, прямо! Вот так! Все гляди, все гляди!

Говоря это, мать игуменья брала своими гибкими, иссиня белыми длинными перстами щепотку соли и, усмехаясь, долго целила матери Секлетее в глаза, затем медленным размахом руки ловко пускала помянутую соль в самые зрачки жертвы..

Мать Секлетея стоически выдерживала пытку и, выпучив до невероятия белки, не без успеха старалась явить на лице свое довольство, на устах веселую улыбку и вообще всем существом своим выразить, что засыпанье ей глаз солью составляло для нее одно из избранных времяпровождений,

– Что же тебя так поводит, а? – спрашивала мать игуменья

тихо и мягко. – Может, ты недовольна, а?

– Ах, ваше преподобие, благодетельница душ и телес наших, как же я могу быть недовольна? – отвечала с некоторым дрожаньем, но с беспечностью и преданностью в голосе мать Секлетея. – Все, что ваше преподобие ни изволите сделать, нам, грешным, только на пользу, все благо... за все благодарим...

И мать Секлетея с жаром клала земной поклон перед преподобной матерью игуменьей, а затем повторяла снова:

– Все благо... все благо...

– Стань-ка получше, я тебя еще ублажу, – слегка приподнимая тонкие, волнистые, змееобразные брови и ласково усмехаясь, говорила мать игуменья. – Стань-ка!

И снова она запускала гибкие персты в солонку, захватывала вторую щепотку соли и тем же медленным, спокойным взмахом руки так же ловко пускала и вторую щепотку в глаза матери Секлетеи.

– Ты никак плачешь, а? – спрашивала она, когда из ослепленных глаз начинали катиться слезы.

– Это здорово для глаз, ваше преподобие... это здорово для... для... для глаз... – заикаясь, но все же без малейшего признака уныния, а напротив, как бы с возраставшим по мере истязаний довольством отвечала мать Секлетея.

Мой патрон заливался смехом и кричал:

– А ну еще ей сыпните! Еще, еще! Ишь какая! Все ее не берет!

Присутствующие при трапезе отшельницы бледнели и трепетали, ежеминутно ожидая для себя какого-либо подобного истязания.

И почти всегда ожидания их сбывались.

Обыкновенно мать игуменья, удовлетворившись подавляемыми конвульсиями матери Секлети, обращала взоры свои на прочих и, выбрав которую-нибудь, кивала ей пальцем и тихо ее подзывала:

– Поди сюда! Поди сюда!

И горе той, которая, подходя к повелительнице, выказывала что-либо иное, кроме радостной, почтительной готовности претерпеть все до конца.

– Возьми-ка кувшинчик этот в руки, – говорила мать игуменья молоденькой сестре, кивая на металлическую посудину, наполненную кипятком, – возьми-ка вот так, за бочка ладонями. Что же ты, слышала?

Отчаянно и торопливо схватила сестра указанный предмет и с глухим криком вновь выпустила его из рук.

– Бери, бери, – тихо и мягко настаивала мать игуменья. – Что, горячо? Будто уж и горячо? И очень жжет? Да ты, может, не разобрала хорошенько, дева?

Сестра дрожала, глотая слезы.

– Право, ты не разобрала хорошенько дела. Ну-ка, лизни языком, вот тут лизни, с правого краешка. Ну, ну!

Если сестра исполняла все это поспешно и решительно, испытание длилось сравнительно недолго, но если она начи-

нала рыдать и молить о пощаде (что иногда, хотя чрезвычайно редко, случалось), то испытание затягивалось на неопределенное время, и по мере того мать игуменья начинала свирепеть, голос ее делался звонок, как новый, только что отлитый колокол, лицо бледно, руки дрожали, на углах бесцветных губ показывалась пена.

– А! а! – говорила она еще тише и мягче, но уже задыхаясь. – Мы этого не можем? Не хотим? А!

Патрон мой никогда не мог видеть слезы, когда бывал отягчен винными парами, и если только слезы проливались так, что его помутившиеся очи могли это заметить, он обыкновенно начинал уговаривать мать игуменью.

– Ну, бросьте, – говорил он убедительно, – бросьте!.. Что за охота? Бросьте! Велите лучше поплясать... Что за охота?

Иногда, когда случалось, что пытаемая сильно страдала, мать игуменья исполняла его желанье и заставляла ее плясать, прищелкивая при этом своими гибкими перстами так звонко, словно персты эти были из металла; но чаще всего она вставала и, обращаясь к жертве, ласково говорила:

– Пойдем со мной! Пойдем, сестра, пойдем...

Ни при каких истязаниях не искажалось так лицо сестры, как при этом ласковом приглашении следовать за собою.

Куда уходили, что ожидало там, я не могу сказать, ибо сам того не знаю. Невзирая на все мои ухищрения, я не мог проникнуть за завесу, покрывающую эти таинственные пытки.

Я замечал только, что злополучная сестра, последовавшая

в таких случаях за матерью игуменьей, много дней после того не показывалась, а когда появлялась, наконец, снова, то лицо ее и все существо ее носили на себе следы сильных страданий.

Случалось, хотя несравненно реже, что помянутая трапеза оказывала и совершенно иное влияние на мать игуменью: она внезапно преображалась, щедрой рукой оделяла сестер самыми изысканными отборными яствами, снисходительно и даже одобрительно глядела на все знаки хмельного веселия матери Секлети, поощряла всякое буйство и свирепела только, когда приглашаемые к пиру держали себя сдержанно.

– Гуляй, когда я позволяю! – вскрикивала она. – Гуляй! Пой песни! Пей! Бей!

И она с некою веселой, если могу так выразиться, яростию ударяла своими синевато-белоснежными, прозрачными, крепкими и гибкими кулаками по столу так, что дрожали и подскакивали все сосуды, или же, схватывая оные сосуды, бешено пускала ими в стену и неистово смеялась, глядя на рассыпающиеся осколки и брызги хмельных напитков.

Иногда она, в буйном своем пиршестве, вдруг повелевала звонить в колокола:

– Ударить в колокола! Звонить! Звонить! Звонить!

Рой отшельниц, спотыкаясь и попирая друг друга, спешил исполнить ее веленье, и раздавался на всю окрестность торжественный благовест.

Находящиеся в обители богомольцы выскакивали из го-

стеницы, стремились к храму и, изумленные, останавливались перед замкнутыми его дверями, вопрошали проходящих сестер и матерей:

– Чего это благовестят? Какая служба?

– От его высокопреосвященства приказ такой, – отвечали сестры и матери: – святой явился.

– Где же это? где?

Сестры и матери по вдохновению называли ту или другую местность и спешили скрыться.

Наконец утренняя трапеза оканчивалась тем, что мать игуменя была уносима в покои на громадном убрусе отрядом отшельниц, а патрон мой или засыпал тут же, у пиршественного стола, или же другой отряд отшельниц, завернув его в другой убрус таких же размеров, тащил его на приуготовленное ему ложе под алым балдахинном, где он и пребывал долгие часы в бесчувственном почти состоянии.

При пробуждении его ожидала купелеподобная кружка какого-то темного напитка, именуемого матерью Секлетею «живчик», и сонм избранных по красоте отшельниц, который с умильными улыбками и телодвижениями подносил ему, еще возлежащему и потягивающемуся, различные сладкие варенья, смоквы и сушенья.

– Сестра Олимпиада! – говорил он, с томностию обращая несколько запухшие очи на поименованную прекрасную отшельницу, – дай малины!

Сестра Олимпиада, в последнее время начинавшая дер-

жать голову выше, возвышать голос на тон выше и вообще напыщаться гордостью, как молодой регистратор или подпоручик, только что получивший давно желанный и жданный этот чин и возносящийся им перед своими, его не получившими сослуживцами, уже не потупляя черных, черносливоподобных очей, а сверкая ими и показывая нескромными усмешками ряды белых зубов, брала хрустальную тарелку с сахарной малиною, подходила к самому изголовью и, зачерпывая варенье полными ложками, препровождала его в широко разверзаемую пасть молодого иерея, пока он не останавливал ее рвения словами, прерываемыми проглатыванием лакомого снадобья:

– Будет... будет... теперь смоквы... теперь смоквы...

– Вы! возьмите тарелку! – обращалась высокомерно сестра Олимпиада к прочим отшельницам. – Что же глядите?

Отшельницы, уже начинавшие относиться к новопожалованной сестре подобострастно, стремительно кидаясь на хрустальную тарелку, лепетали:

– Дай, сестра Олимпиада... дай... – и каждая старалась овладеть помянутою тарелкою как неким сокровищем, между тем как сестра Олимпиада с сугубейшею небрежностью и высокомерием возглашала:

– Не суйтесь так! Подайте смоквы!

– Клади по две... по две... – еще с вящею томностью говорил молодой иерей, – по две...

Затем, чрез несколько минут, он лепетал едва внятно:

– Можно по три... по три...

Наконец, дошед до изнеможения, он смыкал вежды и тем давал понять, что удовлетворен.

– Расчеши бороду, сестра Олимпиада... – говорил он, не открывая глаз.

Сестра Олимпиада брала гребенку и начинала расчесывать густые космы грязных волос.

– Сестры! поднимите меня! Я ослабел!

Сестры, с Олимпиадой во главе, начинали поднимать тучную тушу, которая умышленно подавалась назад, пручалась и упиралась.

– Не по вас тягота эта! – восклицал молодой иерей с хохотом, – не по вас! Я одним махом разнесу вас! разнесу!

И обольстительный молодой иерей, размахивая жирными руками и бодаясь широкими крутыми пятнами, с успехом раскидывал прильнувший к нему рой цветущих сестер, которые с умильным хихиканьем взвизгивали, пищали, охали и ахали.

Утомившись, наконец, этими играми, молодой иерей поднимался на ложе и провозглашал:

– Ну теперь давайте в карты! Давайте в носки! Что, не хочется в носки? То-то! Ну давайте в мельники или в короли!

Десятки рук тотчас же схватывали столик и придвигали его к иерейскому ложу, а сестра Олимпиада брала колоду карт и начинала сдавать, с изумительным искусством подтасовывая тузов, королей и дам герою сих игр и утех, который,

в простоте душевной, расправляя их веером в пухлых перстах, восклицал всякий раз с великим удовольствием:

– Карты идут ничего, порядочные! А я уж думал, что ко мне масть хорошая не пойдет, я думал, что я в картах несчастлив! Говорят, кто в любви счастлив, тот в картах несчастлив, а вот и неправда – одни враки!..

Некоторое время продолжалась оживленная игра в мельники, затем следовала игра в короли, в свои козыри, в дураки, в носки и прочее тому подобное.

Во что бы ни шла игра, все без исключения сестры вели себя так, чтобы счастье неизменно находилось при молодом иерее, чем он нелицемерно восхищался.

– Ну где вам со мной играть! – говорил он время от времени, сияя самодовольствием, – где вам!

– А я думала, что уже теперь я непременно выйду в короли! – шептал иногда чей-нибудь смягченный до крайности, как бы замирающий голосок, причем пара очей, робко сверкнув на героя, скромно опускалась долу. – Я думала все непременно!

– Думала? – спрашивал молодой иерей. – Думала? Ха-ха-ха!

– Думала, отец Михаил!..

– Нечего тебе было думать! – тихо, но раздражительно отвечала сестра Олимпиада. – Ничего ты не думала!

Если сестра, обращавшаяся таким косвенным образом к пленительному патрону моему, обладала достаточной реши-

мостью, то разговор продолжался, невзирая на неприязненное вмешательство Олимпиады, и даже, случилось, переходил в нежный тон, а если она была нраву робкого, то скоро прерывался, наполнив душу ее горечью неудачи.

Обыкновенно только появление матери Секлетеи, извещавшей об обеденной трапезе, прекращало карточную игру.

При виде матери Секлетеи благосклонный к ней Вертоградов восклицал:

– А! пожаловала мать Секлетеея! Ну, что ж, ты чем нынче угостишь, а? Что ж ты на меня глядишь? Что ж ты глядишь, а?

– Господи, спаси нас и помилуй! – отвечала мать Секлетеея, как бы внезапно приходя в себя и ужасаясь неожиданно пробудившегося в ней чувства прекрасного: – Господи, спаси нас и помилуй! Мать пресвятая богородица! Ах, грешница я превеликая!

– Да что такое, мать Секлетеея? Что такое, скажи! – спрашивал он, благосклонно улыбаясь.

– Ох, царь небесный, творец неба и земли! – как бы с сугубейшим ужасом шептала мать Секлетеея: – Ох, грехи мои тяжкие! Заступница милосердная! заступи и помилуй!

– Да что же такое, мать Секлетеея? – с приятным волнением добивался он. – Бог милостив... Ну, говори, что такое?

– Да вот, батюшка... Ох, святитель отче Никола! моли бога о нас! Ох!

– Да ну, мать Секлетеея, говори! Ну, говори... Я разрешаю

тебя... Я прощаю и разрешаю!

– Да вот... Ох, мать божия! Загляделась я, отец Михаил, на твою ангельскую красоту, грешная! Не видала я подобной и на картине! Сколько вот на свете живу, а не видала! Такая красота твоя, отец Михаил, что опаляет она, аки солнце! Стоишь и глядишь – ровно безумеешь... Уж не херувим ли это, думаешь, шестикрылый прилетел? Такая твоя красота! Даже из нее сиянье исходит во все стороны! Глаз, эдак, словно копьем пронзает!

– Ну, ничего, ничего! – снисходительно улыбаясь, успокаивал ее херувимоподобный Вертоград. – Ничего! бог тебе простит!

– Ох, отец Михаил! все это мирское! Оно конечно, ты пастырь наш духовный, а все-таки мирское!

– Ну, ничего, мать Секлетя... Ну, что ж такое? Ну я разрешаю и прощаю! – говорил уже не только снисходительно, но даже одобрительно упивающийся ядом лести, гордый своей красотой иерей: – я прощаю и разрешаю!

– Не оставь рабу твою, отец Михаил, не оставь... Ах, святители милосердные! я и забыла, зачем пришла? К трапезе мать игуменья ожидает!

– Сейчас, сейчас, мать Секлетя... Шествуем, шествуем... – Но, говоря это, патрон мой направлялся не к выходной из покоя двери, а к углублению в стене, где, как то показывал и отпечаток четырехугольной рамы и вбитый в потолок крюк, – когда-то висела икона и пред ней теплящая-

ся лампада, теперь укреплено было новое, резко блистающее позолотою зеркало, в коем не замедлял отразиться опухший, оплывший, благосклонно улыбающийся красоте своей Михаил Вертоградов.

– Борода-то у меня скоро, должно быть, поседеет! – говорил, самодовольно улыбаясь, гордый красавец.

– Ах! ох! ох! ох! – раздавалось из всех уст в ответ на эти лукавствующие слова.

– Право, скоро поседеет! – продолжал он, с тайным восхищением внимая раздающимся вокруг охам и ахам: – право, поседеет. Состареюсь, пропадет вся красота!..

К охам и ахам, поднявшимся уже на несколько нот выше, присоединялись тогда восклицанья более сложные.

– Ах, нет! Ах, как можно! Ах, никогда!

– Нет, нет, пропадет! – настаивал он, стараясь принять томный вид увядающей жертвы беспощадного времени и тем еще более возвысить свою прелесть: – пропадет!

И с этим словом, сопровождаемый восхищенными и умильными взорами и хором протестующих восклицаний и вздохов, он, переваливаясь и извивая, елико возможно, тучные тела свои, уходил, поглядывая на плененных им и как бы говоря:

«Пусть страдают!»

Обеденная трапеза отличалась от утренней только тем, что длилась дольше, а потому и была разнообразнее как в истязаниях, так и в пиршественных утехах.

Затем наступал снова сон и отдых до вечерен – снова сон и отдых для матери игуменьи и моего патрона, для нижних же чинов – бдение и работа.

При первом ударе несколько надтреснутого, а потому гудевшего с глухим дребезжанием монастырского колокола к вечерне мать игуменья, обернувшись черным покрывалом, опустив, как бы в благочестивых размышлениях, голову, склонив долу очи, медленными, величественными стопами направлялась из своей келии в храм, куда не замедлял являться и мой патрон, становившийся на первом видном месте – да созерцают его красоты плененные им, – томно воздевавший заплывшие очи к своду храма, с небрежною грациею откидывающий густые космы грязных волос своих и вообще тщившийся явить из себя олицетворение земной прелести, нежности и величия, чему мешала сильная отрыжка – следствие неумеренных наслаждений обительскими трапезами, – продолжавшаяся постоянно и то потрясавшая его по нескольку минут кряду, извлекая из него звуки, подобные отдаленному мычанью стад, то, после нескольких минут покоя, внезапно пробегая по нем конвульсией, причем здание храма звучно оглашалось икотой, повторяемую эхом во всех четырех углах и в глубине высокого свода.

По окончании вечерен толпы богомольцев, которые, подобно волнам вечно неспокойного океана, постоянно приливали к Краснолесской обители, стремились под благословение матери игуменьи, и ее белоснежная гибкая рука торже-

ственно приподнималась и опускалась над преклоненными главами верующих.

Затем верующие разделялись на две партии – одна гуляла по двору, удалялась в гостиницу, располагалась под монастырскою оградю; другая же, сравнительно малочисленная, по приглашению матери игуменьи, шествовала за нею в ее келию, где угощаема была чаем, пышными просфорами и славными на всю окрестность монастырскими вареньями.

В то время как богомольцы изливали, прихлебывая чай, свои христианские чувствования или же поверяли свои житейские обуревающие их страсти, горести и заботы внимательно и с христианским милосердием внимавшей им матери игуменьи, рой юных отшельниц кружился, прыгал, метался под карающей десницей матери Секлетеи, как утлые ладьи, застигнутые ураганом в открытом океане, и их соединенными трудами сооружался в вышеописанном ветхом здании пиршественный стол, или так называемая вечерняя трапеза, длившаяся за полночь и превосходящая все остальные своею роскошью и буйством.

Но да не уподоблюсь нечестивому сыну праведного Ноя и да накину покров на неподобающие деяния!

Нередко случалось, проходили многие дни, и я не токмо не имел случая прислуживать патрону моему, но даже не достаивался лицезреть его.

В такие дни я беспрепятственно занимался изучением нравов и обычаев Краснолесской обители, а также и наплы-

вавших туда богомольцев.

Первое время я, по своей нелюдимости, обыкновенно от-
правлялся на монастырское обширное, осененное высокими
деревьями и усаженное кустарниками и цветами кладбище,
и тут, бродя от одного места вечного успокоения к другому,
предавался размышлениям, вызывал сладостные и горькие
воспоминания и, читая могильные надписи, тщился воспро-
извести фантазией лица погребенных под этими надписями.

Могилы, памятники и надписи отличались великим раз-
нообразием и самым прихотливым исполнением. Так, на-
пример, я помню, на четверугольном пространстве, обса-
женном кустами ярких георгин, массивное пирамидальное
сооружение из белого мрамора, наверху коего возвышались
гигантские эполеты, а по стенке, обращенной к востоку, бле-
стело золотыми буквами:

**ПОД СИМ МРАМОРОМ ПОКОИТСЯ
БЛАГОРОДНОЕ ТЕЛО
ГЕНЕРАЛА
СЕМЕНА НИКОЛАЕВИЧА
ЛУКЬЯНОВА.
КАК СОЛНЦЕ БЛЕСТИТ С ВОСТОКА,
ТАК И ОН БЛЕСТЕЛ
ДОБРОДЕТЕЛЯМИ,
ОСТАВИВ БЕЗУТЕШНУЮ СУПРУГУ
ВДОВОЮ
И ТРЕХ ЮНЫХ ДОЧЕРЕЙ
СИРОТАМИ.**

На другой могиле, за позолоченной узорчатой решеткой, украшенной по углам чугунными с позолоченными крыльшками херувимами, сделан был ангел с необычайно кудрявою головою и несоразмерно великими крылами, который указывал перстом правой руки вверх, перстом же левой вниз, а на пьедестале начертано следующее письменное объяснение двусмысленного этого указания:

**ТУТ – МОИ ПЕЧАЛИ!
ТАМ – МОЯ НАГРАДА!
ПОД СИМ КАМНЕМ ПОКОИТСЯ
КОЛЛЕЖСКИЙ СОВЕТНИК
АНАНИЙ АНАНЬЕВИЧ
ГУРЬИН.**

На роскошном мавзолее, украшающем могилу дочери генерала от инфантерии, изображена была скоротечность ее юного жития такими поэтическими образами:

**УВЯЛА 16-ТИ ЛЕТ!
ЗРЕЛА ЛЬ ТЫ СВЕТ?
КАК РОЗА В БУТОНЕ,
СОШЛА С НЕБОСКЛОНА!
ПРОСТИ, ВЫСОКОЕ СОЗДАНИЕ,
КОТОРОМУ НЕ БУДЕТ ПОДРАЖАНИЯ
НИ В КРАСОТЕ, НИ В ЧУВСТВЕ, НИ В УМЕ!
НАШ ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕРЛ НЕ ПОЖИЛ НА
ЗЕМЛЕ!**

На видных местах кладбища, фигурно изусаженных ку-

старниками и цветами, возвышались многочисленные надгробные монументы, увековечивающие урожденных княжен, статских советников, полковниц, купцов первой гильдии и прочее тому подобное, сверху донизу испещренные славословиями, изречениями священного писания и приличными случаю и месту виршами.

Подальше от помянутого щеголеватого, расчищенного центра шли более смиренные места вечного успокоения, обозначенные плитами за незолочеными, а иногда и просто деревянными решетками.

Еще подальше шли еще смиреннейшие, обозначенные крестами только или же просто небольшими насыпями, кои мать-природа столь щедро одела густой травой, что более возвышенные линии земляного креста, выложенного привычной и небрежной рукой могильного «копача», едва обозначались.

Еще далее, у самых стен низкой каменной ограды и по ее углам, кладбищенской почвой завладела дикая растительность.

Высокая, почти в рост человеческий крапива отличалась необычайной шириной и сочностью листьев, равно как и лопух, возвышающийся наподобие зонтов; повилика, козушка, паучок, ползучка образовали по ограде и между изредка тут растущими деревьями и кустами густую сеть, пронизываемую только для золотых лучей солнечных; ярколиловые и яркомалиновые татарские шапки сверкали в этой зеленой

плетенице, как некие драгоценные аметисты и опалы; алый же шиповник резал зрение необычайно светлым пурпуром своих крупных, обильных шиповин.

Все тут растущее и цветущее имело необыкновенную яркость красок и необыкновенную сочность. Мелкие полевые цветки, попавшие сюда, принимали не свойственные им размеры; гроздья барбариса и кисти калины гнули ветви своим обилием и горели, как бы созданные из огня и пламени; зреющие груши висели наподобие тяжелых золотистых урн; занесенное ветром зерно конопли пустило росток, перевысивший многие монументы и, казалось, имеющий силу и крепость тростника.

Но во всей этой роскоши зелий, цветов, деревьев и плодов было нечто гробовое, могильное, прочим, не кладбищным зелиям, цветам, деревьям и плодам не присущее, так что я, невзирая на все мое пристрастие к этим дарам природы, не сокрушил ни единого стебля, не посягнул ни на единую ягоду, или же плод.

Кладбище Краснолесской обители, радуя все прелести уединения, имело еще то преимущество, что в известные часы дня сюда стекалось целое общество богомольцев и оживляло своим говором и движением тихое место вечного успокоения.

Сколько раз я, насладившись досыта окружающими меня безмолвием и безлюдием, вслед за тем, невидимый за пышно разросшимся кустом, или за богатым монументом, или за

простой могильной насыпью, бывал свидетелем поучительнейших сцен и слушателем поучительнейших разговоров!

Некоторые из этих вышепомянутых сцен и разговоров столь глубоко врезались в моей памяти, что я и в настоящую минуту как бы еще слышу и вижу все с неменьшею ясностию и отчетливостию.

Я вижу разнохарактерные лица, освещенные лучами солнца, испещренные падающими на них тенями от надгробных растений, я слышу жалобные, или спокойно-задумчивые, или взволнованные тоны голосов...

В данный, например, момент мне с невероятною яркостью и живостию представляются три картины с обительского кладбища.

Я вижу группу из трех особ. Она размещается под молодыми развесистыми высокими орешинами, осеняющими широкую блестящую белую мраморную плиту над прахом капитана 1-го ранга.

Луч уже заходящего, но еще ярко блестящего светила дневного, падая сквозь темнозеленую листву, рассыпается золотистыми искрами по шарообразному лицу и такой же фигуре маленькой преклонных лет помещицы, в кружевном чепчике, в коричневом шелковом капоте, украшенном паутиноподобными вышивками на шее и рукавах; тоненькие, как ниточка, брови ее несколько подняты вверх; голубые глаза несколько выпучены; пухлые уста сжаты в бутончик; круглая головка откинута несколько назад и в правую сторону;

гладкие, как бы налитые, пальчики жирных ручек судорожно переплелись, частые, отрывистые вздохи и легкие пискливые стоны вырываются беспрестанно из ее тучной грудки. Все выражение ее физиономии и фигуры, каждый ее жест выказывают тревожное, беспокойное огорчение, которое свойственно не привыкшим к обуздыванию своих желаний и укрощению своих страстей господам и господам.

Против нее, но более в тени, прислонив тощую спину к древесному стволу, сидит тоже немолодых лет помещик. Черные впалые глаза его быстро бегают; темножелтое широкоскулое лицо непрестанно подергивается; он покашливает сухим, порывистым кашлем, и крючковатые персты его поминутно хватаются за синий атласный галстук и дергают его, словно он давит длинную сухую шею; злобная, горькая усмешка часто искривляет бесцветные широкие, мясистые уста.

Несколько от них поодаль, избрав себе опорой тонкий, гибкий ствол молодого деревца, полулежит юная, прекрасная благородная девица. Яркая зелень листвы чудесно обрамливает ее цветущий образ; проникнувшая сквозь листву полоска солнечного луча играет на розовой ланите, задевая край прозрачного уха, сияющего изумрудной серьгой. Благородная девица, сложив на коленях белые, изнеженные руки, украшенные сверкающими перстнями и запястьями, с ленивым недовольством глядит бесцельно в пространство.

Но время от времени темные глаза ее вспыхивают, точно

какая-то тревожная мысль, как некая молния, мелькает в ее умашенной благовониями и причудливо убранной голове.

Она на мгновение смыкает, как бы утомленная неотступными докучными видениями, вежды, затем открывает уже утратившие сияние очи и снова бесцельно, с ленивым недовольством глядит в пространство.

Шарообразная помещица восклицает пискливым дискантом:

– Нет, нет, вы только себе это представьте, Виктор Иванович! Нет, вы только себе представьте! «Мне, говорит, что вы, что мужик – *все равно*!»! *Все равно*, что я, что мужик, – слышите? Слышите, Виктор Иванович?! *Все равно!!*. «Для мирового судьи, говорит, нет в этом никакого различия». Слышите, Виктор Иванович! *Никакого различия!* Я не могу забыть этого! Не могу, не могу, не могу! Засну – во сне вижу! Боже мой! Боже мой! Боже мой благий и милосердный! за что ты попускаешь? Я бы, Виктор Иванович, лучше уж прямо в гроб легла! Клянусь, лучше бы прямо в гроб... Да как и жить теперь нам? Ограблены мы, обесчещены! Я ума не приложу, как это я теперь буду...

– А вы, Варвара Павловна, чего же изволили ожидать после того, как нас ограбили и обесчестили? Чего вы изволили ожидать, позвольте узнать? – желчно вопрошает Виктор Иванович шипящим шепотом, прерываемым кашлем.

– Ох, Виктор Иванович! да я ведь все-таки надеялась! Я думала, Виктор Иванович, что все это только так: пострадают,

да и бросят... Ох, прогневили мы, верно, творца небесного.

– Нет-с, когда уж вас ограбили, так вы не надейтесь: надеяться тут, Варвара Павловна, нечего! Когда вас ограбили, вы извольте ожидать убийства! Да-с!

– Что вы, Виктор Иванович! что вы!

– Да-с, ожидайте теперь убийства! И те самые мужики, которые теперь шапки передо мной не снимают, – слышите? шапки не снимают! – придут и предадут нас смерти!

Варвара Павловна точит обильные слезы.

– Мне себя уж не жаль, Виктор Иванович, – всхлипывает она: – мне жаль вот Серафимочку!

Прекрасная юная дворянка хмурится и вздыхает.

– Мне жаль Серафимочку, Виктор Иванович! Лелеяла, думала на радость... а вот привелось... Что ж, ей теперь самой комнаты, что ль, мести? Этими-то руками, Виктор Иванович? Вы поглядите на нее!

Серафимочка сама взглядывает на свои белоснежные, сияющие золотыми украшениями руки и тоже, повидимому, недоумеваает: как ими мести?

– Вы, Виктор Иванович, поймите! Вы поймите только, каково мне-то! Поймите!

– Я понимаю-с, – отвечает Виктор Иванович. – Я понимаю-с!

Наступает молчание, прерываемое только пискливым всхлипываньем Варвары Павловны.

– Уж лучше бы прямо в гроб! Уж лучше бы прямо...

– Но это не долго продлится! – вдруг восклицает Виктор Иванович, – это не долго продлится! Права наши воротятся!

– Воротятся, Виктор Иванович? – восклицает Варвара Павловна, мгновенно озаряясь упованием на приобретение утраченных ею благ. – Воротятся?

Серафимочка тоже несколько содрогается и не без сердечного интереса устремляет взоры на Виктора Ивановича.

– Так воротятся, Виктор Иванович? – Воротятся!

– Дай-то господи! Я, Виктор Иванович, признаюсь вам, я ведь к ворожее ездила, как в Москве была, и к блаженному тоже ходила. Блаженный-то неясно говорил – все больше гору Арарат поминал. Вы не знаете, что это такое значит гора Арарат? «Взойдешь, – говорит мне, – на гору Арарат...» Не знаете?

– Я полагаю, это значит: взойдешь на высоту...

– Ах, так это и есть! Так и есть! Это хорошо! Ведь хорошо, Виктор Иванович?

– Хорошо. А еще что он говорил?

– Остального не припомню. Да все больше про гору Арарат. Раз двадцать повторил: «Взойдешь на гору Арарат!» А вот ворожея, так та все ясно-преясно мне рассказала. «Не бойтесь, говорит, все ваше воротится, все пойдет по-старому. Опять закрепят их за вами, и опять будут те же подати и оброки. Вы, спрашивает, собирали нитками и яйцами?» – «Сбирала», говорю. «Птицей и полотном собирали?» – «Сбирала». – «Ну, говорит, и опять будете собирать и еще боль-

ше можете тогда на них наложить. Сколько, говорит, угодно, столько и наложите. И сечь их, говорит, опять тоже можете, и девкам косы резать, и покупать их, и продавать – все!» Так и скачала: все! Я ее сколько раз переспрашивала: «Так ли вы скачали? все ли?» – «Все, говорит, уж вы не беспокойтесь». Вот только время-то она не назначила! Как я ее ни просила, время точного не назначила. «Когда ж, говорю, мы этогождемся?» – «Когда дождетесь, тогда и узнаете», говорит. Непреклонная такая, – так-таки и не сказала. Может, нам-то и не доведется уж увидеть! Вот вы, Виктор Иванович, тоже говорите: «Все воротится», а когда? Вот и не скажете, когда!

Виктор Иванович сохраняет мрачное безмолвие.

– Не окажете, Виктор Иванович? Хоть бы так сказали, не точно... вот, мол, года через два или через год... все бы легче...

– Это длиться не может! – отвечает, наконец, Виктор Иванович, причем шипящий его шепот переходит в свист: – это длиться не может! Есть бог в небесах! Есть... Это длиться не может!

Он задыхается. Снова наступает безмолвие. Серафимочка слегка вздыхает и снова устремляет безучастные взоры в пространство.

Виктор Иванович внезапно нарушает это безмолвие возгласом, исполненным дикого исступления:

– Мать пресвятая богородица! услыши мя! услыши мя! услыши мя!

Он весь дрожит, слезы катятся по его ввалившимся ланитам, глаза безумно блуждают.

– Услыши мя! услыши мя!

Встрепенувшаяся Варвара Павловна начинает вторить тихим писком.

– Услыши! услыши!

Юная Серафимочка не вторит словами, но омрачившееся чело ее не менее ясно взывает к божеству:

– Услыши! услыши!

.....

Я вижу другую группу.

У подножия пирамидального монумента из серого мрамора, остроконечная вершина коего увенчана металлическим украшением, долженствующим изображать солнце, но более напоминающим трещотку, а бока испещрены золотыми письменами, повествующими о доблестном участии покоящегося тут генерала в битве при Очакове, сидят двое – очевидно, связанные между собою священными узами брака и купеческого происхождения.

Глава семейства отличается крепким телосложением и соответствующею тому тучностию; он, видимо, чрез меру насыщен и крайне отяжелел; зоркие глаза его посоловели и как бы покрылись пленкою; проворные, изошрившиеся с аршином руки опущены небрежно – он отдыхает от дел, он нежится; мелкие капельки пота выступили на покрывшемся малиновою краскою широком лице его, светлорыжая борода слег-

ка всклучилась, русые, щедро умащенные волосы спадают на чело жирными прядями; новый кафтан тонкого синего сукна расстегнут, и из-под него виднеется тонкое грязное белье и мясистая грязная грудь, на коей блестит золотой складень с прикрепленной к нему ладанкой.

Жена, не уступающая господину и владыке своему ни в крепости телосложения, ни в тучности, находится в состоянии полнейшего изнеможения: черные навывкате глаза ее полураскрыты; сердцеобразно сложенные уста полуотверсты; мало знакомые с мылом и водою, но залитые перстнями руки сложены на желудке; из-под шелкового платья цвета яркой лазури возвышаются две широчайшие подошвы в желтоватых дырявых чулках; мощная грудь украшена ожерельем из кораллов, между каждым зернышком коих чернеется слой грязи, свидетельствующий о том, что помянутое ожерелье нередко возвышает природные красы своей владетельницы; потное чело до половины скрыто под клетчатый, ярко-пестрым шелковым платком; она только время от времени тихо, протяжно вздыхает, рыгает с легким стоном или же оглашает воздух пронзительно-звонкою икотою.

– Нет-с, Ульяна Степановна, – говорит глава: – нет-с! такая только по обителям бывает! Уж ты лучше и не уверяй! Дома-то хошь ты в нее сто рублей всади, а все эдакого смаку не выйдет! Нет, шалишь!

Изнеможенная Ульяна Степановна, повидимому, желает протестовать, но протест заглушён жесточайшей отрыжкой,

после коей у нее как бы отшибает на несколько мгновений память.

– Нет, уж это ты не спорь лучше, – продолжает глава – лучше не спорь... такая только по обителям и бывает... А дома – дома невозможно... Хошь ты в нее сто рублей всади, так невозможно!..

Ульяна Степановна снова желает протестовать, и снова протест исчезает в икоте, которая разыгрывается в ней, как некая буря, и довольно долгое время потрясает ее, грозя обратить распарившиеся тела в безжизненную массу.

– Испей малинового! – повелевает глава. – Отдыхать этак нельзя!

Вслед за вышеозначенным повелением грудь его вздымается, и эхо повторяет громкое, протяжное, с мелкой трелью, безбоязненное и даже грозное рыганье, приличное главе и властелину.

Ульяна Степановна тщетно пытается заглушить обуревающую ее неумолимую икоту, крепко прижимая к устам свернутый в комочек платок.

– Говорят тебе, испей! – повторяет с сугубою внушительностью глава.

Ульяна Степановна шарит одной рукой вокруг себя в траве, другую не переставая удушать себя платком.

Обретши бутылку с «малиновым», она подносит ее к устам.

«Малиновый» успокаивает икоту; Ульяна Степановна

вдыхает и оттирает лицо.

– Нет, такие только по обителям бывают! – начинает снова глава. – Только по обителям, это верно. Дома хошь ты сто рублей в нее всади... Нет, только по обителям, это верно! Вернее смерти!

Ульяна Степановна, наконец, находит силы протестовать.

– Ну, уж вы очень к ней страстны, Иван Севастьяныч! – протестует она звонко и нараспев. – А как вы страстны, так вам уж и представляется, что такой подобной нигде больше не сыскать. А я вам скажу, что как постараться...

– Не говори! Не приказываю глупостей говорить! Никогда не приказываю! Ну, что ты тут скажешь такое? Только душой себя объявишь, больше ничего. А это мы давно знаем.

– Что ж, Иван Севастьяныч, не позволяете спорить, так я и не могу...

– Ну, позволяю! Ну, спорь со мной! Спорь!.. Что ж стала?

– Я говорю, как дома постараться...

– Ах ты, старательница!

– Рыбы купить лучшей, что ни на есть крупной да свежей...

– Ну, купи-ка рыбы, – хорошо!

– И приправ всяческих, тоже первого сорта...

– Ну и приправ первого сорта, – хорошо!

– И уж наблюдать...

– Ну и наблюдать – хорошо!

– Да так ведь не сговоришь с вами, Иван Севастьяныч!

Точно с душой с какой...

– С самой как есть не соленой, Ульяна Степановна!

Ульяна Степановна вздыхает, но более возражать не тщится.

Наступает несколько минут безмолвия.

– А меня так вот от нее тошнит маленечко, – заявляет Ульяна Степановна.

– Что ж такое, что тошнит?

– Переела, надо быть...

– Что ж такое, что переела?

– Да ничего...

– То-то ничего! И видно из всякого слова, что не соленая!

Снова Ульяна Степановна выпускает протяжный вздох, и снова водворяется на несколько минут безмолвие.

– Ты знаешь ли, что летось сюда приезжал на богомолье Никандрей Капитоныч, так что он говорил про нее? «Это, говорит, не уха, а жизнь, – не расстался бы!» Понимаешь? Так что ж ты толкуешь: тошнит! И жизнь не всегда сладка бывает, а все-таки она жизнь! Понимаешь?

Ульяна Степановна вздыхает и, задумчиво устремив кроткие взоры на главу своего и властелина, тихо начинает икать.

.....

Я вижу третью группу.

У безымянной могилы, заметной только по большой земляной насыпи, зеленеющей густой травой, в коей блестят два-ри яркорозовых цветка кашки, отдыхает мужичка-ста-

руха с другой, юной еще, женой из того же низкого сословия.

Лицо старухи изборождено глубокими морщинами; кожа почернела, имеет как бы землистый оттенок; глаза потухли; полосы убелила седина. Грубая ветхая рубаха покрывает ее широкие плечи; из-под синей понявы протягиваются утратившие всякую форму потрескавшиеся ноги.

Юная ее собеседница одета щеголеватее; на ланитах ее играет еще румянец здоровья; хотя она озабочена и невесела, но глаза ее еще светятся, еще обращаются вокруг пытливо и не безнадежно.

– Полно вам, бабушка! – говорит она: – полно вам горевать! Теперь, слава богу, получше... Можно порадоваться – порадитесь!

– Нет, дитячко! – отвечает старуха: – где уж мне радоваться! С позябла сердца кручинушки не смоешь!

– Да ведь все-таки теперь полегче стало...

– Полегше, дитячко.

– Дохнем повольней...

– Повольней, дитячко... Только уж ты не замирайся так, чтобы уж и полной грудью...

– Уж мы теперь не господские!

– Не господские? Эх, дитячко!

– Мы вольные!

– Вольные? А где пути-дороги этим вольным-то? Вот тебе все четыре стороны – поди-ка, на которой лоб-то уцелеет! Мы век прожили крепостными, и толкли нас весь наш

век: вы свой проживете вольными, только и вас толочь будут. Ступа только другая, а толченье то самое!

– Ну нет, бабушка! Теперь все не то... Теперь я пойду пожалуйюсь... все легче...

– Когда легче, дитятко, а когда и нет. Теперешним господам-то нешто мы в ножки не кланяемся? Правду-то нам как подачку какую дают. Дадут, да и похваляются: вот я мужичкам как порадел! И люби их мужички за это! Покажи-ка, что, мол, я тебя любить не хочу, так бед-то оберешься!

– А все теперь лучше, легче...

– Да пусть лучше, дитятко, пусть..., я ведь старуха мученая-перемученная: с позябла-то сердца ничем уж кручинушки не смоешь!

.....

Глава десятая

Дальнейшее пребывание в обители

В один прекраснейший осенний вечер я, побродив довольно между могилами монастырского кладбища, расположился на отдых и, по своему обыкновению, предался различным головоломным размышлениям.

Размышления в последнее время начали действовать на меня крайне болезненно.

Чем далее, тем мои мыслительные способности все более и более притуплялись. Если я начинал о чем-либо раздумывать, в голове моей, вместо последовательных мыслей, тотчас же образовывался некий, если смею так выразиться, моток запутаннейших нитей, и нити эти, при первом к ним прикосновении, обрывались так, что я не возмогал их связывать никакими узелками.

Если же я, невзирая на такие бесплодные результаты, продолжал упрямяться, голова моя начинала вся ныть, болеть и кружиться, тяжелое уныние овладевало моею душою, а мучительная истома – плотию.

В вышепомянутый прекраснейший осенний вечер я, как и всегда, пришел в такое печальное состояние духа и тела, начал вздыхать, потягиваться, опустил пылающую голову в прохладную густую траву, покрывающую могилы, и долгое время бесцельно блуждал взорами в окружающем меня про-

странстве.

Прямо предо мною возвышался мавзолей, украшенный громадным сердцем, пронзенным не менее громадных размеров стрелою, и я машинально начал разбирать следующую поблескивавшую надпись на нем:

**ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ СТРАННИЦЫ ПРАХ.
ЕЕ ПОРАЗИЛ ГОРЕСТНЫЙ ВЗМАХ!
ПОГИБЛА ОТ ВЗРЫВА ПИСТОЛЕТА,
ОТ РУКИ АТАМАНА И ПОЭТА!**

Равнодушно перечитывая этот краткий, но исполненный трагизма перечень событий в житии странницы, я равнодушно задавал себе вопросы, кто такая была эта «странница», равнодушно представлял себе «горестный взмах» и «взрыв пистолета» и равнодушно рисовал в воображенье образ «атамана и поэта», увековечившего себя столь злосчастливым поступком.

Но мало-помалу взмахи, пистолеты, странницы, золотые буквы, вечернее небо, атаманы и поэты, каменные изваяния, зелень трав и кустарников, все это начало путаться, мешаться, растягиваться бесконечными вереницами, сжиматься в шары и круги, снова разметываться во все стороны... и я забылся.

Не могу определить, долго ли я находился в этом забытьи, когда вдруг меня разбудил какой-то тихий, трудный, беззвучный кашель.

Первым чувствованием моим, как благосклонный чита-

тель, пробегающий эти строки, может себе представить, была тревога.

Быстро подняв голову и снова поспешно скрыв ее в траве, я притаил дыхание и с бьющимся сердцем прислушался, озираясь во все стороны сквозь колеблющуюся сеть могильных былий.

Прямо против меня, у подножия мавзолея «странницы», сидела черная фигура, встревожившая меня своим кашлем. Я как бы еще зрю ее пред своими очами.

Багряные лучи заходящего светила ярко ударили на мавзолей, и на желтом, иссохшем, изможденном лице сидящей монахини отчетливо обозначалась каждая морщинка. Совершенно потухшие глаза безжизненно, бесцельно, тупо устремлены были в пространство, костлявые бессильные руки сложены на коленях, темные, как полуистлевший пергамент, губы по временам тихо шевелились. Ничего гласящего о жизни не было в ней, и никакое самое художественное олицетворение смерти не могло более утрашить смертного, чем это, заживо отшедшее от мира и всех его радостей и печалей, наслаждений и мук, существо. Никогда застывший бездыханный мертвец, лежащий в гробе, готовый на погребение, не поражал меня так глубоко и болезненно, как эта дышащая, живая жена, беззвучно шептавшая привычные, затверженные молитвы. То была ужасная, способная навести трепет на неустрашимейшего, могила.

Толчок в мое левое плечо и дребезжащее восклицание

«господи помилуй!» над моею головою заставили меня откатиться в сторону от могильного холма, из-за коего я производил свои наблюдения.

Великопострижная, коей приближения я, всецело отдавшийся созерцанию в другую сторону, не заметил, споткнулась за мою брэнную оболочку, совершенно скрытую, так сказать, потонувшую в густой, высокой могильной траве.

– Господи спаси и помилуй! – повторила она, поспешно и многократно осеняя себя крестным знамением. – Да воскреснет бог и расточатся врази его... и да бежат от лица его...

Вся ее малорослая скелетообразная фигура, окутанная черными монашескими одеяниями и покрывалами, выражала крайнее недоуменье и великий испуг. Лихорадочно блестящие очи были неподвижно устремлены на место, где я лежал.

Сообразив, что убежище мое открыто, и желая по возможности если не предупредить, то по крайней мере смягчить необходимо должествующее произойти следствие, я поднялся.

– Кто ты? откуда ты? чего ты здесь прячешься? Подойди ближе! Подходи, подходи! Говори! говори!

И, произнося вышеприведенные вопрошания и повеления задыхающимся шепотом, она быстро подступила ко мне и крохотными костлявыми перстами вцепилась в мои одежды.

Я в кратких словах тщился объяснить ей, кто я, откуда и каким образом сюда попал, но она порывисто прерывала мои объяснения бесчисленными, не идущими, или только косвенно идущими к делу выпытываниями.

– Где родители? – шептала она. – Как зовут? Сестры есть? Братья есть? Давно мать померла? Какой болезнью? Когда отец Михаил дожидает преосвященного владыку? Оплакивал покойную супругу? Приданое назад взяли? А девочка здорова? В мать или в отца?

И при каждом моем ответе она быстро закрывала и открывала очи, быстро сжимала и отверзала уста свои и порывисто, глубоко вздыхала, уподобляясь изнемогающему от мучительной жажды и жадно схватывающему капли росы, случайно падающие и освежающие его пересохшие губы.

Я не без неудовольствия отражал частый град ее вопрошаний наивозможно краткими ответами, стараясь улучшить благоприятный для моего удаления миг, как внезапно одно из этих ее вопрошаний заставило меня вострепетать, приковало к месту и исполнило пламенным желаньем продолжать елико возможно далее разговор с получившею неожиданный интерес собеседницей.

Она помянула драгоценных мне Настю и Софрония!

– Вы ее видели? – воскликнул я с неудержимым порывом горести и надежды.

– Видела... Так она все там? Не постригается? Не хочет?

– Где видели? Когда видели?

– Говорят: опять бежать хотела. Может, убежала? А его-то куда? В каторгу? Правда, что в каторгу?

– Кто сказал? Где она? Где он? – восклицал я, чувствуя, что мысли мои мутятся от страстного, но бесполезного стремленья обрести какое-нибудь сведение, поймать какую-нибудь путеводящую нить в этой бездне, извергающей потоки отрывистых вопрошаний. – Где она? Где он?

– А много украл-то он? С чудотворной иконы все камни отыскались?

– Где он? Где она? – повторял я в безумном отчаянии.

Если бы я, растерзав это существо, мог вырвать из него то, что жаждал узнать, то мню, что в тогдашнем моем состоянии духа я бы не усомнился совершить подобное злодеяние.

– Мать Мартирия! – произнес за мною беззвучно, но выразительно укоряющий голос, – мать Мартирия!

Я быстро обернулся и увидел черную фигуру, сидевшую перед тем у мавзолея «странницы» и так поразившую меня своим видом.

Но в эту минуту она потеряла для меня всякое значение, не возбуждала ни удивления, ни страха, и если я обратил пытливые взоры на ее изможденный лик, то с единою целию, с единым упованием, не добыюсь ли я от нее, чего не возмог добиться от беседовавшей со мною матери Мартирии, то есть не уловлю ли какого-нибудь, хотя бы отрывочного сведения о драгоценных моему сердцу людях.

– Ах, мать Фомаида, – воскликнула мать Мартирия, – это

служба отца Михаила, сынок терновского дьякона... он знает...

– Мать Мартирия, – прервала Фомаида, – все ты о земном, все о тлени...

И впалые очи ее вспыхнули.

Невзирая на конечное расстройство моего духа, я, однако, немедленно уверовал из первых этих слов, что предомною не лицемерная грешница, прикрывающая соблазнительные деяния благочестивыми восклицаниями, а искренняя подвижница.

– Ах, мать Фомаида! Ах, мать Фомаида! – воскликнула мать Мартирия с глубокими вздохами, всплескивая руками и опуская голову, как стократ провинившаяся в одном и том же, стократ уличенная, истощившая все имевшиеся оправдания и не могущая обрести новых.

– Ты за мной пришла, мать Мартирия?

– За тобою, мать Фомаида. Сестра Феофила совсем плоха!

– Приобщили святых тайн, мать Мартирия?

– Приобщили, мать Фомаида.

– И пособоровали, мать Мартирия?

– И пособоровали, мать Фомаида. «Желаю, говорит, видеть мать Фомаиду... Хочу, говорит, ей слово сказать...»

Мать Фомаида тихо направилась по тропинке через кладбище к отдаленному ряду монашеских келий. Мать Мартирия, охая и вздыхая, последовала за нею.

Я, постояв некоторое время в томительной нерешимости,

бросился за ними и скоро настиг мать Мартирию у двери одной келии, в узком душном коридоре.

– Ах! ах! ты зачем сюда? – воскликнула мать Мартирия.

– Не гоните! не гоните! – взмолился я, источая обильные слезы и удерживая ее за развевавшиеся черные покрывалы.

– Да ты зачем же это? – воскликнула снова мать Мартирия.

– Не гоните! не гоните! – снова молил я, хватая полы ее одеяний.

– Что ты! что ты! Уходи ты, уходи!.. – воскликнула мать Мартирия.

– Если вы меня гоните, так я... так я...

Я сам не знал, что я предприму, и, выпустив из рук полы ее одежд, в безумии отчаяния, облитый слезами, воспаленный, устремился в пространство.

– Постой! постой! – воскликнула мать Мартирия, настигая меня и улавливая. – Постой же!.. Куда бежишь?

В ответ на эти вопрошания я мог только с сугубейшею страстию зарыдать.

– Ах, господи! спаси и помилуй! – воскликнула мать Мартирия. – Да полно же, полно!.. Чего тебе надо-то? Ведь у меня ничего нету, а то бы я тебе дала... Полно рыдать-то, полно... Ах, господи! спаси и помилуй!

Что было далее, я могу рассказать только со слов матери Мартирии, ибо от невыносимых скорби и волнений потерял чувство и не помню, как она перенесла меня из коридора и

приютила.

Я опомнился уже в узкой, тесной келий. Слабый свет лампы озарял своим мерцанием почерневшее от времени большое распятие в углу, голые стены, черную, малых размеров, словно детскую, рясу на гвоздике, деревянную скамью, псалтырь на столике, истершийся ветхий пол...

– Ах, слава тебе господи! слава тебе господи! – воскликнула мать Мартирия, едва только я, старающийся собрать и привести в порядок свои мысли, пошевелился. – Что, полегчало тебе, сердешный?

Наклоненное ко мне крохотное костлявое личико дышало состраданием и участием, блестящие беспокойные глаза, еще полные недавно проливаемых слез, глядели на меня милосердно...

Эти нежданно встреченные мною теплые чувства потрясли меня столь глубоко, что ослабевшая голова моя снова закружилась, мысли снова начали мутиться и путаться. Сладостные картины невозвратного прошлого вдруг замелькали предо мною, милые ласковые образы затеснились около меня, любимые звуки дорогих голосов раздавались снова...

Сердце мое мучительно заныло, слезы неудержимо хлынули, подобно водам переполненного источника, вдруг пробившего себе русло...

– Полно, сердешный, полно! Ах, господи! Ах, господи, спаси и помилуй! – лепетала мать Мартирия, когда я, оправившись от вторичного припадка, возвратился к действи-

тельности, – полно, полно...

– Скажите мне, где они? – воскликнул я. – Скажите! скажите!..

– Кто, сердешный? кто?

– Настя... Софроний... Скажите!

– Сказала бы, голубчик, да не знаю!

– Не знаете? Вы знаете!

– Полно же, полно... Не знаю, сердешный! Я бы тебе сказала! Как бог свят, я бы сказала!

Она, очевидно, не лукавила. Ярко сверкнувший луч надежды снова угас.

– Расскажите мне все, что про них слышали!

– Да полно же, сердешный, полно! Я все расскажу... Полно...

Сознавая, что для толкового соображенья драгоценных сведений необходимо утишить рыданья и остановить слезы, я превозмог одолевающие меня чувствования и настолько победил волнение, что с наружным спокойствием мог внимать матери Мартирии.

– Я слышала, что она из монастыря-то хотела бежать, да поймали...

– Из какого монастыря?

– Из Кущинского.

– Это далеко отсюда?

– Не знаю, голубчик, не знаю!

– Кто ж это говорил, что она хотела бежать?

– Да все у нас толковали...

– А они от кого узнали?..

– Приезжала, говорили, черница из Кущинской обители, и говорила эта черница, что ее в другую обитель хотят послать.

– Настю послали в другую обитель?

– Да, голубчик, в другую...

– Куда?

– А вот запомятовала, как эта обитель прозывается!

– Может, вспомните?

– Может, вспомню...

– А если не вспомните, так вы спросите... Спросите?

– Спрошу, спрошу...

– А про Софрония что слышали?

– Да вот хотел украсть он чудотворную икону...

– Неправда! – воскликнул я с неудержимым гневом.

– Ах, сердешный, что ж это ты так затрясся-то! Опять на тебя находит?

– Неправда! Он не хотел украсть! Он... он...

Я не возмог продолжать.

– Полно, полно...

– Что же вы еще слышали?

– Ну вот, его судить хотели... а потом на каторгу...

– Где же его судили?

– Уж не знаю где, голубчик. Кто говорит, к самому преосвященному представили, а кто говорит, в острог отвезли.

– Далеко это?

– Далеко...

– И вы больше ничего не слышали?

– Больше ничего...

– И теперь ничего не говорят?

– Ничего не говорят, голубчик, ничего... Теперь только про отца Михаила говорят, про него только и речь идет...

Отчаяние, как некий лютый зверь, на минуту приостановленный в своем яростном стремлении, с новой силой подавило меня.

Долгое время не внимал я увещаньям матери Мартирии, долгое время бесполезно раздавались надо мною ее «полно, полно, сердешный!»

Но всякие скорби и огорчения, даже у людей, к ним не привычных, утихают в своем проявлении, я же, уже не раз изведавший душевные муки и почитавший за чудо не оные, а скорее противоположные им ликования радости, успешнее не испытанных горестями пришел в свое, уже давно мне обычное состояние тихой, безнадежной, тупой печали.

– Ах, хлопчик, хлопчик, чего ты так убиваешься! Сердешный ты мой! весь изойдешь ведь слезами! Полно! полно...

И она, одною рукою поспешно отирая катившиеся слезы, другою тихонько прикасалась то к моей ланите, то к моим волосам.

В этих ее ласковых прикосновениях проявлялось величайшее смущенье, неловкость и вместе удовольствие, кои не ускользнули даже от моей детской наблюдательности, невзи-

рая на все мое душевное расстройство.

– Такие, совсем такие глаза! И брови такие! – шептала она. – Совсем такие!

– Какие? – спросил я.

– Как у моего крестничка... у сестриного сына... Я его крестила... Давно, давно это было... Жив ли, не знаю... Живы ли они все?.. Ничего не знаю, ничего...

– Где ж они? – спросил я снова.

– Далеко-далеко-далеко... Ах, господи! спаси и помилуй! спаси и помилуй!

И она порывисто начала творить крестное знамение. По лицу ее струились слезы, уста трепетали.

– И нельзя с ними вам увидаться? – спросил я: в уме моем зародилась мысль, не постигла ли и ее, как меня, какая-нибудь насильственная разлука с милыми сердцу.

Она хотела нечто вымолвить, но вместо слов у нее вырвалось рыдание.

Я уже изведаль минуты, когда легче рыдать, чем словами выражать свои горестные чувствования, и потому не докучал матери Мартирии дальнейшими вопрошаниями.

– Во имя отца и сына и святого духа, – раздалось за дверью келии.

Я тотчас же узнал, хотя слышал единый раз в своей жизни, беззвучный голос матери Фомаиды.

Мать Мартирия вскочила, поспешила утереть слезы и слабо ответила:

– Аминь!

В эту минуту я, испуганный мыслию утратить возможность общения с единственной особой, которая отнеслась ко мне с любовью, обвил руками ее шею и отчаянно начал ее молить не гнать меня.

– Нет... нет... нет... – прошептала она.

– Мать Мартирия, – сказала вошедшая мать Фомаида, – сестра Феофила отошла. Погребение завтра.

– Я сейчас, мать Фомаида, я сейчас, – отвечала растерянная мать Мартирия. – Вот мальчик, мать Фомаида... Вот мальчик... больной... Я его здесь положила... Совсем хворый...

Мать Фомаида на мгновение обратила ко мне изможденный лик свой и устремила на меня потухшие, безучастные свои очи.

– Коли труден, то надо его приобщить святых тайн, мать Мартирия, – произнесла она.

– Может, ему полегчает, мать Фомаида... Жаль мальчика!

– Отчего тебе его жаль, мать Мартирия? Он еще отрок, на нем тяжких грехов нет. Не жалеть ты должна, а радоваться!

– Ах, правда, мать Фомаида, правда... – пролепетала мать Мартирия. – Ах, господи! спаси и помилуй! спаси и помилуй! Я сейчас, мать Фомаида, я сейчас...

Мать Фомаида удалилась.

– Ты тут лежи смирно, слышишь, голубчик? – прошептала мать Мартирия, наклоняясь надо мною. – Я скоро приду.

Больно лежать-то?

Она оглянула всю келию, после минутного колебания схватила висевшую на гвозде рясу и прикрыла ею меня, приговаривая:

– Больше-то ничего нету... ничего!..

– Не надо, не надо! – просил я, смущенный и растроганный.

– Полно, полно, голубчик, – шептала она. – Лежи смирненько... Вот водица в кружечке... Я скоро приду... я скоро...

Она напечатлела тихий, чуть слышный поцелуй на моей ланите, затворяя двери еще раз взглянула на меня с заботою и приветом и скрылась.

Я остался один, – и остался, невзирая на все быстро родившееся и быстро укрепившееся расположение мое к матери Мартирии, невзирая на отраду после долгого совершенного одиночества видеть около себя существо, преисполненное участия и милосердия, – охотно.

Распростертый на жестком отшельническом ложе, обозревая голые стены тесной келии, я не желал быть перенесенным в пышные чертоги, очи мои закрылись бы от всякого другого света, кроме мерцанья келейной лампадки...

Неведомый доселе грустный мир снисходил на мою истерзанную, ноющую душу.

Вдруг взоры мои остановились на большом черном распятии в углу.

Я наизусть безошибочно знал весь порядок церковных треб, я без запинки мог прочесть все молитвы, мне были знакомы все акафисты, известно грехопаденье прародителя нашего Адама, построенье Вавилонской башни и происшедшее от того смешение языков, воскресенье Лазаря, нарожденье праматери Евы из ребра Адамова, явленье Гавриила с масличною ветвию, поклонение волхвов; но личность искупителя рода человеческого, вследствие запутанных объяснений моего родителя, представлялась мне смутно, и я много о ней никогда не думал. В этот вечер впервые меня поразила эта почерневшая, увенчанная тернием, распятая на кресте фигура; чем более я всматривался в склонившуюся к плечу страдальческую главу, в капли крови, скатившиеся из-под тернового венца, в закрытые очи, в пригвожденные руки и ноги, тем она влекла меня сильнее. Притягиваемый некоею неизъяснимою силою, я приподнялся, затем встал с ложа, затем приблизился к самому распятию...

Отрывочные черты, когда-то случайно заронившиеся в памяти и заглушенные, быстро ожили и озарились новым светом...

– Так вот эти бледные уста, получившие предательский поцелуй Иуды! Вот святые...

(Потеряны листки из записок.)

..... и наступило безмолвие.

– Отходит! – шепнула мать Мартирия и заплакала.

Молодое лицо, страшно искаженное жестоким страдани-

ем, некоторое время оставалось совершенно неподвижным, как бы окаменевшим.

– Не отошла? – шепнула мать Мартирия. Мать Фомаида все читала молитвы.

Внезапно умирающая открыла очи, губы ее зашевелились, и она невнятно проговорила:

– Хотя бы денек еще пожить! Жалко!.. Послушайте... послушайте... жалко!

– Чего тебе жалко? Тебе жалко грешного мира? – спросила мать Фомаида, прерывая молитвы и наклоняясь к пей. – Радуйся, что господь зовет тебя! Все здесь грех, все тлен!

– Жалко! Жалко! – тихо стонала умирающая.

– Подумай о душе своей! Обратись ко господу! Все земное – прах, пыль...

– Жалко!.. жалко!..

– Слышишь: прах, пыль!..

Эти неоднократно повторяемые отрывистые слова, не отличающиеся при передаче их на бумаге ничем от обыкновенных иноческих возгласов, имели в иссохших устах ее невыразимую силу и как бы мечом пронзали мою душу.

Мучительное томленье выразилось на лице умирающей, губы слабо пошевелились, но уже из них не вылетело ни единого звука, и очи медленно сомкнулись...

– Все прах, пыль, тлен! – повторяла мать Фоманда, – все прах, пыль, тлен!

– Отошла! – прошептала мать Мартирия...

(Потеряны листки из записок.)

...читил несравненно выше, чем мать Мартирию, невзирая на все сердечные обо мне заботы последней и ее бесконечную мягкость и доброту. Мать Мартирия была для меня милосердною, благочестивою смертною, не изъятою от некоторых, хотя и не предосудительных, свойственных всем смертным, слабостей, мать же Фомаида – идеалом, к которому я начинал стремиться. Меня трогало волненье матери Мартирии при виде страждущих, теплое участие, кое она принимала во всяком огорченном или обиженном, но трогало, так сказать, против моей воли. Презрение же матери Фомаиды ко всему земному, ее отрешение от всех общечеловеческих интересов и страстей исполняло меня неким, если позволено так выразиться, мрачным энтузиазмом. Я знал, скольких трудов, неусыпных забот и находчивости стоило матери Мартирии, при ее убожестве и истинно постническом житии, приобретение для меня всякого лакомого куска, я мог ценить все эти знаки любящего сердца, но никогда подобное не заставляло меня трепетать, как трепетал я при матери Фомаиде. Приветливые взоры, на меня обращавшиеся, не имели и сотой доли влияния взоров, устремленных к небу. Меня не занимали одушевленные сообщения матери Мартирии о текущих как монастырских, так и проникающих сквозь стены обители светских новостях, которыми она, невзирая на искреннейшее желание отречься от всего, выходящего из тесного круга подвижнической иноческой жизни, была поглощаема,

но односложные слова матери Фомаиды: «прах, пыль, тлен» производили на меня неотразимое, магическое действие. В тишине ночи, при свете дня я часто повторял их. С почтением, с замиранием сердца я по целым часам прислушивался, притаившись в смежной с ее келиею келье матери Мартирии, как она глухим голосом читает молитвы. Я содрогался при ее пламенных, тихих возгласах «господи! помилуй мя!» и невольно повторял эту мольбу за нею...

Однажды, в холодную погожую зимнюю пору, я стоял у вечерни. По храму, погруженному уже в сумрак и слабо освещавшемуся небольшим количеством трепетных лампад и темножелтых тоненьких восковых свечей, слабыми струями волновался дым кадила. Я долго и пламенно молился, затем, утомленный продолжительным духовным напряжением, обратил натруженные созерцанием темных святых икон очи к храмовым окнам, в кои яркий пурпур вечернего заката врывается, как пламя пожара, озаряя огненным светом блестящую пелену снегов.

Внезапный жар и хлад объял меня...

Приклоняясь слегка головою к стене, у окна неподвижно стояла высокая, мощная, статная, незабвенная фигура Софрония!

Я не верил собственным очам своим и провел по ним трепещущей десницей...

Нет, это не обман зрения! Это он! Мне ли не узнать его! Дрожащими стопами я начал пробираться к нему ближе.

В храме было немногочисленно; я знал, что зоркие, любопытные очи инокинь тотчас же меня заметят и, при первом моем неосмотрительном движении или взоре, заподозрят.

Подобно преследуемому татю, я тихо, незаметно подвигался вдоль стен, ежеминутно останавливаясь как от страха быть угаданным, так и от невыносимого сердечного биения.

«Как он здесь? Зачем здесь? Что сотворилось? Где Настя?»

Жестокое недоумение, ум помрачающее восхищение, палящее нетерпение, томительные опасения пожирали меня.

Я уже достиг ближайшего к входным дверям угла и приостановился, задержанный барским семейством запоздавших богомольцев, обращая жадные взоры на остающееся перейти пространство. Еще несколько десятков осторожных шагов, и я мог быть около драгоценного мне человека, мог говорить с ним!

Вдруг впереди меня проскочила юркая, как мышь, мать Секлетя, что заставило меня со всевозможною быстротою попятиться и стушеваться за группой молящихся старушек.

Когда я счел безопасным снова выдвинуться и устремил чающие взоры на место, где пред тем находился драгоценный предмет, к которому я стремился, это место было уже пусто.

Я озирался во все стороны и, забыв все предосторожности, поспешно метался по храму.

Раз у самого выхода мелькнула, мне показалось, высоко над всеми прочими головами знакомая курчавая, темная го-

лова... Я ринулся к выходным дверям...

Никого!

Мимо меня скользнула черная ряса, мелькнула остроко-
нечная шапочка...

Не сознавая, что творю, я схватился за развевающиеся
иноческие одежды поспешающей матери Секлетеи.

Мое дерзкое обращение не было, повидимому, ею замече-
но. Она ограничилась тем, что вырвала у меня свои полы и
исчезла в начинавшей выходить из храма толпе, как ящери-
ца в расщелинах стены.

Я, отчаянно протолкавшись, выбежал на крыльцо – все
тропинки, идущие от храма по двору обители, были белы и
пусты!

Я остановился на последней ступеньке и с трепетом стал
всматриваться во все лица...

Его не было!

Я, спотыкающийся, задыхающийся от обуревавших меня
смятенных чувств, обследовал все углы и закоулки, прини-
мая каждое дерево за искомый желанный предмет, пронесся
зигзагами по обнаженному, занесенному снегом саду обите-
ли, снова примчался к дверям храма и нашел их уже запер-
тыми.

В отчаянии я опустил на церковное крыльцо, старался
собраться с мыслями, но не мог и только в жестокой скорби
повторял:

– Где искать?

Холодная, звездная, сверкающая зимняя ночь не давала ответа, но она благотворно на меня подействовала, освежив мою разгоряченную голову.

Я направился к келии матери Мартирии. Если кто что-либо знал о прибытии Софрония, то знала и мать Мартирия, если же она и не знала, то всех лучше могла споспешествовать мне в моих розысках. В ее готовности я нимало не сомневался.

Я нашел мягкосердечную, заботливую обо мне инокиню на тропинке, ведущей от ее келии в обитаемую мною часть обители.

Съезжившаяся от ночного холода фигурка ее казалась еще крохотнее и хрупче; вытянув тоненькую шейку, она порывисто, беспокойно озиралась во все стороны.

– Это ты? – воскликнула она, увидев меня. – Господи спаси и помилуй! Где ж это ты был? Что ты такой? Иззяб! Иди, иди, погрейся! Вот просвирка...

Приняв торопливо сунутую мне в руки просвирку, я последовал за матерью Мартириею в ее келию.

Мать Мартирия проворно поместилась на своем обычном месте, как всегда защитила десницею слабые очи свои от тусклого света лампы, как всегда испустила многие порывистые вздохи, воскликнула многократно и приготовилась внимать моему обычному громогласному чтению псалтыря.

Но я, не притрогиваясь к псалтырю, тихо шепнул ей:

– Софроний здесь.

Она встrepенулась, как от действия электричества, и торопливые вопрошания ее неудержимо посыпались, подобно мгновенно оборванной снижке ожерелий.

– Здесь? здесь? Где? зачем? Ты видел? Что ж он сказал? К отцу Михаилу пришел? А мать игуменья что? А владыко что?

Я в кратких словах сообщил ей о событиях и умолял ее помочь мне отыскать следы на мгновение показавшегося и исчезнувшего друга.

Кроме любви ко мне этой одинокой отшельницы, привязавшейся к незащитному, как она сама, существу со всею силою нежного, пылкогo, долго занятого одними, уже значительно утратившими свежесть, воспоминаниями сердца, мне еще много помогло и упорно коренящееся в ней живое участие к мирским житейским делам, происшествиям и интересам.

В одно мгновение она снова облеклась в свои покрывала и, шепнув мне сидеть смирно и ждать, исчезла за дверью.

Я прислушивался к ее быстро удаляющимся по скрипучему снегу шагам, пока они стихли.

Келия, где в последнее время я обретал мир и спокойствие, где находил отраду, показалась мне душною; я решил, что ожиданье на открытом воздухе представляет более удобств, и уже приблизился к выходу, когда «во имя отца и сына и святого духа», произнесенное за дверью, заставило меня остановиться.

То была мать Фомаида. При виде этого моего идеала последнего времени я смутился, и сердце мое томительно сжалось.

«Все прах, пыль, тлен!» – зазвучало у меня в ушах. Я веровал в эти слова, но чувствовал, как еще могущественно управляет слабым сердцем моим этот «прах, пыль, тлен», как они для меня мучительно дороги!

Я подошел под благословение. Она благословила меня, и тотчас же взоры ее обратились на псалтырь.

– Я нынче не читал, – проговорил я, поняв этот взгляд и отвечая на него. – Я...

Она ждала, устремив на меня впалые очи свои.

Оправданий у меня не было. Собравшись с духом, я прямо покаялся ей, что видел неожиданно Софрония, что он внезапно куда-то скрылся и что я жажду снова увидеть его.

Очи ее вспыхнули и расширились.

– На что тебе он надобен? Оставь его! оставь мирское! спасай душу! помни о душе!.. Не ищи сокровищ на земле!.. Червь и тля тлит, тати подкапываются и крадут!..

(Потеряны листки из записок.)

Глава двенадцатая

Новый переворот в моем житии

Томительная, долгая зима приблизилась к концу. Весна тихо подступала. Отправляясь к утренней или вечерней службе, я по временам вдруг останавливался, чувствуя пахнущую на меня невесть откуда струю теплого мягкого воздуха, и долго стоял в болезненно сладостном томлении, закрывая очи, утомленные сверканием золотых окладов и горящих свечей и лампад, от блеска весеннего дня, поджидая, не пахнёт ли она снова, затем, спохватившись, поспешал на молитву, сурово повторяя про себя:

«Новый потоп придет и омоет землю, и тогда она опять станет чистой и хорошая, а теперь... Теперь тут одно беззаконие!»

Чем далее, тем сильнее развивалась во мне некая восторженная свирепость, помрачавшая и без того слабый детский ум.

Меня теперь уже не трогали, как в недавнее еще время, ни горе людское, ни нищета, ни посрамление, ни угнетенье; я равнодушно взирал на страждущих тяжкими недугами как физическими, так и нравственными; при виде беспомощного старца я подозрительно начинал соображать, сколько в течение долгих лет он сотворил беззаконий, цветущие юностию, богатые силою люди представлялись мне наиусердней-

шими угодниками сатаны, причем я уповал, что в должный час они получат за то достойную кару; в бессмысленных младенцах я уже преследовал грех прародителя нашего Адама. Бывалой младенческой мягкости и нежности чувствований во мне не оставалось признака. При встрече с моим ближним я теперь прежде всего изыскивал в нем преступлений против заповедей господних, перемешивая смысл священных ветхозаветных скрижалей с толкованиями руководящих мною престарелых отшельниц, и заботился о соответственной этим преступлениям каре. Ни единый древний, средневековый или современный ревнитель «истинной», по его разумению, веры не превзошел бы меня в наивном бесчеловечии, ни единый гонитель еретиков не возмог бы с вящими ясностью духа и усердием повертывать грешника в кипящей смоле. Подобно бессмертной своею святою простотою старушке, подложившей сухих щепочек к костру Иоанна Гусса, я с благоговейною, если позволено так выразиться, кровожадностью во всякий час дня и ночи готов был устремиться с целой охапкой горючего материала для распаленья сожигающего беззаконников огня.

Ежели изредка, робко, неясно дерзали возникать предо мною прежде искушавшие меня «зачем» и «почему», то, едва возникнув, исчезали, спугнутые гневным приказом не испытывать уму непостижимые законы.

Я строго постился, безжалостно истязал свою плоть, клал определенное число покаянных поклонов, молился до бес-

чувствия; мысли мои были запутанны и мрачны, какая-то холодная свинцовая гора с зари вечерней до зари утренней мучительно давила меня. Я ходил смиреннее ползущего червя, но внутри меня бушевало какое-то непонятное мне самому невыносимое раздражение. Силы мои значительно подались, и прежняя здоровая, неутомимая резвость заменилась унылою медленностию с проблесками лихорадочной порывистости. Я то страдал несносной бессонницей, то впадал по целым суткам в некую болезненную дремоту. Ночные грезы являли мне одни ужасы. Я ничего не желал, ни к чему не стремился, кроме неопределенно вдалеке, в высоте, в тумане рисовавшегося отдохновения на лоне Авраама, и нигде не возмогал снискать хотя бы минутного покоя.

Однажды, во время долгой великопостной вечерней службы, силы мне внезапно изменили, и меня бесчувственного вынесли из храма.

Свежий воздух скоро привел меня в память, но незнакомые лица усталых богомольцев, унизывавших все ступени церковного крыльца, где меня посадили, крик и плач детей, мерное, несколько пронзительное и гнусливое чтение, доносившееся из храма, пронизывающий запах жасминной помады, умащавшей вычурную прическу недалеко от меня помещавшейся молодой купчихи, произвели на меня столь душепретящее впечатление, что я машинально приподнялся, шатаясь спустился со ступенек и побрел в уединенную часть обительского сада.

С трудом передвигая подкашивавшиеся ноги, я инстинктивно стремился дальше, дальше и дальше. Голова моя горела, мысли путались, в сердце kloкотали какие-то нестерпимые горечь и смятение.

В таком состоянии я достиг каменной ограды, отделявшей монастырский сад от прилежащих полей, и в бессилии опустился на землю.

Не возмогу определить, сколько времени я оставался в таком расслаблении, но вдруг с сладостным ужасом почувствовал, что меня как бы охватывает некая чудесно животворная сила. Я вдруг стал на ноги, огляделся кругом и, заметив невдалеке пролом в каменной ограде, поспешно к нему приблизился. Столь страстное, непреодолимое желание вдруг потянуло меня кинуть взгляд на места, находившиеся за этою оградю, что, прежде чем я успел вспомнить данный мною обет никогда не выходить, ниже взирать за черту обители, я уже стоял у пролома и, облокотясь о замшившиеся камни, жадно вдыхал теплый влажный воздух, наполненный ароматом развертывающихся тополей, жадно пожирал взорами шумно бегущие воды реки под зазеленевшейся обрывистой горой, расстилавшиеся за рекою влажные, испещренные весенними полями луга, черные поля, над которыми стоял легкий пар, ближнюю кудрявую опушку темного бора, местами насквозь прохваченную играющими лучами дневного светила, синеющие леса, резко вырезывавшиеся на голубом горизонте очертания далеких горных вершин, жад-

но прислушивался к гремучим полноводным потокам, весело стремившимся с соседних скал...

Опомнившись, я было отшатнулся от искусительного вида свежего простора, хотел отвратить ослепленные прелестью очи, хотел пожелать нового потопа, долженствующего омыть нечестивую землю. Я пробормотал, но скорее трепетно, чем сурово:

– Придет второй потоп и омоет землю, и тогда земля будет чистая и...

Но я не окончил.

Глубокая синева лазури сияла в высоте, теплую землю обливали мягкие лучи солнца, какие-то темные пташки быстро реяли в благодатном воздухе, тихие заводи блистали, песчаные излучистые речные берега золотились, в камыше что-то словно звякало, отсюда неслись какие-то неясные пленительные весенние звуки, отсюда налетали живительные весенние веяния, все начинало воскресать, все гласило не о смерти, а о жизни – о кипучей, радостной жизни!

Я склонился головою на ограду, и обильные слезы полились на старые камни.

– О чем ты плачешь? – вдруг раздался около меня мужественный, звучный, но сдержанный голос.

Я быстро приподнялся, вскрикнул и с трепетом устремил взоры на стоявшего по ту сторону ограды высокого человека.

– О чем ты плачешь? – повторил он.

Да, это давно не слышанный, но незабвенный голос! Да,

это давно не виденная драгоценная мощная фигура! Нет, это обман глаз! Где отвага, которой дышала каждая черта знакомого любимого образа? Где самоуверенность гордой силы, разлитой во всем существе? Где свежесть и здоровье? Не был погнут стройный, крепкий стан, но такие жалкие лохмотья никогда не покрывали его! Неужто это потемневшее, изнуренное, измученное, покрытое пылью лицо озарялось когда-нибудь счастливою улыбкою? Неужели эти глубокие впалые очи бросали когда-то пламенные взоры?

– Софроний! – вскрикнул я с рыданием. – Софроний! вы это? вы?

Он слеза вздрогнул и поспешно проговорил:

– Тише, тише...

Затем чутко прислушался.

Я, не сводя с него очей, восхищенный и вместе не доверяющий своему благополучию, смиренный и трепещущий, тоже насторожил слух.

Но все было тихо вокруг. Клейкие, не вполне еще развернувшиеся листочки тополей, разраставшихся в этой части сада, неподвижно блестели со всех сторон; изогнутые ветви яблонь, изобильно усыпанные темнорозовыми почками, не шевелились; как раз над нашею головою раздавались отрывочные, слабые, веселые нотки еще не расщебетавшейся пташки.

Он обратился ко мне и, пристально глядя мне в очи своими впалыми мрачными очами, спросил:

– Ты меня знаешь? Откуда ты? Что ты здесь делаешь? Тебя кто послал?

Но прежде, чем я успел выговорить свое имя, он уже признал меня, вздрогнул, схватил меня за плечи, как бы ожидая от меня чего-то, могущего обратить его суровую скорбь в радость, понял, что ждать подобного нечего, улыбнулся приветливо, но так болезненно, что улыбка эта пронизала мое сердце как некое острое копье, – мнилось, он, окинув меня взглядом, вместе с тем окинул взглядом и все им утраченное, – и сказал:

– А! Тимош, старый друг, я сразу не признал тебя! Что ты тут делаешь?

Я хотел отвечать, объяснять, но не находил голоса, голова кружилась, мысли путались, все существо мое трепетало и замирало от наплыва горестных и радостных чувствований. Я мог только простереть к нему дрожащие руки и снова зарыдать.

Он не убеждал меня, как то обыкновенно делают с недостигнувшими зрелого возраста или недостаточно для этого возраста установившимися, а только наклонился ближе, так что я мог обхватить его шею и с несказанною признательностию и беззаветною преданностию прижаться к его груди.

Когда я несколько овладел собою и в бессвязных словах оповедал ему все случившееся и все виденное, слышанное, прочувствованное и предполагаемое мною со времени нашей разлуки и читателю уже известное из предшествующего

моего повествования, он сказал:

– Тебе надо уходить отсюда.

– Я уйду! – ответил я, вдруг преисполняясь целым сонмом каких-то неясных, но окрыляющих упований, которые не имели ничего общего с недавно еще призываемым мною вторым потоком для омовения грешной земли, и инстинктивно цепляясь руками за каменную монастырскую ограду и сясь за нее перебраться.

Ом, с бывалою легкостью мощного телом и бодрого духом здорового человека, приподнял меня и пересадил за черту обительского сада.

– Я уйду! я уйду! – повторил я в ликовании сердца. И в то же время думал:

«Он исхудал, и почернел, и изморился, но он такой же сильный, как и прежде! Он так же – почти так же – поднял меня теперь, как тогда, когда я приходил от Насти! Настя! Где Настя?»

С той минуты, как я узнал его, мысль о Насте неотступно была при мне, но я не решался вымолвить незабвенного имени. Теперь ее пленительный, любимый образ восстал предо мною столь болезненно живо, что внезапно воспрянувший дух мой мгновенно свергся с высоты ликования в бездну уныния. Я запнулся и с безмолвною тоскою обратил взоры на драгоценного собеседника.

– Куда же ты пойдешь? – спросил он.

– Не знаю, – отвечивал я с трепетом. – Возьмете меня

с собою?

Он горько усмехнулся и, пристально глядя на мое смятенное лицо, спросил:

– А ты знаешь, куда я иду?

– Нет... Только это все равно, все равно, – ответствовал я с поспешностью: – я всюду с вами пойду, всюду, всюду...

– А как мне никуда дорог нету? Как все пути заказаны?

– Возьмите меня! – воскликнул я в порыве жестокого отчаяния. – Возьмите!

Он внял исполненному страстной тоски молению и сказал:

– Хорошо. Что дальше делать, увидим. Чем скорее ты отсюда выберешься, тем лучше.

Слезы восхищения покатались по моим ланитам.

– Ты был болен? – спросил он.

– Нет, – ответствовал я, соображая, что он принимает за следствие болезни выказываемую мною плаксивость. – Это я так, потому что... потому что...

Новые, с сугубейшею страстию вырвавшиеся рыдания помешали мне окончить.

Объяснения мои, впрочем, не могли бы отличиться отчетливостью и ясностью, так как я сам мог с такою же положительностью определить внутреннюю бурю, разыгравшуюся в моей измученной груди, с какою завидевший мать и вырывающийся из тесной клетки птенец может уяснить свои стремления к зеленым лугам и лесам.

– Пойдем со мною, – оказал Софроний. – Кабы я знал, что ты здесь, когда тут был в первый раз...

– Вы были здесь? – воскликнул я. – Вы были в обители? Когда? Месяца два будет? Вы стояли около окна, в углу?

– А ты видел меня?

– Я узнал, что это вы! Я только подумал... Потом искал, не нашел... Мать Фомаида сказала, что это наваждение...

Я страстно желал спросить его, зачем приходил он тогда в обитель. Я почему-то был совершенно уверен, что не одна христианская потребность помолиться чудотворной иконе привлекла его в стены этого пристанища верующих. Некий голос шептал мне, что и теперь он здесь не случайно и не с единственной благочестивою целию набожного богомольца.

Я не посмел предложить ему разжигающих меня тревогою вопросов, но он, без слов уразумев, чего жаждала душа моя, сказал:

– Мать Фомаида не угадала. Я приходил сюда повидаться с матерью Секлетеею.

Я возмог только воскликнуть:

– С матерью Секлетеею?

– Да, с нею, – ответствовал он. – А что?

– Она, – пробормотал я, – она...

Его общение с матерью Секлетеею, которой я, как уже известно читателю, давно в воображении своем уготовал место в одном из самых видных пунктов бассейна с смолой кипящей, предназначенного перворазрядным нечестивцам и без-

законникам, смутило меня.

До сей минуты он не причислялся в уме моем ни к богопротивному сонму грешников, ни к малому числу праведников, в котором уповал занять место я сам, – он до сей минуты представлял для меня как бы некий отдельный, чудесный своею животворною силою, мир, некий благодатный источник возносящих и укрепляющих дух чувствований. В нем было для меня нечто подобное воскресительной весне и чистому воздуху обширных полей и лесов после смрадных, тесных, душных жилищ.

Теперь меня внезапно поразило сознание, что он тоже из плоти и крови и, следственно, должен примыкать к тому или другому стану.

– Она... она... – пролепетал я, между тем как вышеизложенные мысли ураганом проносились в моей голове.

– Что же она? – спросил Софроний.

– Она... грешница... беззаконница...

– А ты еще не знаешь, что через праведника ни в одни двери не проведут? – отвечивал он с несказанного горечью. – Что может сделать праведник? Праведников-то в бараний рог гнут да в грязь кидают. Видал ты, как они в грязи захлебываются?

Если бы провидение позволило мне прожить несколько мафусаиловых веков, то, проживи я и столь многочисленные годы, я не возмог бы забыть этой жестокой горечи его усмешки при произнесении вышеприведенных слов.

Я не посмел тотчас отвечать ему, но когда горечь на измученном лице его сменилась безотраднoю печалию, я робко проговорил:

– Зато праведники пойдут в царствие небесное... Им уготовано царствие небесное... Лучше всего удалиться от мира...

Я должен был остановиться. Искусительная струя весеннего воздуха, пахнувшая мне в лицо, обольстительный вид развертывающихся предо мною простора и дорог, кои обозначались в облакающих зеленью лесах и по забархатившимся нежными всходами полям, сковали мне язык и сомкнули уста. Все, кроме этого пленительного, грешного, блистательного, живого мира, представилось мне разверстою, черною, ледяною могилою, где ожидает злополучного смертного один исход – мучительно задохнуться.

Однако усилия мои победить мирские вожеления настолько увенчались успехом, что я, хотя тихо, дрожащим голосом, но снова повторил:

– Лучше всего удалиться от мира... спасти свою душу... Отречься от грешников и их злых дел...

– Вот оно как! – сказал он. – Кто это тебя выучил?

– Так все праведники... так все святые отцы в пустыне... – пролепетал я, смущаясь, хотя не отдавая себе отчета в своем смущении, перед взглядом его впалых блестящих глаз.

– А! ты поминаешь духовных святых отцов, тех, что питались акридами? Давно то было, давно и прошло. Теперь

уж пустынь таких нету, и те акриды перевелись, и времена другие.

– В обителях можно спастись, – возразил я с тоскою.

– В обителях? – повторил он. – Обительские-то спасенники чужими, знаешь, грехами питаются!

– Как чужими грехами питаются? – воскликнул я. – Мать Фомаида. Фомаида.

– Я знаю, что мать Фомаида строгая постница и благочестивая молельщица, – прервал он.

– Она питается только хлебом да водой... – воскликнул я, – да просвирками.

– Есть и грешники такие, Тимош, что питаются только хлебом да водой – без просвирок.

От этих простых слов я осел, как пирамида яблочного пирога. Он оказал несомненную истину: я сам знавал таких грешников.

Однако я нашелся:

– Они так потому питаются, – возразил я, – что у них ничего нету... Что им негде взять... А кабы они были достаточные...

– Может, и не грешили бы... – прервал он.

Не улавливая смысла изреченного им, я вопрошательно взирал на него.

– Посмотри-ка вон туда, – продолжал он, простирая руку по направлению к реке, – видишь, какой грешник идет? По твоему, его в смолу?

Я поспешно обратил взоры мои в указанную сторону.

По узкому ущелью, между двух скал, закудрявившихся яркою весеннею зеленью, спускался к шумящей реке человек. Лучи благодатного светила дневного, падавшие на обрывистую каменистую тропинку между двумя низвергающимися потоками покой воды, совершенно освещали его фигуру. Я мог различить заплаты на его убогих одеждах, рубцы на его потрескавшихся и почернелых босых ногах, выражение унылого равнодушия, запечатлевавшего его изнуренное загорелое лицо.

– Наймит! – проговорил я.

– Да, наймит, – повторил Софроний.

Наймит спустился к реке, зачерпнул воды в принесенный с собою сосуд, напился, затем омыл усталые ноги и тою же дорогою отправился обратно.

Он ни разу не обратил взоров на окружающее его весеннее великолепие – усталые очи его были все время потуплены в землю, он не потешил себя ни единою минутою того горестного уединенного сетования на судьбу, которым потешают себя менее измученные тяжелыми трудами страдальцы.

– Что ж, в смолу его? – повторил Софроний.

Я не дал ответа, но, мню, он понял, что я скорее бы сам с головою ринулся в смоловый кипяток, чем погрузил бы туда хотя единый перст указанного им человека.

– А ведь он, может, грешник! – продолжал Софроний.

– Нет! – воскликнул я наконец.

– Отчего ж нет? Ты почему же это знаешь, что нет? Я точно не знал. Может, он был грешник.

Но сердце мое рвалось к нему, как никогда не рвалось к чтимым мною праведникам. Этот чужой, неизвестный человек почему-то был мне странно, болезненно близок и дорог.

– Может, он грешник! – повторил Софроний.

– Пусть! – ответил я...

(Затеряны листки записок.)

...глаза, могущие и теперь растопить золото, если бы устремились на него со страстию.

– Я не хочу... – начал я...

Но вдруг раздавшийся неподалеку от нас, в путанице деревьев и трав, шелест заставил меня умолкнуть.

Софроний сначала затаил дыхание, но затем, как бы утомленный и раздраженный непрерывно налагаемыми на себя путами и уздами, вдруг рванулся вперед со всею страстною порывистостию вконец измученного долгими ожиданиями и неизвестностию, сокрушил заслонявшие ограду ветви и былия и глухо окликнул:

– Кто тут?

– Я, я, – ответил знакомый мне голос из-за кущ.

И юркая мать Секлетя не замедлила появиться у ограды, пробираясь с легкостию маленькой ящерицы.

Софроний ничего не спрашивал; он только глядел на приблизившуюся инокиню и становился все белее и белее.

Мать Секлетя проговорила:

– Ничего верного не узнала!

Наступило безмолвие. Софроний опустился на землю у ограды обители.

Какая-то легкая пташка с внезапным щебетаньем взвилась в высоту над нашими головами и исчезла.

Мать Секлетея заметила меня и, мню, немало удивилась моему присутствию, однако не выразила того ни единым словом.

Мать Секлетея вообще как бы преобразилась. Не было следа ни обычной бесшабашности и удали, ни обычного раболепства и умильного заискивания. Во всем ее существе теперь являлось нечто небывалое, нечто такое, что заставило меня впервые заподозрить в ней человеческие, братские чувства.

Грустная мысль лежала на ее всегда бойком лице, горячее участие светилось в доселе лукавствовавших глазах.

– Что ж теперь делать? – тихо спросила она Софрония. Он не ответил. Он попрежнему сидел неподвижно. Бледное, как плат, лицо его тихо подергивалось.

– Наша с книжкой хочет посылать, – продолжала мать Секлетея еще тише, – так вот я тогда прямо туда и проеду... Ты не сокрушайся... Ты только повремени... А что до другого дела, так все как следует быть: только погоняй да правь! Ты слышишь, что я говорю-то?

Софроний вдруг встал.

– Целый бор горит, – сказал он угрюмо, – а соловей по

своему гнездышку плачет! Все мы таковы...

Он взял свою шапку с монастырской ограды, поднял лежавший неподалеку дорожный посох.

– Ты куда ж теперь? – спросила мать Секлетя. – Наведайся в Иераклиевскую пустынь через две недели. Слышишь? через две недели. Она там, голову на отсечение дам, что там она! Так придешь через две недели?

– Приду. Счастливо оставаться. Спасибо...

– Куда ж хлопец-то за тобой цепляется?

– Я с вами! – воскликнул я, – я с вами! Вы обещали меня взять с собою!

–хлопот с ним будет! – предостерегла мать Секлетя.

– Ничего, – ответил Софроний.

– Постой, постой, погоди!.. – проговорила она с волнением: – деньги у тебя есть?

– Есть.

– Хватит на дорогу?

– Хватит.

– А то я вот... у меня вот...

И она поспешно выхватила какой-то черный обширный кошель, торопливо начала вылавливать оттуда разные серебряные большие, средние и малые монеты.

– Спасибо, мать Секлетя, – сказал Софроний.

– Ну пусть хоть хлопчику... я хоть хлопчику... – еще с вящим волнением проговорила она и быстро всунула мне в руку металлические кружки различных размеров.

Первое мое побуждение было откинуть от себя этот дар, но что-то меня удержало, и я этому первому побуждению последовать не решился.

– Прощайте, – сказал Софроний – так через две недели?

– Через две! через две! Придешь, спроси сестру мать Анастасию... Ну, с богом... Дай боже благополучно...

Мы двинулись по узкой тропинке вдоль обительской ограды и направились к зеленеющему вдали лесу.

Я находился в крайне возбужденном состоянии духа. Меня снедало желание бежать, кричать, припасть к земле, кинуться в волны шумящей реки... Окружающий простор опьянял меня... Взглядывая на бледное, угрюмое лицо драгоценного моего покровителя, я рвался обнять его и воскликнуть:

– Не печалься! все мы найдем, все у нас будет! И бор не сторит и соловьиное гнездышко цело останется!

Долго я не осмеливался, но, наконец, ликование мое достигло столь высокой степени, что начало меня душить; я перестал владеть своими чувствами и трепещущим голосом проговорил:

– Мы найдем Настю!

Он как будто слегка вздрогнул, как будто приостановился, обратил на меня глаза и, просветлев лицом, с ласковою, печальною усмешкою проговорил:

– Твоими бы устами да мед пить!..

(Затеряны листки рукописи.)

...в стороне. Свежо шумящий, блещущий нежными весенними красками лес принял нас под свои зеленые, еще не вполне развернувшиеся кущи.

Конец первой части